

1985

10741

ОРАЛХАН
БОКЕЕВ

КРУК

ОРАЛХАН
БОКЕЕВ

КРДИК

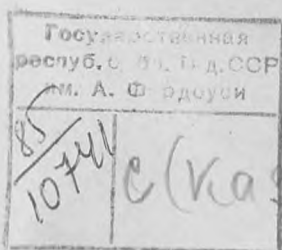
ПОВЕСТИ

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1984

О(Каа)3
В 78



ОБЯЗАТЕЛЬНО



000333078

Китобхонаи миллии Тоҷикистон

Художник
СЕРГЕЙ КУЗЯКОВ

Б 4702230200—417 293—84
083(02)—84

© Состав и оформление
Издательство «Советский писатель», 1984 г.

ЭТО
БЫЛО
ЗИМОЙ

ДИПТИХ

КРИК



иллиарды людей топчут лик земного шара, и от их крика стонет мир. Огромный орущий мир. В нем трудно теперь услышать эхо, разве что прислушаться к себе и вдруг понять, что и мысли, и цели, и даже действия наши — все это эхо мыслей, целей и действий других людей. Среди них и те, кого уже нет, кто спит под землей.

Если бы могли они вернуться назад из своего «никогда», из своего «невозможно», из своего «прости», может, научили бы живых не говорить друг другу жестоких слов, не мучить друг друга, а жить на этой широкой земле, как живут на привольных пастбищах, где всем хватает места, и над всеми встает солнце, и ночью сияют Стожары, мерцает звездная пыль, и светит ласково звезда табунщиков Сюмбле¹.

Но мир орет, и в этом крике невозможно услышать крик одного человека. А когда он остается один среди огромного безмолвного своего мира, на крик его отвечает эхо.

Я помню. В отрочестве я выходил в сумерки на одинокую прогулку. Тропинка светлым стежком уходила от аула к лесу. Я шел по ней с замиранием сердца, потому что иногда, как только солнце скрывалось в своем золотом гнезде, темную долину оглашало странное эхо. Эхо без крика. Тогда я думал, что это голос невидимого вестника с неба и вестник этот где-то там, в сгущающейся синеве высоты, возвестил, что краткий промежуток между днем и ночью закончился. Наступает тьма, и люди должны приготовиться к ней. Я думал тогда: «Это может делать только человек, соединенный с землей навечно, потому что родился на ней». Но иногда я думал, что это прощальный возглас того, кто владеет огромным прекрасным миром, и перед тем как темный покров скроет высокие горы, прохладные долины, серебрящиеся, как рыба чешуя, озера, он желает своей земле счастливого сна. Теперь я знаю: то эхо было отзвуком самого родного, самого понятного мне крика. Крика казаха, пасущего табун.

Криком своим табунщик сообщает всему миру и недоступ-

¹ С ю м б л е — Сириус.

ному небу, что он жив, что не исчез, не сгинул в горах, не затерялся в долинах, что не поглотили его ни быстрая река, ни узкое ущелье.

А тогда...

После того как вечернее эхо растворялось, наступал удивительный миг, словно предвестник или моментальный снимок какого-то грядущего светопреставления. На высочайших вершинах Алтая загоралось трепещущее пламя, а западный горизонт становился похожим на окровавленное огромное око, око матери-земли, плачущей по своим несчастным детям: красно-бурые горы колыхались, будто трепеща в чьем-то страстном объятии. Все это длилось лишь миг, но странно — в те далекие времена я ощущал этот миг всякий раз, замерев на тропе, и он остался со мной навсегда. Потом это видение было мне недоступно, но я помню его.

Я помню, и как раздваивалась, будто жало змеи, белеющая в сумерках тропинка, натыкаясь на лес. Змейка словно щупала темную преграду, вставшую на ее пути. Один отросток жала исчезал в темных зарослях, другой будто замирал перед странным скоплением холмов, похожих на перевернутые корыта.

Аул мертвых. Тайнственная сила вела меня к нему. Я помню беспокойное биение моего сердца; мне казалось, что в груди моей мчатся тысячи неутомонных жеребят, колени мои дрожали, как у новорожденного верблюжонка, но я шел вперед, потому что слышал шепот множества голосов. Он вливался в шум горного водопада, и я хотел расслышать хотя бы один голос, понять одно слово.

Я верил, что душа усопшего как птица весь день парит над живыми, а в сумерки возвращается сюда, чтобы рассказать другим, что видела и слышала.

Может быть, если бы сумел я тогда расслышать, разгадать глухое бормотание, не свершил бы множества ошибок, не произнес бы пустых слов и лучше бы понимал, что означают слова и поступки других людей.

Но с трепещущим сердцем, ступая как только что научившийся ходить ребенок, я шел в дальний конец кладбища, к холму, над которым возвышался березовый курук¹ — единственный памятник на этом глухом капище в глухом уголке земли.

¹ Курук — длинный шест с петлей на конце для ловли лошадей в табуне.

Холм не был огражден, он принадлежал всей земле и был доступен всем ступающим по ней.

Часто возле него я заставлял человека. Если бы я не знал, кто это, я бы, наверное, лишился разума, потому что казалось, будто человек наполовину зарыт в могилу и так застыл, обратив лицо к заходящему солнцу и бормоча что-то, похожее на заупокойную молитву.

— Душа моя, опора, поддержка во всех моих замыслах...— едва-едва слышалось мне,— то, что отличает меня от зверя, где же твой след, в чем он?

Он торчал из земли как каменный бог и, как каменный бог, не замечал отрока, застывшего рядом.

Этого человека звали Аспан. Он был табунщиком, и он стал самым почитаемым человеком в наших местах.

Он не вздрагивал, когда раздавалось эхо, не прерывал своего бормотания, не прислушивался, и это было самым загадочным, это манило и влекло меня в вечерний час, уводило из надежного тепла родительского дома.

* * *

Начиная день, человек не может знать, как и чем он кончится. Он просыпается с тоской или с радостью, мысленно скидывает ожидающие его дела и заботы, смотрит за окно, тянется к сигарете, если он отчаянный курильщик; потом совершает привычные, не отвлекающие от дум утренние дела, и, может, только несколько пробуждений в жизни для каждого из нас отличаются от длинной цепи таких привычных, ничем не запомнившихся.

И все же, начиная день, человек не знает...

Эта зима подкралась мягко, обманно. Но в феврале пошли снегопады. Самый худший из них, длившийся уже четвертый день, придавил все живое, не давая поднять голову. Люди и земля, утонув в этом нескончаемом вязком снеге, задохнулись в объятиях великой тишины. Всем овладело оцепенение.

Не хотелось есть, вставать с постели, выходить из дома. Вид аула, расположенного в горном ущелье, был невнятен и жалок, будто не снегá, а нечистая сила застала его врасплох со всеми его делами, накрыв плотной пеленой снега, и то, что виднелось из-под этого снега, что недавно имело значение и смысл, теперь казалось просто мусором жизни.

Из крыш домов, ставших похожими на огромные тюки хлопка, поднимались робкие дымки, они говорили о том, что

жизнь не угасла, и, обозначив эту погребенную в снегах жизнь, растворялись в миллионах снежинок.

Управляющий отделением совхоза Аман Тенгринов стоял посреди белого кружения и думал о том, что должен сейчас же, после завтрака, покинуть дом. Он должен сделать это спокойно и обыденно, так, будто нет пурги, будто отправляется знойным летним днем осматривать пастбища. Еще он думал о том, кого взять с собой. Вокруг не было ни души, и он, окруженный белым кипением снегопада, не различая, где восток и где запад, показался сам себе полководцем, брошенным войнами посреди бранного поля. Можно было пойти по домам, поднять дремлющих, пригревших у очага людей, но он решил, что поедет с первым, кто придет в контору. Это был день судьбы, и полагалось ей довериться с самого начала. Не то чтобы Аман думал именно так — «день судьбы», — но он чувствовал, знал и в конце концов сам его назначил. Именно сегодня.

— Как бы все это не закончилось бураном, — пробормотал Аман, сдунул с ресниц снег, фыркнув как лошадь, отряхнулся и вошел в дом.

Отец гвоздем торчал на постели. Обычно он просыпался позже, и Аман рассчитывал уйти до его пробуждения.

От неловкости, будто застали за чем-то постыдным, он с непривычным раздражением закричал на дремлющую жену:

— Что, нечистая сила давит тебя?! Вставай!

Отец поморщился, позвал властно:

— Эй, Аман, подойди-ка ко мне!

Могучий рябой гигант, отец пятерых детей, зрелый мужчина, послушно остановился у порога, уставившись покорно на отца.

— Садись, — показал место на постели Аспан-старик.

Но стариком его называли только по привычке. Огромный, с медным лицом, с усами без единого седого волоса, он, казалось, не имел возраста, олицетворяя собой мужскую силу и мощь.

Он молча пытливо глядел на сына своими большими глазами с угольно-черными зеницами и необычайно чистыми, отливающими в синеву, словно кислое молоко, белками.

— Что померещилось тебе, что ты с утра жарить свою жену как пшеницу? Что ты орешь, даже не вкусив утренней лепешки?

Аман молчал.

— Иди растопи печь!

Сын неожиданно легко поднялся и, согнувшись под при-
толокой, выскочил в кухню.

Аспан улыбнулся. Ему было приятно, что он может го-
нять словом этого огромного мужчину, начальника Отде-
ления, гиганта, кормильца пятерых детей, так, как отец гонял
когда-то его малым дитем — одним прутиком. Его, единствен-
ного, целованного от сердца сына, будущую опору и надежду
горьких лет.

Аспан пошарил под подушкой, нашел курево. Из наполо-
вину опустевшей сложенной пополам пачки «Примы» выта-
щил сигарету, вставил в изгрызенный мундштук. Поискал
спички, не нашел. Вдруг охватила ярость.

Каждый день одно и то же. Домашние хватают коробок и
забывают вернуть. Бросают где попало. Теряют, снова идут к
нему, и так без конца. Он прячет теперь коробок под матрац,
но и это, оказывается, не помогает. Дьявол их побери, неуже-
ли непонятно, что для него это еще один укол жизни. Один
из миллионов. Они что, думают — он уже не чувствует, при-
вык?

Он понимал, что ярость его имеет другую причину. При-
чина эта в молчании Амана, в той готовности, с которой он
бросился выполнять поручение, не желая оставаться наеди-
не с отцом. Всю жизнь он испытывал сына и знал его, как се-
бя. И он знал, что сегодня сын назначил себе главное испы-
тание. Но говорить об этом нельзя. Сын ответит, что его обя-
занность посетить дальние зимовки, и это будет правдой. Но
главной правды он не скажет, и Аспан не станет настаивать
на ней. Это невозможно; есть вещи, о которых жигиты не го-
ворят, и ведь он сам испытывал сына всегда и во всем и, ка-
жется, научил выдерживать эти никому, кроме них двоих,
непонятные и незаметные испытания.

Злость требовала выхода.

— Эй, Аман, ты где? — громовым голосом крикнул он.

— Здесь! — откликнулся сын из кухни.

— А если ты здесь, то подай мне мои спички, — Аспан
выделил «мои», — и чтоб никто больше не смел их трогать.
Аман появился немедленно, протянул коробок.

— Опять ребятишки унесли...

Упоминание о внуках было просьбой к снисхождению, но
в глаза сын смотреть избегал.

— Даже если они сожгут дом, я требую купить в магази-
не ящик. И немедленно! И принеси воды, я умою лицо.

И снова сын появился мгновенно, с кумганом, тазиком и
полотенцем на шее, подчинялся каждому повелению. «Я не

выбью из него ни слова, даже если ударю костью по голове,— подумал Аспан,— упрямый, строптивый жеребец».

Хотя Аман был единственным сыном Аспана-старика, но не был единственным ребенком. После того как Аспан-табунщик лишился ног, жена принесла ему двух дочерей. Одна из дочерей работала библиотекарем в ауле, вторая еще заканчивала школу.

Как все казахи, слабый сердцем к детям, он баловал девочек, теперь внуков, сажал на шею и, если бы мог, не разрешил бы даже птицам летать над их головами.

Этого верзилу тоже вырастил, не оскорбляя и не обижая, хотя и без баловства: не до баловства тогда было.

И вот стоит огромный, с медвежьей повадкой, молча подает то кумган, то полотенце. Обычный утренний ритуал, только вдруг ни с того ни с сего попытался застегнуть пуговицы на рубашке.

— Ты что! — оттолкнул руку Аспан.— Что это взбрело тебе на ум? Своим жеребяткам помогай, а мне еще рано!

После того как Аман стал начальником, управляющим отделением совхоза «Енбек»¹ и выбрал себе лучшего коня, отец не давал ему покоя, цеплялся на каждом шагу. Аман понял это неожиданное и крутое изменение: отец боялся, как бы Аман, достигший этой ничтожной власти, не одурманился ею, не стал бы ходить, расставив ноги, не полюбил себя безмерно. Если постоянно не напоминать такому одурманенному гусаку о его месте, не подчинять хотя бы дома, он очень быстро начнет говорить свысока, есть рыгая, выставлять вперед отросшее жирное брюхо и — что самое опасное — начнет поигрывать палкой над головами земляков.

Аспан-старик в ожидании завтрака закурил новую сигарету и, коптя маленькую комнату, ставшую его редко покидаемым в последние тридцать лет приютом, с собачьей тоской поглядел в окно. Ночью ему приснился плохой сон. Он долго не мог заснуть, ворочался, будто ему в постель подложили колючий пиповник, забылся под утро. И вот тогда и пришел этот кошмар.

Он вез дрова на санях, вдруг кто-то окликнул его, он обернулся и увидел, что его догоняют две ноги, обутое в высокие сапоги. Его ноги. Он испугался и стал настегивать лошадь, но ноги догоняли, крича: «Не бойся, мы хотим быть с тобой!» Они бежали широкими шагами, как он бежал когда-то, скрипели снегом. Душа Аспана, точно муха, вылетела из

¹ «Енбек» — «Труд».

него, и, объятый ужасом, он нещадно хлестал гнедую кобылу.

«Ой-бай, погиб!» — крикнул Аспан и упал на широкие низкие сани.

«Эй, Аспан! — кричали сзади. — Мы видим, что ты возгордился, живешь счастливой жизнью. Дети твои уже выросли, теперь вспомни о нас, пожалей, возьми с собой!»

Дрова с грохотом сыпались с розвальней; кобыла бежала стремглав, дрова сыпались...

Аспан проснулся. Это сын его с грохотом бросил очередную порцию дров около печи. И старик понял, что сегодня он поедет на зимовье Алатай, сегодня перейдет через Чертов мост, сегодня...

Аспана охватили ужас и ярость. Не дал, паршивец, досмотреть сон. Он должен был его обязательно досмотреть. Он должен был наконец остановиться, подождать свои ноги, взять с собой. Это было бы хорошей приметой. А теперь неясно...

Он смотрел в заиндевшее окно и думал о том, о чем редко разрешал себе думать. О своей жизни.

После того как он лишился ног, он понял многое в этом преходящем мире. Раньше он жил, подобно любому круглоголовому существу, ежедневными заботами с вечно тлеющей боязнью смерти. Он пережил ее и, оставшись калекой, гвоздем торчащим на виду у всех людей, понял, что вся его прошлая жизнь была заблуждением.

О боже, какое кому доброе дело сделал он, когда руки и ноги его были крепкими как кувалды? Кому облегчил жизнь? Все было только для себя. Став калекой, он, кажется, получил золотое право жить только для себя, но это оказалось ненужным, потому что понял: он стал знаком страха. Старики будут говорить внукам, тайком показывая на него: «Вот что делает с человеком строптивость. Живи тихо, никому не перечь, иначе станешь таким, как Аспан».

Но разве он возродился, избежал смерти для того, чтобы стать символом страха? Он хорошо помнит, как горделиво пришел на протезах в контору. Старый аксакал¹ сказал, шамкая беззубым ртом:

— Ты стал даже лучше. Смотри, как хорошо управляешься с этими деревяшками!

Ровесники собрались вокруг, щупали протезы, причмокивали языками, одобрительно хлопали по плечу. Но в их гла-

¹ Аксакал — старик; буквально — белобородый.

зах он читал радость: «Я избежал этой участи; слава аллаху, я избежал». Аспан вернулся домой, снял протезы и больше никогда их не надевал. Он не любил, когда его хлопают по плечу, он не захотел стать умелым калекой, наглядным пособием к страху. Он научился ездить на коне, сжимая его бока кульями, породил двух дочерей, косил, тянул домашнюю работу, стриг овец. Аульчане, затаившись, следили за его борьбой с жизнью. Станный народ, лишенный жалости. Но Аспан сам был таким, не знал жалости, не хотел ее. Он ничего никому не хотел доказывать. Разве только тому Табунщику, ушедшему на небо. Ему хотел доказать. Если бы он мог высказать смутное желание, оно бы прозвучало так: убить человека невозможно, он может исчезнуть, но убить его нельзя. Табунщик исчез, об этом знал только он, Аспан. Остался Аспан — человек-обрубок. Но прошло время, и никто не замечал уже его неполноценности. С ним ссорились, враждовали, дружили, просили совета, ругали на чем свет стоит. Но никогда не кричали. Кричать на Аспана было нельзя. Это знали все.

Мороз на улице усилился. Аспан понял по рисунку иней на окне: он стал более четким. Приложил ладони к стеклу — иней растаял. Снегопад утих, но Аспан знал, что это ненадолго.

— Старик, идемте пить чай, — сказал сзади Аман.

— О боже, опять ты! Что ты все вертишься вокруг меня с утра, послал бы лучше кого-нибудь из детей.

— Снегопад плохо действует на вас.

— Не первый раз вижу. — Все же не выдержал, сказал ненужное: — Просто на сердце какая-то тяжесть. Видел плохой сон.

— Не надо верить снам.

— А чему надо верить?

Сын наклонил голову, думал он всегда медленно.

— Чему верить? — переспросил он с усилием.

— Ты сказал, не надо верить снам, я спросил: а чему верить? Что с тобой? Ты сам в каком-то странном состоянии. Какая морока на тебя нашла?

— Моя морока — моя работа.

— Что же собираешься сегодня делать?

Сын молчал.

— Тебе придется здорово попотеть, чтобы расшевелить дремлющих по домам подчиненных.

— Да, да, наверное, — рассеянно подтвердил Аман.

— Так что же ты собираешься делать? Наверняка будет буран.

— Надо проверить дальние зимовки. Узнать, не нужна ли им помощь.

Сердце Аспана взлетело и упало.

«Зачем спросил, лучше бы не знать», — мелькнуло трусливое.

— Ну что ж, так полагается. Так полагается, — повторил он.

— Отец...

Радостный крик: «Дедуля!» — прервал Амана, и в комнату вбежал самый шаловливый и самый любимый внук Аспана. С разбега повис на каменной шее.

— Жеребенок мой! — Аспан прижал мальчика к груди, понюхал его лоб. — Елик¹ мой резвый!

— Расскажи про Елика, — встрепнулся мальчик, — расскажи, ты обещал.

— Давным-давно, — сказал Аспан, — давным-давно, в один из блаженных дней лета, я пустил косяки колхозных лошадей к подножью Алтая, а сам пошел собирать ягоды...

— Дедушка еще не пил чай, — сказал Аман сыну, — отпусти его.

— Я не хочу. Пейте без меня... Так вот, пошел я собирать ягоды. Они растут у подножья гор, там, где много кустов караганника. Трава там такая высокая, что достигает брюха коня. У меня был замечательный вороной жеребец. Умный и смелый. И вдруг он шарахнулся и чуть не выкинул меня из седла...

— Тебя нельзя выкинуть из седла, — сказал мальчик.

— Теперь нельзя, а тогда было можно. Слушай. Я подумал, что конь испугался помета медведя, они боятся помета ужасно. Стал понукать его, конь не шел. Я взгляделся в заросли травы и тут увидел козлика Елика. Он спал свернувшись. Я слез с коня и долго любовался беспечным козликом. Он был до того свеж и молод, до того чист, словно ребенок в колыбели. Когда ты был сосунком, то, насытившись молоком матери, спал точно так же, погрузившись в пахнущий медом сладкий сон. Не стерпев, я взял его на руки, как брал и тебя. Внезапно разбуженный козленок задергался и попытался вырваться. Но он не мог высвободиться из моих сильных рук и затих. Я сунул его за пазуху и привез в юрту на джайляу².

¹ Елик — горный козлик; здесь — как имя собственное.

² Джайляу — летнее пастбище.

С тех пор он стал жить рядом. Я сделал ему маленький домик и хорошо кормил. Он привык пить из бутылочки молоко, брать корм, привязался к нам, табунщикам, и даже не удалялся от юрты. С наступлением ноябрьских холодов мы перекочевали на зимовку Алатай.

— Мы поедем туда? — спросил мальчик.

— Обязательно.

— И перейдем через Чертов мост?

— Откуда ты про него знаешь?

— Все мальчишки говорят. Они тоже хотят его перейти.

— Зачем?

— Чтобы стать настоящими жигитами. Только тот настоящий жигит, кто перешел через Чертов мост, как ты. Ну, рассказывай.

Аспан молчал.

— Рассказывай дальше про Елика.

— Да-да, про Елика... Он жил в сарае, словно совсем ручной, домашний. Даже собаки на зимовке до того привыкли к нему, что бегали с ним наперегонки, но никогда не причиняли боли. И, глядя на их игры, радовалось сердце. Вот такой был Елик.

— А потом?

— Что — потом?

— Что с ним стало? Он убежал?

— Нет.

— Его задрал медведь?

— Нет.

— Так что же с ним стало?

— Его нечаянно убил я.

— Убил?.. Зачем?

— Я же говорю — нечаянно. Я не хотел. Я потом не спал три ночи. И понял, что это неизбежно должно было случиться.

— Почему?

— Потому что я лишил его свободы. Дитя диких гор не должно жить как домашнее животное. Когда-нибудь он убежал бы сам, потому что Елик не собака, привыкшая к косточке и помоям. Но мы не понимаем этого. Раз мы живем по правилам, то хотим, чтобы и звери жили без свободы, по правилам. А звери лучше некоторых людей. У них рога торчат наружу и служат для того, чтобы защищаться, а у некоторых людей рога скрыты внутри. Да, да, у них есть невидимые острые рога и безжалостные копыта. Они пользуются ими для того, чтобы нападать на других.

— А кто эти плохие? Как их зовут?

— Их зовут ТЕ.

...В один из последних дней ноября на зимовку приехал ТОТ, с собакой. Ежегодная привычка начальника — управляющего отделением: пока на Алатае не выпал снег, он в последний раз проверял всю живность зимовки; потом же, в течение всех шести месяцев суровой зимы, не показывал носа. А именно зимой и был он нужен больше всего, вернее — не он, а помощь. И лекарствами, и кормом, и просто сведениями о здоровье близких, о новостях в мире и в ауле. Но только охотники изредка забредали в недоступную глушь Алатая.

Он явился как снег на голову, чтоб проверка была неожиданной. Аспан-табунщик услышал необычный шум, выскочил из сарая и увидел, что собака начальника рвет Елика, а начальник с крыльца науськивает ее свистом и гиканьем. Елик кричал душераздирающе; псы зимовья, почуяв кровь, бросились друг на друга, сводя старые счеты.

Обезумев от крика Елика, оглушительного воя и визга собак, Аспан схватил палку, чтобы отогнать забредшего пса-чужака. Но в суматохе не рассчитал, палка попала не в собаку, а в Елика, и тот упал замертво.

Аспан вбежал в зимовье, схватил ружье и с крыльца выстрелил в собаку, терзавшую беспомощную тушку козлика. Он разрядил в пса свою шестнадцатикалибровку, хотя управляющий хватал его за руку, что-то кричал. Он оттолкнул его.

Начальник был в ярости.

— Из-за дикого бесполезного животного ты застрелил собаку, служившую поддержкой мне в моей одинокой и опасной езде! — кричал он, а в глазах его застыли все льдины гор. — Ты зажег огонь вражды между нами, потерял аккордную зарплату, выдаваемую в конце года. Что я теперь скажу своему брату-близнецу, ведь собака принадлежит ему, а я не сберег. С этого времени ты больше не старший табунщик. Похорони нашего пса как следует.

— Я похороню, — сказал Аспан-табунщик, — он не виноват. Ты науськал его. Но сначала я похороню Елика, за которым я смотрел, как за ребенком.

— Нет, сначала похоронишь собаку моего старшего брата-близнеца. Пес был волком среди собак, а твой Елик — дикое глупое животное.

Аспан взял лопату.

— Сначала я похороню Елика, — сказал он, глядя в глаза-ледышки.

— Ну смотри! Ты не только нанес ущерб, но и показываешь безмозглую строптивость. Берегись!

— Дальше простого табунщика понизить не сможешь, — сказал Аспан.

Управляющий уехал, не отведав бешбармака¹, не осмотрев хозяйства и ни разу не взглянув в сторону Аспана — простого табунщика.

— Неужели твоя рука могла быть неточной? — спросил мальчик.

— Да вот случилось.

— Я не верю, дедушка, ты ведь попадаешь пожом в крест с десяти шагов.

— Теперь попадаю, но ведь я долго тренировался. Сидел и кидал, сидел и кидал, и так часами. И потом, теперь у меня руки гораздо крепче, чем раньше.

— Скажи, а зачем тот человек пауськивал собаку? Зачем сердил тебя своим криком? На тебя никто не может кричать.

— Да, теперь никто, а тогда кричали на всех нас.

— Папа никогда не кричит, а ведь он тоже управляющий. Мне кажется, он огорчился, что ты не пил с ним чай. Ушел не попрощавшись.

...Аман один сидел в конторе отделения уже, наверное, больше часа. Никто не спешил за поручениями, хотя, Аман был в этом уверен, многие видели из окон, как он направлялся в контору. Из-за суровых алтайских зим окошки в домах крошечные, но, когда нужно, аульчане в эти крошечные окошки видят все.

Аман чувствовал, как дрема овладевает им. За окном мечутся тысячи, миллионы бабочек-снежинок, снаружи все белым-бело, а здесь сумрачно, тепло. Аул, который всегда был шумен как балаган — мычание коров, лай собак, крики бесчисленных детей, — теперь умолк, словно проглоченный землей.

Аман думал о том, что эта мертвая тишина способна лишить человека разума, — такую гнетущую, замедляющую биеение сердца тоску она навевает.

«А может, эта тоска от другого? — спросил он себя. — Может, утренний взгляд отца, мой уход без прощания, предчувствие дальней и трудной дороги, лишили меня привычной стойкости и спокойствия?»

Аман посмотрел на часы. Скоро девять.

¹ Бешбармак — вареное мясо с тестом и луковым соусом.

«Если никто не придет, по домам не пойду, — решил он, — поеду один. Черт знает что такое! То их не выгонишь из конторы, сидят часами, дымят, хохочут, а теперь не показывают свои макушки, словно провалились сквозь снег. Чуют, чем пахнет — поездкой на Алатай. Но они предпочитают не знать об этом, хотя понимают, как важно сейчас пробраться к зимовьям. Станный народ эти казахи, беспечный, и каждый полагается только на себя. Но ведь и ты сам такой же...»

В окне промелькнул чей-то силуэт.

Вошел зоотехник Эркин. Пожалуй, это был самый последний из жителей аула, кого бы Аман выбрал в попутчики. Чужак, приехавший сюда года два назад из Моинкумов, в спутники не годился; и кроме того, существовало еще одно, не очень приятное обстоятельство в их отношениях. Но сегодня был день судьбы, и к тому же в обязанности Эркина входила поездка на зимовья.

Эркин задержался у порога, отряхивая снег, облепивший его, смотрел прищурившись. После белизны улицы ему трудно было привыкнуть к сумеркам комнаты.

— Здоров, Эркин? — приветствовал Аман, и Эркин улыбнулся радостно и растерянно.

— А вы здесь, начальник! Здоровы ли вы? Почему в одиночестве?

— Все, наверное, застряли в глубоких снегах. Нет никого. Я рад, что хоть ты живым добрался, гонимый богом.

— Закурить не будет? — спросил зоотехник, потрянув спичечным коробком.

— Ох уж ты, Эркин! Не меняешься... Твое приветствие всегда начинается с просьбы закурить. Я дам тебе десять рублей, купи, пожалуйста, торбу сигарет. До каких пор ты будешь ходить с протянутой рукой и трясти коробком. Ведь ты не женат, деньги от тебя прятать некому, в чем же дело?

Аман пожалел, что намекнул на холостяцкую жизнь зоотехника, — такая шутка могла обернуться неприятным ответом. Ведь Аман не дал разрешения своей сестре выйти замуж за чужака.

Но Эркин не стал цепляться, засмеялся добродушно:

— Ой, я ужасно забывчив с куревом! А вы забывчивы насчет спичек. У вас их тоже никогда нет.

Он вынул из пачки, которую ему протянул Аман, сигарету. Лихо прикурил.

Упоминание о спичках кольнуло сердце. Вспомнил, как утром сердился отец, вспомнил его укороченное тело, торчащее на постели. «Бисмиллахи! Бисмиллахи!»

Эркин чиркнул снова спичкой, поднес ее управляющему. — Один говорит: «У меня нет»; другой говорит: «У меня есть». Я думаю это лучший способ жить рядом, а?

Аман не ответил.

Оба посидели молча, потягивая сигареты. В сумеречной комнате даже дым был невидим, исчезал, будто уходя сквозь стены.

— Только что по пути сюда увидел старика, вашего старика, — сказал Эркин, откашлявшись, — намертво завязал шнурки своей ушанки и крепко прирос к седлу. Он подозревал меня и послал за бутылкой красного. Я спросил: «Для чего вам?» — а он ответил: «А что? В милицию хочешь сообщить? Сразу видно, что чужак, — не знаешь, что с вином делают. Пьют, пьют, мой любезный. И вообще, чем допрашивать меня, поезжай лучше в Алатай, а то будете потом седлать куруков вместо коней». Он ведь дело сказал.

— А куда держал путь? — спросил Аман.

— Направился в сторону Моты.

— Понятно, — сказал Аман. — Он с утра был в плохом настроении. Видел дурной сон. Наверняка поехал читать молитву на могиле, в которой похоронил... — Аман запнулся, подыскивая слово, — принадлежавшее ему...

— Апырай! ¹ Я слышал, что вот уже скоро тридцать лет как Аспан-старик ездит туда, выпивает один бутылку и возвращается. Своеобразный намаз ². Извините, ага ³, может, вам неприятно говорить об этом, но толки о странной привычке Аспана-старика было первое, что я услышал, приехав в ваши края.

— В каждом ауле есть своя достопримечательность, — холодно сказал Аман. — В нашем — странности моего отца.

— Вы меня не так поняли. Я хотел сказать, что, совершив похороны «принадлежавшего ему», он сделал что-то, удивившее людей, и все уважают его за это.

— Уважают его за мужество, проявленное при спасении поголовья жеребят.

— Да, да, конечно! Но мне кажется, что аулу нужна эта могила и нужен человек, который ее почитает. Уважение к исчезнувшему навсегда вызывает уважение окружающих.

— Да, в этом человеке многое достойно уважения, — промолвил Аман, смотря в окно. Выглядел он невеселым. — Се-

¹ Апырай — возглас удивления.

² Намаз — молитва.

³ Ага — уважительное обращение к мужчине, старшего по возрасту.

годня утром он сказал, что за последние тридцать лет не помнит такого снегопада. Снег просто не дает поднять голову. Я говорю это не для красного словца. Боюсь, как бы жеребят и стригунки на зимовье Алатай не полегли все, до последнего копыта. Какое там количество голов?

— Голов двести...

— И корма неблизко, да и где взять силу, чтобы проложить дорогу через снега толщиной в человеческий рост, чтобы из скирд навозить сена? Стихийное бедствие всегда застаёт врасплох. Я до сегодняшнего дня надеялся, что табунщики сами пробьются к нам, но даже жигиты с самой ближней зимовки Тарбагатай вот уже третий день не оставляют следа своих коней. Похоже, что они тоже в плену у снега. Что будем делать, Эркин? — Он смял в пепельнице окурков, смотрел выжидающе.

— Нужно подумать.

— Думай не думай, а возможность связаться с ними только одна — кому-то сесть на коней и поехать.

— Кому?

— Например, нам.

— Центральное отделение тоже нельзя оставлять на волю аллаха.

— Значит, ты не едешь. Ну что ж, имеешь право.

— Я говорю не о правах, а об обязанностях. У нас с вами есть обязанности, установленные инструкцией.

— А на основании какой инструкции я пошлю людей в такой мороз в опасный путь? Придется переходить через Чертов мост.

— Зачем через него? Есть же бетонный.

— Это на день задержка, большой крюк. А задерживаться, если уж говорить серьезно, нельзя ни на час. Надо взять медикаменты, а главное — приехать, чтобы они не думали, что бросили их на съедение волкам. Доехать до Тарбагатай, захватить там несколько жигитов и, круша по дороге снег, пройти до зимовки Алатай. Это программа-минимум, а максимум — подскажут обстоятельства. Решай. Смотри, — он щелкнул по оконному стеклу, — скоро начнется буран, это значит — началась заваруха, способная довести человека до безумия. Отец чувствует это. Тридцать лет назад, когда его поглотил снежный обвал, шел точно такой же непроглядный снег, и кончился он страшным многодневным бураном.

— Вы пугаете меня, ага? — спросил Эркин.

Аман встал, надел ушанку, быстро застегнул пуговицы на черном полушубке.

— Возьмем с собой лыжи? — Эркин потянулся за своим полушубком.

— Прихватим у табунщиков в Тарбагатае.

— Вы не зайдете домой попрощаться?

— Разве мы отправляемся на смерть, чтобы устраивать торжественные проводы? Чем незаметней мы уедем, тем меньше у них будет ныть сердце.

— Мне-то что, я одинок. По мне здесь ни у кого не заносит сердце.

Снова мелькнула мысль: «Зачем брать недруга? Ведь намекает, что одинок по моей вине...»

Но опять: «Сегодня день судьбы, отец тоже поехал с недругом. Посмотрим, изменилось ли что-нибудь в этом мире».

Снег падал уже по-другому, косо ударяя в лицо. Поземка на пасте была похожа на пёбо коровы, и огромная гора, нависающая всегда прямо над затылком, скрылась в белой мгле. Енбек до того близко притулился к этой горе, что, начиная с декабря до марта, солнце ходило по ту сторону вершины, и лучи его не достигали аула. Люди в эти месяцы с завистью смотрели на аулы, расположенные на другом берегу Бухтармы, — там светило солнце, туда раньше приходила весна. Но зато в июльский зной, когда заречные изнывали от жары, скот и люди маялись на вечном солнцепеке, енбековцы, вкушающие мягкую прохладу ущелья, ходили бодрые, ублаженные легким ветерком и отсутствием назойливых зеленых мух, сопровождающих в жару стада.

Они говорили: «Что поделаешь, дары природы заранее взвешены; сейчас те, которые избаловались в благодатную зиму, терпят неудобства».

Дьявольский снег, навалившийся несметной ордой, пропадавшей где-то тридцать лет, все круче и круче показывал свой нрав. Начавшись тихим снегопадом, он три дня неустанно и упорно заваливал все живое, и лишь потом пришел ветер, несущий миллионы жестких крупинок. Он то стонал, как неутешная вдова, то принимался подвывать голодным волком. Злая сила, направляемая каким-то невидимым врагом с юго-запада, взяла власть над миром и носилась по ложбинам и ущельям гор, отыскивая жертву.

Казалось, все голодные волки Алатай стояли, раскрыв пасти, изготываясь в прыжке.

В ущельях гор буран случается не часто, но если уж разгуляется, то поднатужится всюю. Подберет живот да так начнет колошматить, что вспомнишь прошлую жизнь, готовясь к концу. Самое жуткое — это когда начинают голосить

вразнобой все ущелья, пики, утесы, навьюченные снегом. Появляется Великий Шум, и кажется, что обломки неба с ревом падают на землю.

Аспан-старик попал в буран, как только достиг Моты. Он был готов к нему, еще когда садился на коня, и потому ничуть не испугался. Подмял под колени полы полушубка, сел боком и поехал, набычив голову, навстречу ветру. Гнедая кобыла вздумала было повернуть назад, но старик огрел ее пару раз двенадцатихвостой плеткой и, резко дернув узду, крикнул:

— Ну ты, брюхатая, побалуй у меня!

Продираясь сквозь буран, он продвигался упрямо вперед. Холод издевался над ним, проникал под полушубок, обжигая грудь и спину.

«Ну что ж, передряга как передряга, только культя ноют ужасно, словно огромные больные зубы».

Не видно ни на палец, неизвестно где восток, где запад, и он как пловец в вязком, ревущем, кипящем белом океане. Крошечный человек, затерянный в безграничном. И, будто бесясь, что ее страшные тиски не валят и не добивают на земле это упрямое существо, стихия, стена и ревя как дракон, нападала все снова и снова, тщаь сорвать с человека одежду. Пустые старания. Человек, собранный в кулак, не гнулся, не падал лицом в гриву коня. Лишь конь, не вынеся бьющего прямо в лоб ветра, пошел боком.

«Эй, аллах, сохрани от новых тягот», — пробормотал человек. Инвалид, человек-обрубок, каких более страшных тягот мог испугаться он? И какое горе выгнало его из дома? Сидел бы себе на постели, наслаждаясь покоем, лепетом внуков и теплом печки.

Может быть, желание смерти, может, устал он в своей многотрудной жизни? Тогда зачем он так неистово борется с силой, несущей смерть?

Этот буран, который таял сучкой, начиная свои бесчинства, теперь угрожающе лаял волкодавом. В лае слышались угроза и неистовое желание заставить человека выплевывать кровь.

Буран, казалось, не прожевывая проглотил и уничтожил все. Он создал свой вопящий мир, он владел им и, играя миллионами жгучих плетей, хлестал всех, кто только попадался под руку. Но Аспан-старик, выехавший, чтобы почтить свое, драгоценное, отнятое когда-то таким же бураном, ничуть не страшился великой смерти в природе, он бросал ей вызов мужчины.

Ни одна из сторон не сдавалась. Буран был неистощим, как белый огромный пожар, а человек шел сквозь него.

Гнедая кобыла была умной и опытной животной. Не находя сил противостоять буйному натиску, но ощущая железную силу сжавших ее бока обрубков, она продвигалась вперед, вгрызаясь копытами в снег.

Доехав до Моты и повернувшись мордой к могиле, различимой только по еле виднеющемуся из снега куруку, она замерла, окаменев. Хозяин не сразу почувствовал, что достиг цели. Он будто дремал, бредя куда-то на поводу у своих невеселых мыслей. Потом очнулся, пробормотал: «Ну, ну, родимая, что тебе померещилось?» Гнедая не шелохнулась. Тогда он открыл глаза и увидел конец курука. Похлопал гнедую: «Ах, умница, зря я тебя винил», — и одним рывком скатился с седла.

Снег, сгустившийся как сливки на молоке, мягко поглотил тело-обрубок, одна лишь голова осталась на поверхности. Отталкиваясь руками в меховых рукавицах, Аспан-старик начал потихоньку продвигаться к куруку, прокладывая за собой глубокую борозду. Продвижение состояло из нескольких последовательных действий: сначала расчистить перед собой снег, затем достичь коричнево-бурой земли, упереться в эту надежную твердь и рывком бросить тело вперед.

Штанины стеганых брюк были подогнуты, надежно защищены толстыми нитками, сырость пока еще не проникла через толстый слой ваты. Но как медленно он продвигался! Летом ведь не уступает ходячим, а сейчас ползет настолько трудно, что путь его успевает занести ветер. И за спиной гладко. Вот уж поистине существо, не оставляющее следа!

Он еле добрался до курука, задыхаясь, с раскаленными легкими. Достигнув цели, он рухнул ничком, не в силах отдышаться. Со лба лил пот, тело покрылось испариной. От него валил пар. А путь от лошади до изголовья могилы был не длиннее курука, вкопанного в нее.

И даже этот короткий путь замела вьюга.

Аспан-старик оглянулся. Последний отрезок его борозды затягивало снегом, вот и он исчез. Что бы сказал человек, увидевший его торчащим истуканом среди нетронутой белизны? Оборотень, свалившийся с неба? Каменный идол в человеческой одежде? Неизвестно зачем забредший сюда безумец? Но где же след? Человек ведь оставляет след, а этот... Значит, он все-таки не человек... Упырь...

Но он человек и родил человека. Это его сын едет сейчас через снега, едет с недругом, который дышит ему в затылок.

Его сын стремится к Алатаю, и путь его лежит через Чертов мост. Обязательно через Чертов мост, он знает своего сына. И еще он знает, что на полпути они, может быть, встретят «того, кто кричал».

Из-за него он, Аспан-старик, стал тем, который не оставляет человеческого след. Да... Сначала, после больницы, он сгоряча влез на протезы. Даже красовался в них, дурак. Но бедные деревяшки так и не смогли прижиться. У них была своя жизнь — жизнь деревяшек, и они не понимали, как можно бухнуться на зеленую траву, снять сапоги, посушить портянки и шевелить пальцами, подставляя их свежему ветру.

«Раз так, то ну их к черту! — решил Аспан и уселся задом на благодатную землю. — Плевать я хотел на пустой прыг-скок! Человеку не нужны подпорки ни для чего. И если уж они не понадобились моей душе, так зачем они телу? И без них я могу ездить на коне, косить, справляться с домашней работой, чего же еще требовать от немолодого жителя глухого аула?»

Словно заинтересовавшись тем, что же будет делать человек, приползший на могилу, буран начал стихать. Окрестности, скрытые за белой пеленой, прояснились, выступили могучие очертания гор. Гнедая кобыла тяжело вздохнула, втянула живот и переступила с ноги на ногу.

«Снова пойдет снег», — сказал Аспан-старик громко и вытащил из-за пазухи бутылку вермута. Лошадь, испугавшись его голоса, наострила уши, настороженно глянула на хозяина. Аспан-старик зубами сорвал колпачок из желтой фольги, выбил пробку, ударив ладонью по дну бутылки. Потом погладил курук, подергал, проверяя, крепко ли держится. Остался доволен. Этот курук был свидетелем его молодости, его могучей силы, его беды. Давным-давно Аспан-табуник очистил от коры ствол молодой березы, и березовый шест засиял как молодая луна, с ним он впервые выехал пасти лошадей. Тогда он не мог знать, что его курук окажется крепче него, уцелеет невредимым, а когда узнал, то воткнул в могилу в память об ушедшем навсегда Аспане-табунике.

Теперь буран прикинулся искрящимся легким снегом, тихо падающим с небес. Обманутая природа обрадовалась избавлению от воющей напасти; подала голос река Бухтарма, улыбнулось наигранной улыбкой солнце сквозь сизую пелену неба. Навьюченный громадой темных елей, Алтай словно распрямил плечи с усталым вздохом.

Аспан-старик понемногу прихлебывал из бутылки и, гля-

дя прищурившись на знакомую и вечно новую картину своих мест, думал о том, что вот это все вокруг — леса, тугай, река, зверье, горы — творит сейчас свой незаметный праздник, радуясь тому, что остались живы, избежали великой напасти. Они едины в своей радости, потому что созданы друг для друга. Небо создано для земли, земля для воды, вода для животных, насекомых, даже тугай и те созданы для незаметного, величиной с пальчик, воробья. А для чего им нужен человек? Например, Аспан-табунщик? Он умер, и разве изменилось звездное небо? Разве шелохнулась хоть одна ель? Он не причинял природе вреда, а она погубила его снежным обвалом. Значит, человек ей не нужен; может, даже она все время ищет повода, чтобы избавиться от него навсегда. Аспан-табунщик, ты стал ненужным, ты присоединился к бесконечной цепи исчезнувших людей, а горы, погубившие тебя, остались; а снег, погубивший тебя, снова укрывает эти горы; а тот, кто кричал...

«Погоди. Надо снова. А тот, кто кричал... Значит, погубил не снег, не горы, погубил человек... А какой конец ждет меня, Аспана-старика? Когда похоронят меня в той же могиле? И много ли будет искренне плачущих? И главное: стоило ли выползать на брюхе, словно ящерица, лишенная хвоста, для того, чтобы видом своим пугать живущих?»

Ах, как долго он мучился когда-то, ища ответы на эти вопросы! Стоит ли снова возвращаться туда, где и без него много споров, страданий, несправедливости и лжи?

Не лучше ли уйти вслед за Табунщиком, и пусть засыплют землей, поставят на грудь тяжелый камень, придавят надежно, чтобы не поднялся, не вступил снова в спор за счастье и достаток, и главное — чтоб не открыл преступление, не плюнул в лицо «тому, кто кричал».

Аспан-табунщик решил уйти сам, и он лежит теперь в могиле, а тот, кто остался, не хочет умножать распри и продолжать бесконечную цепь сведения счетов, поисков виновных. Разве возможно восстать против времени? И разве не затем он, лежа под зимним, сверкающим далекими холодными звездами небом, следил, как движется это время, и, когда оно повернулось, выплыл из небытия, чтобы стать доказательством необходимости своей жизни и своего простого дела.

Когда Аспан-старик дошел до середины бутылки, день прояснился совсем, потихоньку стал набирать силу мороз. Пока только пощипывал щеки. Гнедая кобыла оживилась, принялась за дело. Расчищая копытами снег, добывала траву. На верхушки деревьев уселись воробьи, притаившиеся где-

то на время бурана. Но снежные тучи, похожие на куски простокваши, плавающие в жидко-голубом молоке неба, медленно двигались к горам. Они собирались на плечах Тарбагатай тесно, висли на вершинах сосен, словно зацепившись за них.

Аспан-старик оглянулся, отыскивая, не показался ли где-нибудь кто-то из чабанов. Пользуясь затишьем, чабаны могли двинуться к аулу. Это было бы очень некстати, пришлось бы делиться вином, а он, усевшись вроде сурка, сейчас не жаждал компании. Кроме того, пристали бы с расспросами: что выгнало из дома в такой буран, зачем потащился к могиле? Или еще хуже — промолчали бы, а удалившись, начали бы крутить пальцем около виска и посмеиваться.

Разве мог он объяснить кому-то, что приехал посидеть на мерзлом холме, чтобы не чувствовал себя одиноким в этот страшный джут¹ Аспан-табунщик?..

И было совсем тайное: догадавшись, что сын собрался на Алатай, отец понял, что, несмотря на белую пургу, на опасность заблудиться и сгинуть, он должен поехать сюда. Подвергая риску свою жалкую безногую жизнь, он вымаливал у кого-то снисхождения к судьбе сына.

Сын отправился в трудный путь. Его путь.

...Тридцать лет назад он тоже двинулся к Алатаю. Тогда выпал точно такой же густой снег — предвестник джута.

Горе — ящур, и как ящур оно может прицепиться, переходить от одного к другому. Аспан испугался своих мыслей, прошептал: «О боже, отвори лицо такой напасти от нас! Отвори! Может, тот, кто лежит в могиле, забрал с собой конец нити несчастий... Да, да, несчастья имеют свойство цепляться к роду. В ауле есть такие невезучие...»

Человек по имени Дуржин был застрелен в тридцатом году на перевале, его сын исчез через семнадцать лет, внук попал в тюрьму, дочь умерла в годы войны. О воля божья, некоторые ходят по жизни, развеивая на ветру чубы, хотя и глотают верблюда со шкурой, а другие — мышь не обидят, а все несчастья липнут к ним как репей.

— Отвори лицо! — Аспан-старик потряс бутылкой, взбалтывая вино, и сделал большой глоток. — Вернулся бы целым и чтоб не страшась перешел Чертов мост, — эти слова он проговорил громко, как заклинание.

Он знал, что сын пойдет к Чертову мосту. Выберет короткую дорогу, не зря не захотел переждать пургу. Как жалел сейчас Аспан-старик о сказанных когда-то, в минуту слабости, словах. Он сказал: «Не повторяй мою судьбу».

¹ Джут — падеж скота в гололедицу.

Как знать, может, из-за этих слов его сын выберет дорогу через Чертов мост; может, из-за них всегда и во всем подражал отцу. Разве теперь разберешься, кто для кого был опорой все эти годы: отец вырастил сына или сын помог выжить отцу...

Гнедая кобыла вдруг громко и жалобно заржала.

— Пасись, родимая, — сказал Аспан-старик, — тебе и мне что осталось, если не жрать и спать. — Он разгреб снег у изголовья могилы и тихо зашептал: — Пожелай жизни Аману, пожелай вернуться невредимым. Если человек желает добра другому человеку, то не бывает таких, как я. Если бы так было всегда, я бы не сидел здесь, обхватив руками кульяшки... Но в наше время жизнь не баловала таких, как мы, не оставляла ни сил, ни времени для мыслей о других. Да что о других — о себе забывали. Переезжая через Чертов мост, я не сказал «бисмиллахи» и остался под снежным завалом. Не на один день остался, и мало было тех, кто бросился сразу на поиски, и мало было тех, кто хотя бы молился за меня. Но поднимусь-ка с места, чем нести чепуху...

Он резко подался вперед и, вспомнив, что он хуже маленького ребенка, крепко обматерил себя.

— Проклятье на твою голову, свихнувшийся Аспан-старик, какой дьявол опутал тебя, что ты забыл, кем стал! Трухлявый пенёк...

Он ругал себя нещадно и думал, что все же это неплохая примета: забыть о своей ущербности в то время, когда его сын находится на пути к аду.

Горизонт снова приблизился, а небо опустилось и было злым, как табунщик, потерявший всех своих лошадей.

Хотя едва перевалило за полдень, наступили сумерки, и все вокруг снова притихло, затаилось в ожидании беды.

Краса Алтая — игривая Бухтарма — начала глухо постукивать, словно невестка, обиженная в доме мужа. Потом заплакала навзрыд, ей вторили тоскливым посвистом тугаи.

«Много плачущих будет у природы». Аспан-старик сделал последний глоток, сунул бутылку в снег: весной заберет. Сколько их накопилось бы здесь за тридцать лет! Можно было бы соорудить красивый памятник Табунщику. Пирамида бутылок. Скрепить их цементом. Как бы они играли на солнце летом, гудели бы зауспокойную песню, вторя алтайскому ветру, зимой.

Аспан-старик пожалел, что эта замечательная мысль пришла так поздно. Вряд ли до конца жизни здесь теперь наберется пустых бутылок для большой пирамиды. Он снова креп-

ко завязал под подбородком шнурки треуха, застегнул полшубок, натянул меховые рукавицы. Позвал гнедую: «Мох, мох!» Она покорно подошла и даже, кажется, чуть присела. Прямо с могильного холма, так было сподручнее, Аспан-старик, ухватив могучими руками седло, подтянулся и взлетел на него.

— О боже, сохрани сына моего! — Провел ладонью по лицу и, понукая кобылу, направился к аулу.

За спиной остался холмик с примятым снегом и березовый курук, издающий на ветру бесконечную унылую песню. В этой песне звучали и неизбывная тоска, и неведомая мечта, и тайна чьей-то души. Аспан не оглянулся, лишь пустил гнедую рысью: надо быстрее добраться до дома, заняться скотом, ведь сын на Алатае, а завтра же Новый год. А песню курука он знал наизусть.

* * *

К полудню управляющий отделением совхоза «Енбек» Аман Аспанов достиг подножья гор Тарбагатай, тут его и застал буран. Не стало видно конских ушей. Он ехал осторожно, чутко прислушиваясь к поступи лошади. Взбирался на вершину по извилистой, словно рисунок на подушечке большого пальца руки, дороге, построенной еще пленниками первой мировой войны с австро-венграми.

Путь носил название «Ирек»¹ и вел к единственному перевалу по ту сторону Алтая. Путь всех чабанов и табунщиков. Одолевали они его с молитвами, прося снисхождения у бога, вспоминая грехи свои.

Чуть в стороне еще тропа, но по ней мог пройти только один всадник, да и то не всякий, а жигит из жигитов, с сердцем, покрытым щетиной, и на коне, чтоб всем коням конь. По этой тропе в лютые зимние дни без риска потерять голову живой душе не пройти.

По Иреку же в летние месяцы носятся машины, а зимой только всадник может проехать, но молча и не спеша.

Потому люди в этих краях умеют разговаривать молча, что стоит аукнуться или кашлянуть громко, как толщи снегов, опирающиеся на лохматые ели, нависающие над краями утесов, враз сдвинутся и завалят дорогу, сметая все живое и неживое на ней.

Снежный обвал, рухнувший с горы, сомнет всадника с ко-

¹ Ирек — Извилистый.

нем, утащит в глубокую расселину, расколовшую землю вон там — у самого подножья.

Но если минет тебя эта напасть, самое трудное встретишь впереди. Вниз с перевала к зимовке Алатай ведет тропа Тар¹. Само название ее говорит за себя. Она петляет вдоль реки Каба, пересекает мостами реку много раз, бродит между гор и уходит на юг. Ниточка прорезает каменные утесы, то готовые вот-вот упасть, то копьём взлетающие ввысь. Ее мосты — волоски, по которым надо пройти из ада в рай, из рая в ад, и так много, много раз. Не хватает сил перевести дух. Зимой тропу скрывает двухметровый снег, и угадать ее можно только опытом. Но когда все это преодолешь, как награда открываются невиданные красоты Алатая. Просторная белая долина зимой оправлена в раму темных, поросших могучими елями гор, летом она — изумруд в кольце из горных вершин.

На этом джайляу аул Евбек все лето заготавливает сено для скота, зимующего на Алатае. Табунщики в холода подтаскивают сено к зимовкам. Долгие месяцы они отрезаны от всего мира и живут тихо, словно сурки в норе. Продовольствие запасают, когда земля еще черная. И так годами, и так всю жизнь. Но однажды случается джуг, и тогда не от кого и неоткуда ждать помощи. Надежда только на себя, и если не патаскал достаточно сена скотине, его уж не притащить с дальних скирд и тебеневкой не спасешься. Значит, сиди и смотри, как на твоих глазах погибают от голода сотни ни в чем не повинных животных.

Два путника в буране знают об этом и идут на помощь. Но сумеют ли они целыми и невредимыми добраться до дальних зимовок?

Они уже благополучно одолели перевал Ирека и вышли на Тарбагатай. Буран, который был нутужно, вдруг бросил их преследовать за перевалом, и в воздухе засверкали тихие снежинки. Перед путниками открылась равнина Шарыктыбулака. Она была похожа на спящую девушку с красивой грудью. Где-то среди равнины притаилась под снегом зимовка. В ней живут чабаны соседних аулов Шынгыстай и Пилорама; можно отогреться, отдохнуть, поесть, но путник, едущий первым, направляет коня к Алатау.

Когда Аман и Эркин добрались до зимовки, расположенной у самой пасти Тара, уже смеркалось.

Всадники соскочили с коней, дымящихся от пота, и на-

¹ Тар — Тесная.

правились к деревянному дому зимовки. Аман огрел плетью по голове волкодава, с бешеным лаем хватающего за подол, открыл дверь. Точно воробьи, увидевшие кота, замерли табунчики. Расположившись вокруг железной печки, они дулись в карты, расставив ноги и хохоча во все горло. После минутного оцепенения они повскакивали с мест и с преувеличенной заботливостью бросились к гостям.

Аман не подал руки, не ответил на их «ассалаумагалей-кум». Скинул полушубок, сел на корточки перед печкой, протянул к ней ладони. Табунчики после замешательства кинулись с рукопожатиями к зоотехнику. Он поздоровался и тоже повис над железной печкой.

Молчание затянулось, и тогда самый молодой из табунчиков, безусый мальчишка, сказал примирительно:

— Надо согреть кумыс. Замерзли вы, наверное, сильно.

Жигиты, не знавшие, как проявить себя, тотчас бросились к саба¹. Один взболтал кумыс, другой подставил жестяную миску. Осторожно, не задев и не побеспокоив начальника, мальчишка поставил миску на печь.

— Аман-ага, спокойно ли в ауле? — нарушил молчание табунщик Альке.

— Тебя интересует, как дела в ауле, а нас интересует, как дела в зимовке Алатай, — не отрываясь от созерцания своих рук, бросил Аман.

— А мы думали, вы расскажете, что там творится.

Человек, сказавший эти слова, лишь один из всех не суетился, сидел вдалеке от очага, и лицо его возникало в отблеске пламени, не давая себя разглядеть. Аман лишь по медно-рыжим усам догадался, что этот табунщик ему знаком давно, еще с детства. Присутствие его всегда вызывало странное томительное чувство. Брезжило какое-то воспоминание: летний полдень, жеребенок на тонких слабых ножках, мальчишки-друзья. Потом пришел медноусый, и жеребенок исчез. Мальчишки знали, что по обычаю жеребенка-близнеца полагается зарезать. Но он так сверкал на солнце, и мать-кобылица бормотала над ним так нежно, и медноусый табунщик был сам близнецом, и они доверили ему тайну. А жеребенок к вечеру исчез.

Медноусый или его брат, их невозможно различить, был председателем колхоза в тот страшный год, когда отца унесла и искалечила лавина. Теперь кто-то из них — простой табунщик, кто-то — простой чабан. Аман почувствовал вызов в

¹ Саба — посудина из лошадиной кожи.

словах медноусого, и этот вызов почувствовали все. Табунщики притихли. Эркин хотел что-то сказать, но Аман остановил его рукой.

— Разве для вас рай наступил раньше других? — спросил он спокойно, хотя хотелось закричать. — Что за беспечность? Словно женихи, приехавшие на первую ночь к невесте, сидите играете в карты, жрете казы¹, рыгая, пьете кумыс. — Схватив миску, стоящую на печке, он начал пить большими глотками.

— Товарищ управляющий, оставьте и мне глоток, — сказал Эркин, пытаясь немудреной шуткой разрядить сгущающийся электричеством злобы воздух в избе.

— Убейте, но скажите, за что сердитесь! — взмолился мальчишка.

— А ты не догадываешься?

— Правда не знаю, ага.

— Может, вы догадываетесь, кто постарше? — спросил Аман двух других.

— Мы свое дело знаем, — буркнул из сумрака медноусый.

— Тогда я вам объясню, — угрожающе сказал Аман. — Отвечайте на мои вопросы. Сколько дней идет снег?

— Третий! — откликнулся обрадованно табунщик Альке, тихий, измученный какой-то затяжной болезнью человек. Его томила смута, сменившая такую веселую и спокойную жизнь зимовья.

— На сколько толще снег по сравнению с прошлыми годами?

— Примерно на два метра.

— С тех пор как ты помнишь себя, был такой джут?

— Нет, ага. Но мой отец рассказывал: когда я был младенцем, пришел страшный буран.

— А он не рассказывал тебе, что делали настоящие жигиты в это время? Почему вы ведете себя так, будто на улице благодатное лето? Почему никто из вас не спустился вниз узнать, есть ли корм у скота? Почему никому не пришлось в голову узнать, как дела у тех, кто еще выше в горах, кому еще труднее?

— Для того и начальство, чтобы думать о других, а мы думаем о себе, — сказал медноусый.

Злость Амана невидимой волной словно затопила избу, но из темного угла навстречу ей поднялась такая же глухая злоба, и это ощущали все.

¹ К а з ы — конская колбаса.

Эркин напрягся. Он чувствовал, что негодование Амана имеет какую-то тайную причину. Две злобы, столкнувшись, могли вызвать бурю страшнее того, что бушевал на дворе, и Эркин сказал спокойно:

— Потому мы здесь, любезный, что думаем обо всех. Но меня интересует, как обстоят дела у вас с кормами...

— Сено у нас кончается... — тихо сказал Альке.

— Значит, пойдете прокладывать путь к скирдам. И когда мы вернемся из Алатая, сено должно быть.

— Как прокладывать?! — жалобно спросил Альке. — На двор носа нельзя высунуть.

— Даже если будет выюжить не снег, а кровь, вы это сделаете. А теперь подберите нам коней, пора в путь.

— Ой, ага, — покачал головой Эркин, — куда пойдем блуждать среди ночи, и что изменится, если мы выйдем на расвете?

— Если боишься, надо было оставаться дома. Ты знал, что едешь не на великий той¹.

— Зоотехник прав, — сказал рыжеусый, — если и падет четвероногий скот на Алатае, то наверняка двуногие выживут. Продовольствия, слава богу, хватает. А вы можете оказаться ни там, ни тут, заблудитесь в пути, помрете, унесет вас вода Кабы. Не знаете даже, где вас встретит опасность обвала. По-моему, это будет ложный патриотизм.

«Зачем он его дразнит? Зачем злит, толкает на безумство? — думал Эркин, стараясь в темноте разглядеть лицо медноусого. — И я уже будто у него в союзниках. Как неправильно и нехорошо все повернулось».

— Переночуйте здесь, ага. Встретим вместе Новый год, — совсем по-детски попросил мальчик.

— Послушай, мальчик, у тебя ведь еще нет мозолей на сердце, — медленно сказал Аман, — так почему же ты не думаешь о судьбе молодцов в Алатае. В каком отчаянии и изнеможении они встречают Новый год? Разве душу твою не беспокоит то, что двести стригунков наверняка грызут гривы друг у друга? Ведь если у вас кончается корм, значит, на Алатае нет ни клочка сена. Что такое Новый год? Забава для бездельников. И даже если бы начинался новый век, мы обязаны отправиться в путь.

— Ну что ж, вольному воля, спасенному рай, — фыркнул медноусый.

¹ Той — пиршество, праздник.

— А кто здесь вольный, чтоб выбирать, как поступить? — спросил Аман.

— Мы. Если хочешь — иди, а мы не обязаны.

— Ошибаетесь, аксакал, пойдет любой, кому я прикажу.

— А здесь приказывать некому. Мальчишку сам не тропишь, он ведь еще и не жил. Альке — сам начальник, хоть и поменьше тебя. Он как-никак старший табунщик, обязан находиться возле скота. Да и не потянет он, здоровье плохое. Зоотехник нашу животину должен осмотреть, есть совсем плохие...

«Чего он хочет? Он хочет идти с ним, — осенило вдруг Эркина. — Он обязательно хочет идти. И самое непонятное — это то, что Аман тоже хочет этого».

— Значит, идти тебе, — сказал Аман.

— Я должен подумать. Я много старше тебя и знаю, что такое буранная ночь. И ты ведь знаешь, что бывает с человеком, пустившимся в дорогу по такой погоде.

— Э, — сказал Эркин, — кто бы ни поехал, а я, помня о празднике, прихватил с собой бутылочку. Все-таки Новый год — это Новый год, и давайте ее прикончим поскорее.

Он лихо вытащил из валенка бутылку и со стуком поставил ее перед печкой. Табунщики облизнулись и засмеялись. Эркину почудилось, что медноусый подмигнул ему.

— Вынимай вторую, — Альке показал на другой валенок.

— Второй нет. Тащите посуду.

Мальчик бросился стрелой в угол за стаканами.

Альке принес холодное мясо, курт¹. Эркин принялся нарезать казы, лишь Аман и медноусый сидели неподвижно. Аман не отрываясь смотрел на бутылку, которая блестела, оттаивая у огня.

«Кажется, обонялось», — весело думал Эркин, аккуратно раскладывая на тарелке аппетитные кусочки.

— Ну, товарищ начальник, речь толкай. Закуска готова, — он протянул Аману тарелку.

Аман, словно очнувшись, обвел всех взглядом. Табунщики в нетерпении протягивали стаканы, лица их озарялись вожделением и алыми отблесками пламени.

— Да, да, скажите нам что-нибудь вдохновляющее. Воодушевите свой бедный народ на подвиги. — Медноусый захохотал.

Мальчишка с готовностью подхватил:

— Да, речь, речь толкайте, настоящую, как по радио.

¹ Курт — сухой творог.

Альке, казалось, не разделял их веселья. Выглядел как-то уныло. Его сердце сжималось от тоски. Ему было жаль всех. И тех, кто скоро уйдет в буран, и тех, кто останется затерянными в этом белом кружении снега, быть может самыми затерянными во всем мире. И чтоб прогнать поскорее эту тоску, он дотронулся стаканом до бутылки, которую взял в руку Аман. Попросил тихо:

— Разливайте, ага.

— Вы это серьезно, жигиты? — спросил Аман, поворачивая на свету бутылку, словно любуясь ею. Его голос прозвучал чужим, будто надтреснутым.

— Ойбай, ау, как несерьезно! Думаешь, легко ждать? — Медноусый выступил из тьмы, навис над бутылкой.

— Не заставляйте нас так долго мучиться, скажите «бисмиллахи» и налейте, пожалуйста, — засмеялся Эркин, разгребая огонь в печке.

Аман чувствовал их страсть, их алчность. Никто не думал о тех, кто там, наверху, среди бурана. Жалкие существа, увидели водку и забыли обо всем.

«Так будь она проклята!» — подумал он и с силой ударил бутылкой о стол. Стекло раскололось.

Воцарилось молчание.

— Эх, ага, осторожнее надо было... — сказал Эркин и в сердцах хлопнул ладонью себя по колену.

Мальчишка Довлет с ужасом и недоумением смотрел на Амана, и вдруг губы его задрожали, он заплакал. Он плакал о несбывшейся надежде вместе со взрослыми, умудренными жизнью аксакалами, как равный встретить праздник. Он мало знал хороших минут, нигде не отдыхал, даже не побывал еще на свадьбе. Ему так хотелось хоть немного добра, душевного единения, спокойного мудрого разговора.

— Ох и запах же у благородной! — Медноусый намочил ладони в лужице водки, протер лицо.

Только Альке сидел все так же неподвижно, уставившись в огонь, будто предвидел случившееся. В своей жизни он повидал много, а к спиртному был равнодушен. Но Эркин с беснечеством плюнул в железную печь, и глаза его налились кровью.

Аман, словно не заметив оскорбительной выходки, сказал спокойно:

— Идите найдите подходящих лошадей. Наши не годятся.

Молча табуничики вышли.

— Я вижу, вы подобрали брюхо под седло и готовы разор-

вать свою печень...— сказал Аман насмешливо, когда они остались вдвоем с Эркином.

— Оказывается, вы просто ангел, ага,— ответил Эркин; его зрачки пламенили то ли от огня, то ли от злости.— С вами можно хоть в рай, такой вы добродетельный. Ну что ж, праздник не удался, пора в дорогу. Хороша ли она будет, когда за спиной враги?

— Что ты мелешь! Бред! Какие враги! Жалкие твари, дрожащие от алчности при виде бутылки.

— Нет, не бред, и не твари они, а обычные люди. И как же люди с этого момента будут ненавидеть вас! Не будут уважать. У них к вам остался лишь страх. Что же касается меня, то, извините, ага, но у меня нет сейчас подходящих слов, чтобы высказать все, что думаю.

— Разве можно из-за глотка водки так терять себя, дорогой? — Аман насмешливо похлопал Эркина по плечу.— Успокойтесь, от вас она не уйдет.

Но за иронией скрывались растерянность и негодование. Его больно задела слова жигита, этого сосунка, пришельца, вздумавшего его поучать. Самым правильным было бы, конечно, его ударить. Но нельзя, нельзя...

— Нет, так не годится, товарищ начальник.— Эркин словно прочел его мысли, и Аман даже отшатнулся. Но зоотехник говорил о другом.— Вы не понимаете человеческую душу. Вы знаете, какие минуты самые дорогие и счастливые в мире? Вы лишили людей праздника. Зачем? Этого понять нельзя. Это тем более оскорбительно, что необъяснимо.

Аман молчал. С хрустом щелкал костяшками пальцев.

— Ваш отец никогда бы...

— Не касайтесь моего отца, не вмешивайте его в это дело.

— Я не собираюсь его оскорблять. Наоборот, я хочу высказать Аспана-аксакала, ставшего гордостью нашего аула. Вы сейчас дали волю своей злобе, а ваш отец ненавидит зло, в чем бы оно ни выражалось и как бы ни прикрывалось высокими причинами. Мы не пьяницы, и вы это знаете, и потому не простим, что вы унизили нас. Мы же не в вашем кабинете... и, в конце концов, мы здесь не гости. Надо уважать хозяев.

— Не ожидал такого красноречия.— Аман потянулся за полушубком, медленно встал, начал одеваться.— Очень красноречивы вы, братишка. Но я сомневаюсь в том, что вы можете разобраться во всем, что здесь произошло. Вы в наших краях только второй год и не знаете наших людей.

— Люди везде люди,— сказал Эркин, не отрывая взгляда

от огня,— и, вместо того чтобы еще щенками бить их по морде и глазам, превращать в боязливых, дайте им возможность уважать себя, вы старшие...

Он не успел договорить, вошли табунщики. Они молча стояли у дверей, пришибленные случившимся.

— Лошади готовы,— тихо сообщил Альке.

Он тайком с удивлением разглядывал Эркина. Оказывается, этот молчаливый, скромный жигит способен на храбрые поступки. Произошла странная вещь: огромный Аман сделался словно ниже, а худенький парень, который два года незаметно исполнял свои обязанности — вел счет скоту, лечил его,— вдруг будто вырос, раздался в плечах. Нет, нет, зря они прозвали его «пришельцем». Он человек непростой и храбрый. Такую выходку, как плевков в ответ на разбитую бутылку водки, Аман никому бы не простил, а тут пришлось простить. И вот сейчас все поглядывают на него вроде даже уважительно или удивленно,— видно, поговорили крепко наедине. Интересно, с кем он поедет? В такую дорогу выбрать спутника — это выбрать судьбу.

Аман, бросив взгляд на сумрачные лица табунщиков, на напряженно окаменелое — Эркина, думал о том, что потерпел поражение.

Эркин вдруг резко поднялся:

— Пора.

— Вы останетесь здесь. Со мной поедет Альке.

Альке тотчас покорно пошел в угол избы искать рукавицы потеплее.

— погоди, Альке. Я думаю, у тебя и здесь дел хватает,— остановил его Эркин.

— Альке нужен нам,— жалобно подхватил мальчишка.

Аман повернулся к медпоусому:

— Тогда придется тебе сопровождать меня, хоть ты этого и очень боишься.

— Коней на переправе не меняют, начальник,— медноусый смотрел с вызовом,— а переправа предстоит опасная. И сдается мне, что боится кто-то другой, не доверяет ни мне, ни зоотехнику.

— Зоотехнику я доверяю и потому оставляю здесь. Соберите соседних чабанов и прокладывайте тропу в сторону Алатай. А мы будем идти навстречу и пригоним жеребят и стригунков в низину. Другого выхода нет. Сено и корма используйте экономно. Те времена, когда мы пускали скот свободно под скирды, сказали нам «прощай». Если выглянет солнце, кобылиц пустите на тебеневку. Если мы крупных животных

с твердыми копытами не прокормим тебеневкой, то петелям придется плохо.

— Уже на мордах лошадей начинают нарастать сосульки. Им трудно доставать губами до земли,— сурово сказал медноусый.— Мы не можем дать обещание, что перезимуем с помощью тебеневки.

— Ничего, перезимуете. Почистите морду каждой лошади и выгоните их на тебеневку. Даже если вам придется лопатой расчищать снег, вы придете к весне без потерь.

— Ну что ж,— сказал медноусый,— если вернусь живым, буду расчищать.

Эркин понял: он добился своего. Едет вместе с управляющим. Понял и другое: чем больше будет настаивать на том, чтобы вместе продолжать путь, тем упрямее будет в своем решении Аман испытать судьбу.

Он чувствовал, что двух этих людей связывает тайная вражда и что медноусый, заманивший Амана в ловушку необходимости взять его, коварен и хитер.

— Э нет, жигиты! — весело сказал он.— Кто начинает путь вместе, вместе его и кончает. Но раз уж возник спор, его нужно решать единственно справедливым способом. Бросим жребий.

— Это правильная мысль,— подтвердил Альке, а мальчишка просто запрыгал от радости: наконец хоть какая-то забава.

— Жребий, жребий, кидаем жребий, а вы, Аман-ага, идите к лошадям, посмотрите, годятся ли.

— Эх вы, жигиты! — сказал управляющий и вышел.

— Дело в том, что над их родом висит проклятье. Идти с ним в такой буран — искушать шайтана. Я верю в судьбу,— сказал медноусый, как только дверь закрылась за Аманом.

— А я полагал, что ты веришь только в бутылку,— с неожиданной для него злостью бросил Альке, и Эркин подумал: «Он тоже понимает, что им нельзя идти вместе». — Бери одну из выпитых тобой,— приказал тихий Альке,— и посмотрим, как насчет судьбы.

Бутылка лениво закрутилась на кошме от руки медноусого и показала на дверь.

— Все правильно,— сказал медноусый,— моя бутылка меня не подвела. Одному ему ехать надо. Он больше денег получает, пускай больше рискует.

— Что-то мне все меньше и меньше нравятся ваши шутки.— Эркин вырвал из его рук бутылку.— Крутани еще раз, Альке.

Альке положил бутылку на кошму и почему-то медлил. — Ну крути же, крути! — не выдержал мальчишка.

Альке исподлобья взглянул на Эркина, и Эркин, мгновенно поняв его, чуть опустил веки.

Бутылка покрутилась и показала на зоотехника.

— Ах, черт возьми, — вскочил как козленок мальчишка, — ни в чем мне не везет! Неужели ты, дядя Альке, не мог сделать так, чтобы показала на меня.

— Не мог, — серьезно ответил Альке. — Никак не мог.

Когда они вышли во двор, мела легкая поземка.

Ночь была черна как кошма и, казалось, могла бесшумно поглотить всякого, кто решится покинуть жилище. Мороз набрал силу; жигиты стучали зубами, будто факиры, глотающие огонь.

Кони, нетерпеливо ожидающие людей, заржали призывно из темноты.

— Один из них никуда не годится, — сказал Аман, — он не способен прокладывать тропу. Словите жеребца из косяка.

Он не спросил, подобно нетерпеливой женщине, кто же все-таки едет с ним, — стоял огромный, неподвижный, покуривая сигарету.

— Дайте нашим лошадям сена и накройте попоной, — сказал он Альке. — Нам на них еще возвращаться.

— А что, если направить их на тебеневку? — сострил медноусый. — По вашему совету.

Но Аман словно не услышал его.

Когда привели громадного жеребца, Аман засмеялся.

— О, это целая гора! — Он ласково похлопал жеребца, и тот заржал тоскливо.

— Чует трудную дорогу. — Эркин помог управляющему сесть на здоровенного степного богатыря. — Думаю, что лыжи лучше взять мне, этот измучает вас; непривычный, будет шараться.

Аман чуть склонился с седла, словно хотел разглядеть как следует лицо зоотехника, но снова выпрямился.

— Хорошо. Лыжи возьмете вы.

— А вы, ага, возьмите ружье, — посоветовал Альке.

— Для чего оно нужно? — недовольно проворчал Аман.

— Береженого бог бережет. Возле Чертова моста бродит стая волков, могут напасть.

— Ружье нужно нам самим, — сказал из тьмы медноусый.

— Альке сказал — мы повинемся. Берите ружье, ага.

А тебя, дорогой друг, трудно понять: то ты храбрец безумный, то без ружья ночевать боишься.— Эркин будто случайно потеснил медноусого конем.

— Какой калибр? Тридцать второй или мелкашка? — спросил вознесенный мощным жеребцом до небес Аман.

— Двустволка, ага.

— Откуда достал?

— Только не воровством. Я купил его у перегонщиков скота.

— В следующий раз купи мне, — попросил Аман. — Будь здоров, Альке, собирай здешних жигитов, и прокладывайте путь к Алатаю.

— Начнем, как только развиднеется. Не беспокойтесь о нас. Возвращайтесь здоровыми и невредимыми.

И хотя силуэты обоих всадников сразу поглотила ночь, три табунщика долго смотрели в бездну тьмы.

Разные чувства теснились у них в груди.

Тревожно и беспокойно было на душе у Альке. Прожив вот уже большую половину жизни в тяжелом неизбежном труде, много раз рискуя жизнью, он не ожесточился, не огрубел сердцем. В редкие дни свиданий баловал пятерых детишек, никому не завидовал, не желал дурного. И сейчас его простое и чистое сердце сжимала тревога за Амана и Эркина. Но он испытывал и восторг перед этими людьми, отправившимися добровольно в немыслимо тяжелый путь, не дрогнувшими перед буранной ночью и лютым морозом. Ему и в голову не приходило, что в течение своей многотрудной жизни он много раз рисковал не меньше, — ведь жизнью его была работа, и она включала в себя и долгие месяцы зимовки, и бураны, и тяжелый труд, и многое, многое другое, о чем знает только табунщик.

Товарищи ушли в дом, а Альке все стоял, прислушиваясь к ночи. Потом вернулся в избу. Медноусый пил кумыс; мальчишка дремал, закутавшись в тулуп.

Мальчишке снились сны.

Ему снилась Алма-Ата, где он был год назад. Струи фонтанов перекрещивались, образуя волшебный, сверкающий на солнце тоннель. Он шел по этому тоннелю, и почему-то брызги его не задевали. Он шел бесконечно долго и вдруг стал бояться, что так дойдет до гор и не увидит города. Тогда он вошел в струи, и они расступились перед ним; он увидел прекрасное высокое здание, увенчанное золотой короной. Он понял, что теперь это его дом. Но вокруг здания замер в изнеможении измученный табун; мальчишка понял, что лошади

голодны и хотят пить. А люди, идущие по тротуарам, совсем этого не понимали.

Мальчишке очень хотелось войти в свой дом, и пусть кто-нибудь другой думает о табуне. Но люди, идущие по тротуарам, совсем не собирались заботиться о табуне. И тогда мальчишка понял, что только он может напоить и накормить табун. Было очень жалко новых брюк и красной рубашки, но он вспомнил, как струи расступались перед ним, вскочил на жеребца и погнал лошадей к фонтану. Замерли троллейбусы и автобусы, остановились машины, пропуская табун, но люди на тротуарах по-прежнему спешили по своим каким-то важным делам.

Мальчишка пригнал табун к фонтану, лошади напились и начали щипать сочную траву газонов, и тогда мальчишка крикнул: «Эй, смотрите! Смотрите все!» И люди вдруг очнулись, остановились и увидели, как расступились перед ним струи, пропуская в прохладный, сверкающий на солнце тоннель.

Мальчишка крикнул во сне что-то неразборчивое, улыбнулся. Альке подложил ему под голову сбившийся край тулупа. Медноусый рыгнул, встал, пошел к своему месту. Он лег спиной к огню, потому что не хотел, чтобы Альке видел его лицо во сне.

Больше всего он боялся, что на него кто-нибудь будет смотреть, когда он спит. Ведь во сне он беззащитен. При свете дня угадать его мысли не может никто. А во сне он беззащитен, потому что единственная защита в этой жизни — жестокость. А жестокость должна бодрствовать. Всегда. Для того чтобы выбраться из этой человеческой груды под названием «жизнь» наверх, нужна жестокость. Для того чтобы удержаться наверху, нужна жестокость. Он не удержался. Это не его вина. Виновато время. Но ведь он еще не стар, и жестокость его не устала, он будет ждать.

Альке поднес часы к огню. Около девяти. Через три часа Новый год. К жизни человечества прибавится всего один год. К нему, Альке, еще ближе придвинется старость. Ну что ж, он не боится ее. У него пятеро сыновей, этого достаточно, чтобы не бояться старости. Была ли хорошей прожитая жизнь? Жизнь как жизнь, всего в ней хватает — и плохого, и хорошего. Не хватает одного: времени, проведенного с семьей. Всего лишь несколько раз он встречал этот праздник за одним дастарханом с женой, с детьми — там, в ауле, расположенном на предгорьи. Да и другие праздники тоже. Как стал табунщиком, не получается вместе праздновать, видеть

радостные родные лица, целовать их. Разве не превращается он в лося — зверя гор, ходя днем и ночью за щетинохвостыми?¹

Он разгреб огонь и подбросил в печку дров. Вдруг ему послышался далекий волчий вой. Он схватил висящее на стене ружье медноусого и выскочил на крыльцо. Прислушался. Тишина. Снег, похоже, стал терять силу, слабее бил в лицо. Но небо было темным, без луны. Альке подошел к загону, где стояли лошади. Они встрепонулись; во тьме он почувствовал, что повернули к нему морды. И тут раздался, уже отчетливо, далекий волчий вой. Альке нажал на курок. Горы и долины многократно повторили звук выстрела. После того как утихло эхо, восстановилась тишина, способная лишить разума.

«Вот и я встретил Новый год», — подумал Альке.

* * *

Весь вечер Аспан-старик промаялся, не находя себе занятия. Да еще внуки ушли на новогоднюю елку, так что совсем было тоскливо. Вместе со старухой и снохой молча поужинал, и женщины взялись за нескончаемую мелочную работу по хозяйству.

Неожиданно старуха сказала:

— Наш мальчик, оказывается, подался на Алатай. Из-за того, что он отправился так поспешно, похоже, что начался падеж скота. Откуда он только выискивал эту неблагоприятную работу...

Но старик и сноха молчанием показали, что не расположены к такому разговору. Аспан-старик курил, сидя на постели. Он совсем лишился спокойствия, не мог себя ничем занять и с тоской понимал, что его ждет бессонница. Вспомнил о книге, которую не мог дочитать с давних пор, словно заколдовал ее кто. Вытащил книгу из-под матраца. Этот глупый Али-тет по-прежнему не хотел сдвинуться с места; буквы прыгали, слова не складывались в понятные фразы. Аспан засунул книгу снова под матрац. Сплел пальцы рук над головой. «Главное, не вспоминать о том, что случилось тридцать лет назад. Не вспоминать. И тогда шел такой же снегопад».

— Лишь бы он прошел по Чертову мосту не страшась, — пробормотал он.

— Ата², вы мне что-то сказали? — заглянула в комнату сноха.

¹ Речь идет о конях.

² Ата — отец.

— Нет, аналайын¹, просто так, — ответил он.

«Да, и тогда шел точно такой же снег... Какое совпадение... О боже, какое ненужное совпадение, и если инвалидность цепляется к роду... Э, постой, постой. Бездельник всегда думает о чепухе. Было бы снотворное лекарство, как тогда в больнице, бросил бы в рот две-три таблетки и лег бы, закутавшись с головой... О боже, какое ненужное совпадение...» — это слово то и дело возвращалось к нему подобно пчеле, весь день снующей возле улья. Возвращалось и отлетало. И снова возвращалось...

* * *

И в тот год шел точно такой же бесконечный снег. Втром они пасли на зимовке Алатай стригунков и жеребят. Злая зима с жестоким морозом, не отпуская, держала их за горло. Запас кормов был мал, день ото дня тощал скот, несчастные животные еле держались на ногах. Однажды из центральной усадьбы пришел приказ отобрать пятьдесят совсем уж захудалых скотинок и пригнать их на зимовку Тарбагатай. Аспан-табунщик отправился в путь, ведя с собой пятьдесят несчастных лошадок. Ехал вдоль реки Кабы, по страшной тропе Тар. Хотя на небе были тучи, буран и непогода затихли. Ход стригунков был неважен, да и чего ждать от измученной скотины, бредущей по тропе, похожей на след муравья... Пробирались так: сначала на своем мощном мерине ехал Аспан, пробивая в толще снега дорожку, потом возвращался и прогонял по узкой бороздке молодняк.

Останавливаясь через каждые сто метров, усталые и измученные, они добрались наконец до Чертова моста.

Тогда это был единственный мост через реку. Совершенно ветхий и скрипучий, построенный в первую мировую войну, он мог вынести тяжесть только одного всадника. Значит, предстояло перевести всех лошадок поодиночке. Аспан-табунщик слез с коня и, бросив на шею первого стригунка веревку, повел его через мост. Несчастным, исхудавшим так, что шкура висела на костях, животным было не до баловства, и они покорно брели за табунщиком. Как только он провел последнего жеребенка на большую землю, тотчас вернулся на тот берег, сел на своего мощного азбана².

«Эй, Аспан!» — раздался Великий Крик и продолжился

¹ Аналайын — душа моя.

² Азбан — мерин.

непостижимым шумом, от которого задрожало небо. Аспан-табунщик круто обернулся, подумав: «Что за громовой звук, точно гонят тысячи и миллионы лошадей?» И увидел...

Прямо с неба, оттуда, где острия утесов упирались в него, мчался с бешеной скоростью свистящий и орущий, всеокрушающий снежный обвал. Мчался на него.

С криком: «О аллах!» — Аспан-табунщик хлестнул плетью мерина. Хлестал так, что через миг они оказались на середине моста, и тут белый дракон настиг их, навалился всей своей страшной силой.

Весь мир: мост, небо, горы, исхудалые жеребята, жавшиеся друг к другу, — все, все исчезло вмиг. Кто знал, что напасть по имени смерть нагрянет так внезапно... Снежная лавина, упавшая с гор, схватила табунщика вместе с его лошадью и выбросила в стылые воды реки. На берегу остались ошеломленные жеребята, с ужасом следящие за тем, как хозяин то исчезает, то возникает вновь в бурных водах Кабы.

А в горах, громко хохоча и хлопая себя по ляжкам, носился вприпрыжку невидимый дьявол, и хохот его долго отзывался зловещим эхом.

Обвал.

Это единственное бедствие, глухонемой враг, которого не могут одолеть люди, живущие в горах Алтая. Не первой и не последней жертвой этого проклятого обвала стал Аспан-табунщик. Он заставил плакать многих. Отчего же, зная об этой опасности, люди идут через Чертов мост? Потому что это единственный путь к их жизненной насущности, к земному раю — пастбищам Алатая. И все молятся о невредимости этого слезами омытого моста, хотя он и грозит им смертью.

Теперь он рухнул, вон несутся его обломки по реке Кабе. Остались лишь сиротливые стойки.

Кто-то пожалеет о мосте. Наверное. Может быть, те, кто готов за рай заплатить любую цену. Кто-то обрадуется. Наверное. Может быть, те, кто думает так: «Рай не стоит жизни человека, не стоит его страха. И, в конце концов, Алатай — рай для скота, а расплачиваются за него люди». Есть же такие, что рассуждают просто: «Жизнь горных людей приспособлена для опасности. Несколько поколений ходили по этому мосту, и те, что не покинут свою землю, тоже обречены перейти его хотя бы однажды. Если они боятся перейти его, значит, они слабые, не одолеют многого, и жестокая природа сомнет их. Они постепенно начнут ей уступать, а ей нельзя

уступать ничего. На этом держится жизнь людей в этих местах».

Аспан-табунщик, несясь в бешеном потоке, захлебываясь ледяной водой, чувствовал, что все-таки еще не конец. Куски льдин, сжимавшие его со всех сторон, держали на поверхности, словно река отказывалась забрать к себе навечно.

Его несчастный азбан пронесся мимо, задрал голову с окаленными зубами, присев как-то нелепо на льдину крупом, и будто множество чертей, шутливо визжа, гнали его перед собой. Даже в плачевном состоянии своем Аспан-табунщик подумал: «Ох, бедняга, как жалко его! Потащило его в ад. Прощай, мой добрый смиренный конь!»

Не мог знать тогда бедолага Аспан, что до конца дней своих он будет читать в глазах близких и добрых людей: «Как жалко...» Шумящая под месивом льда ледяная вода, крутя и раскачивая табунщика, все же тащила его к берегу.

И за это спасибо. Лишь бы успеть схватиться за деревья, склоненные над водой. Наверняка в мире нет рук мощнее, чем у него. Но сейчас бешеная их сила, которая смиряла любого строптивого коня и, схватив за уши, останавливала, уцепившись за хвост, теперь кажется ненужной.

Но радость! Неумолимая река, которая то тащила его, окуная с головой, то подбрасывала вверх, жестоко играя с беспомощной куклой-человеком, вдруг очень близко поднесла к берегу. Расстояние, не длиннее курука, теперь еще ближе, можно дотянуться рукой.

— Господи, дай удачу и силу!

Постарался выброситься на берег сам, как обезумевшая рыба, но не было опоры для толчка.

И вдруг случилось чудо: мощным ударом невидимой спасительной волны его кинуло вбок, он упал на твердое. Но слепящая боль хлестнула по ногам; разум, все еще кружащийся возле него как птица, упал и разбился; Аспан потерял сознание.

Дальше не было ничего: ни шума воды, ни боли, ни холода, ни ужаса, ни белизны снега.

Он держал в руках чашу своего бытия, готовясь перед уходом в другой мир испытать из нее последние, самые горькие капли. Но что есть в этом мире несокрушимее человека?

Когда Аспан очнулся, то понял, что висит над водой Кабы, застряв в ветвях поваленного кедра. Увидел он и белый-белый мир, замерший в ожидании вокруг него. В ожидании смерти или воскрешения: белому миру было одинаково безразлично.

Его ноги омывала вода, но Аспан не чувствовал холода.

Его — да пусть будут они благословенны! — руки беркутской хваткой держались за ветку. И голова на месте, — значит, способен думать. Значит, нечего висеть, извиваясь словно волк, попавший в кашкан. Надо действовать — выйти на берег, выжать одежду, развести костер, обсохнуть. Но что это? Какие-то лохматые черти окружили его и, пошатываясь, затянули нудную песню. А за ними сгрудились другие — и не сосчитать, сколько их, — раскачивают огромными башками.

— Бисмиллахи... — прошептал Аспан и закрыл глаза.

Когда открыл, увидел, что черти исчезли бесследно, на их месте шумят широкими кронами кедры, и весь мир с огромными валунами, с деревьями, с вершинами гор торжественно неподвижен, а его бедное тело полощется, качаясь в ледяной воде.

— О аллах, — вздохнул глубоко Аспан, — нельзя так висеть между небом и землею, словно шкурка сурка. Но какая боль в груди!

Аспан собрал все силы, крикнул: «Оуп!» — вырвал свое могучее тело из воды и оседлал ствол кедра.

Пламя, облизывающее его грудь, соскочило, словно черная кошка с печи, и он почувствовал облегчение.

Прижал посиневшие руки к щекам, согревая их дыханием. Какая, оказывается, замечательная вещь эти руки! Пока они целы, у него хватит силы достать луну с неба.

А теперь нужно немного подождать, собраться с силами и хоть на карачках, но доползти по стволу до берега. Он попытался ногами обхватить ствол кедра, но тысячи иголок вонзились ниже колен; страшный крик Аспана донесся до неба, и он упал, ударившись лицом о шершавую кору. Боль была так велика, будто он коснулся бездонной пропасти, до краев наполненной всеми муками вселенной.

Аспан лежал, прижавшись к кедру, горячка жара сменилась ледяным ознобом, и он помнил лишь одно: не разжимать рук, не разжимать рук!

Солнце опустилось, на ущелье пала черная тень. Свинцовые тучи поредели, в небе появились синие прогалинки. Воды реки застывали и сгущались, ее львиное рычание утихло. Яростный мороз Алтая набирал силу, заливал горы, долины, погружая все в прозрачное, хрупкое, готовое расколоться от малейшего шороха.

Аспан открыл глаза, боль тотчас принялась грызть его ноги, словно бешеный пес.

— О небо! — крикнул табунщик, но пес не убежал, не бросил своей добычи.

Скрипя зубами, Аспан пополз по стволу, хватаясь за сучки и ветки. Ноги не были подспорьем, но руки, бедные руки — куда им деваться! — вытащили медвежье тело на берег. Теперь надо встать, во что бы то ни стало встать на ноги, во что бы то ни стало... Взревел и рухнул в глубокий снег. Но все же успел перевернуться на спину и затих. Пес вдруг отошел и лег в сторонке. Аспан чувствовал его ледяное дыхание. Потом пес подполз, начал шершавым колючим языком лизать лицо; нет, это мороз начал заковывать его в свои железные латы.

Открыл глаза. Увидел глубокое темно-синее небо, серебро звезд, черные вершины кедров.

— О боже, живой ведь! — Аспан впервые раздвинул в улыбке медные губы.

Сердце билось гулко и равномерно. Его удары отсчитывали время, бесконечное время.

Поверженный не отрывал взгляда от неба, будто преданный раб, выпрашивающий у разгневанного властелина жизнь.

Лунный свет обливал его, согревал его заледенелую душу. Как прекрасна и горяча эта луна! Совсем другая, не та, которую он видел вчера, и прошлый год, и двадцать лет назад. Ох, судьба, какое мучение быть бессильным, словно ребенок, так и не научившийся ходить! Какое отчаяние лежать, погруженным в снег, когда душа горит, а мысли бьются и трепещут, как пойманная в силос птица!

Это и есть кричащий безмолвно мир, это и есть. Ночь января длинна, как овечья кишка.

Он, еще вчера ходивший вразвалку, прыгавший как горный козел, лежит, скованный страданием, между жизнью и смертью, не в силах ни на волос оторваться от земли.

Луна скрылась в расщелине горы Музбель; с ее исчезновением Аспан испытал тоску, подобную той, что испытывал всегда, попав в молак¹. Но когда стали меркнуть звезды, он подумал о солнце, подумал с радостью и надеждой. Все, что он мог сделать для продления своей жизни, — это неустанно тереть руками лицо и уши; он подгрел к себе снег и укрылся им. Теперь лежал, до плеч укрытый снежным саваном.

«Пойдет ли кто-нибудь искать меня?»

Солнце заставило себя ждать долго и мучительно. Его слабые лучи еле достигали дна глубокого ущелья, их почув-

¹ Молак — сухостой.

отволяли веки, открылись и сомкнулись тотчас. Этот жидкий свет показался нестерпимым.

Но Аспан знал, что через десять — пятнадцать минут солнце снова уйдет за горы; он приподнял голову, заставил себя широко открыть глаза, стараясь получить как можно больше от краткого свидания с дающим жизнь.

И случилось чудо: бессознательно, как подсолнух, стремясь к солнцу, он приподнимался, приподнимался и вдруг сел, словно суслик у норы.

Какое счастье он испытал!

Сколько раз потом, в минуты отчаяния, когда его сидячее положение стало вечным, он вспоминал это первое чувство счастья, свой крик радости, и отчаяние отступало.

Аспан попытался пошевелить ногами — напрасно. Даже не болели; как будто какие-то духи поделили его тело, кому-то достались ноги, и он унес свою долю навсегда.

Вода, заполнившая саптама-этик¹, замерзла. Надо было отогреться, разжечь костер. Да, но спички, которые всегда клал за голенища, безнадежно вмерзли в лед, пропали. Хотелось есть. Он сунул руку за пазуху. Слава богу, курт уцелел. Надо быть осторожным, съесть немного. Он кинул в рот маленький кусочек, принялся сосать, остальное бережно спрятал во внутренний карман полущубка, близко к груди.

Засмеялся.

«Глупый Аспан, зачем беречь курт? Кто в злую непогоду пойдет искать тебя в ущелье Тар, куда и летом-то не ступает нога человека? Сначала съешь курт, потом тебя съедят волки. Или наоборот: вместе с тобой они съедят и твой курт, так что экономить его незачем...»

И все же только черт живет без надежды. Может, все-таки найдется какой-нибудь отчаянный и отправится на поиски? Вот хорошее занятие: посчитать отчаянных. Довлет, Болат, Каноат, может быть... Набралось десять. Немало. Что касается других аульчан, — сегодня друзья, завтра враги, только и ждут, когда ошибешься.

Горсточка родственников примчится со слезами к Камке и, конечно, не забудет припомнить его упрямство, скажет — сам виноват. Близкие всегда так говорят. С тех пор как сел на коня, он, сирота, ни разу не ходил к близким с протянутой рукой. Сам поил и кормил себя, как поит и кормит себя любое маленькое насекомое в природе. Он не любит советов. Ничего, прожил и без них.

¹ Саптама-этик — сапоги до колен.

Отметил равнодушно: прожил.

...Да, прожил без советов. Советчики появились, когда имя загремело не только в районе, но и в области. «Поменяй же-ребенка на стригунка; нет, поменяй кобылу на стригунка». Не слушал, потому что жил без хитрости, и дальше проживет. Пусть смеются: «Аспан такой честный, что может вдоль по-делить конский волос». И еще: родичи не признают самостоя-тельности, считают зазнайством. Легче зло простят, оно по-нятнее. Значит, ошибся, насчитав десять. Десяти не будет. Ничего не будет. Никто не обернет в саван, не прочитает заупокойную молитву. Родителей давно нет, сын — еще дитя. Ни сердце, ни мозги его не достигли зрелости. Значит, судьба выбрала табунщику подходящую безвестную смерть в оди-ночестве на дне расщелины, среди глухого леса. Ну что ж, убежать от нее не может даже тот, кто сидит в доме ал-лаха.

Показалось, что хрустнула ветка. То ли человек, то ли зверь шевелится.

Прислушался с любопытством. Страх не было, его унес снежный обвал. Кто-то бродил совсем рядом. «Зверь или че-ловек? Зверь мне подходит больше. О боже, пошли мне зверя! Пусть съест меня, это лучше, чем терпеть такой собачий по-зор, какой терплю я. Будут темнеть на снегу моя алая кровь и мои кости. Весной их унесет талая вода. И не останется от меня ничего в этом грешном мире, исчезну тихо или превра-щусь в зверя, съевшего меня, и начну вторую жизнь. У сына есть мать, не пропадет, как не пропал я...»

Справа, круша снег, передвигаясь будто вплавь, возник косолапый хозяин Алтая. Аспан оглянулся, обрадовался до сумасшествия и рассмеялся во все горло. Даже закричал не-пристойно:

— Ассалаумагалекум, мой медведь! — Медведь замер в изумлении. — Иди же, иди, не бойся, оружия у меня нет. — Аспан призывно махал рукой. — Иди! Наверняка тебя вы-жил из берлоги среди злоющей зимы мой обвал и предназна-ченный мне крик. Извини. Но я вознагражу тебя. Иди же, иди, ты ведь голоден, так насыться до самозабвения моим мя-сом, мой медведь. Не окажу никакого сопротивления, ешь большими, большими глотками. Давай соединим наши души и пойдем гулять по горам. Честно говорю, не обманываю — ешь меня, пусть бог подарит мне твою свободу, твою непонятли-вую дурость. Человека, превратившегося в медведя, не ис-пугает никакой крик. Иди, мой косолапый, хапай и ешь меня.

Медведь стоял неподвижно и внимательно смотрел на кри-

чащее так громко, размахивающее лапами существо. Смотрел, потом отвернулся и не снеча ушел.

— Эй, вернись! — закричал вслед Аспан. — Попробуй человеческого мяса!

Медведь уходил, скрипя снегом, и треск валежника становился все тише и тише.

— Не захотел легкой добычей окровавить свои когти. Эх, мой добрый зверь, не захотел поживиться пищей, добытой без схватки, без труда. Значит, и у тебя есть совесть. И, значит, мне суждено жить. Жить калекой, без пользы, без радости.

Аспан нащупал на поясе ножны. Вытащил нож с рукояткой из рога тура. Пальцем попробовал лезвие, остался доволен. Поднес нож к груди.

«Нет, может не пройти сквозь полушубок и не достанет до сердца».

Расстегнул пуговицы, распахнул полы.

«Родной край, люди добрые, будьте здоровы и счастливы, — прошептал Аспан, — оставляю единственного сына тебе, гордая гора, тебе, ветер, тебе, укрытая снегом черная земля, тебе, небо, вам, реки и озера, птицы и звери, всем вам оставляю. Прощай, Аман!» Он поднял над собой руку, и вдруг кто-то жалобно вскрикнул над ним:

— Нет, нет, нет!

Аспан замер.

— Нет, нет, нет! — повторил неведомый голос над его головой и потом что-то неразборчивое. Бормотание перешло в разрывающий душу плач.

Аспан поднял глаза. На ветке кедра сидела огромная черная птица с прекрасным женским лицом. Он узнал девушку из Сармоньке.

— Так вот когда ты пришла ко мне, моя красавица, — тихо прошептал Аспан. — Ты пришла оплакать меня.

— Нет, нет, нет! — простопала птица-девушка.

Нож выскользнул из руки, будто подчинившись неслышному приказу. Луна разгоралась и разгоралась, заливая мир серебряным светом.

— Пой мне, — попросил Аспан, — пой мне, моя девушка.

Он закрыл глаза, и птица запела о том, что как сыны человека не могут выпросить у бога счастья, так не могут выпросить и смерти, если не пришел назначенный им час. «Умрет только тот, кого поджидает смерть. Разве плохо тебе лежать в моих объятиях, горячих как пламя и холодных как лед? Зачем ты спешешь освободиться от светлого мира? Еще

не исчерпались ни хлеб твой, ни соль. Еще не допил ты до конца чашу своих мучений. Отец назвал тебя небом¹, взгляни, как высоко оно, как недоступно, но мы все на пути к нему, и первым придет туда тот, кто рассчитался за все грехи свои, и тот, кто ослабел душой и не может больше ничем помочь живущим. Спи, Аспан, ты должен набраться сил перед прощанием навеки, спи, я буду охранять твой сон».

Мертвая тишина простерлась над высокими горами, над широкими долинами; спала, скованная льдом, река, спали кедр, укрытые снегом, спали вершины и ущелья, спал медведь, спали снежные лавины, спал крик, и на дне глубокого ущелья спал человек. Обыкновенный беспечный человек. В чистейшей колыбели из снега.

Над ним всходило и заходило солнце. Звезды свершали свой медленный и торжественный путь. Лежала на боку Большая Медведица, поднимались Стожары, невозмутимо сияла Полярная звезда.

Иногда он открывал глаза и видел небо, то отливающее бледной синевой снятого молока, то перламутрово-розовое, то бездонно черное. Сверкала и пламенела на нем его любимая звезда — Сюмбле, звезда табунщиков, подмигивала таинственно.

Как-то проснулся оттого, что на лицо упал пушистый снег, залепил глаза, ноздри. Это, взлетев, качнула ветку кедровая какая-то большая птица. Аспан торопливо стряхнул снег, чтобы увидеть ее, но успел заметить лишь тень, скользнувшую по склону нависшей над ущельем горы. Этот лысый склон был освещен солнцем и блистал, переливался миллионном зеркальных осколков. Заваленные снегом огромные валуны на берегу реки походили на белых медведей, пришедших на водопой, а дремучий лес на теневой стороне Алатая замер, словно несметное войско в белых чапанах в ожидании призывного клича полководца.

«Как жесток и красив этот мир, окруживший меня,— подумал Аспан,— мне жаль покидать его».

Он почувствовал, что очень голоден, бросил в рот шарик курта и, причмокивая, пососал его.

«Замечательно вкусный курт, ничего лучше, кажется, никогда не ел. Обязательно скажу Камке, когда вернусь, что делает очень хороший курт».

Отчего-то пришла уверенность, что увидит жену, сына, родной аул, что кто-то уже отправился на его поиски. Надо

¹ Аспан — небо.

ждать. Набраться сил и обмануть бесконечно тянущееся время. Нельзя обмануть смерть и нельзя обмануть время. Но его можно увести назад, оно охотно возвращается в прошлое, например в детство или в годы юности...

Не предупреждая старшего табунщика, ловил коня и уезжал в Маркакуль, накрывшись ночью. Девушку, к которой ездил в местечко Сармоньке, потом забрал себе другой... Но до «потом» был костер на берегу озера, раздолжные песни, отчаянные игры молодых жигитов, молчаливые посиделки, трепещущая рука в руке и поцелуи, поцелуи... Притиснутые друг к другу арканом желания, они вглядывались в луну, плавающую на серебристом небе, и мысленно просили ее сделать их счастливыми. Луна не услышала молчаливой молитвы. Девушка осталась на той стороне, юноша-табунщик — на этой, и только волосая ниточка Чертова моста связывала их берега. Среди зимы Аспан не мог приезжать к ней: на Тар упала лавина и преградила путь к любимой. Он не приехал в обещанное время, не приехал и позже, а весной она исчезла. Исчезла, как исчез снег, будто и не было никогда. Ее увезли далеко, и он потерял ее навсегда.

Сейчас не вспомнить, долго ли горевал или поскорее жемился от отчаяния. Знает лишь, что, после того как родился единственный сын по имени Аман, его большая несчастная любовь померкла, а потом вроде бы и забыл о ней вовсе.

Да вот, выходит, не забыл; лежа, скуля перед воротами смерти, вспомнил. Бредом ли, видением ли, посланным богом, была птица с лицом девушки из Сармоньке?

«Если видением, то пришли мне, господь, моего отца, дай взглянуть на него еще хоть раз, дай сказать слова, которые не успел и не умел сказать.

Я любил его, как свою жизнь, и почему-то скрывал свою любовь. Но ведь и он ни разу не погладил по голове, не поцеловал, не сказал «аналайын», не брал на колени, не любовался, как другие любят своими детьми. И все же мы были самыми близкими, и когда его не стало, я потерял больше чем кормильца, больше чем защитника, больше чем отца. Отчего это?»

Станным ребенком рос Аспан, странным ребенком у странного отца. Он не разделял шумные, вносящие раздор и среди взрослых забавы сверстников. От зари до зари, словно притороченная к седлу торба¹, ходил за отцом, будто чувствовал скорую разлуку.

¹ Торба — мешок с едой.

И никто не знал, что его отец, жестокий, хмурый, небалующий ребенка, как баловали своих все вокруг, глядя на сына, неотступно следующего за ним, помогающего во всем, не знающего отдыха, млеет и тает от нежности. Он думал: «Копытце аргамака, продолжение моей жизни, пускающий дым в моем очаге, я тысячу раз благодарен за тебя судьбе. Ты — праздник моего сердца, но как рано ты повзрослел, как быстро покинул шумный и радостный базар детства».

Никогда Аспан не слышал этих слов. Никогда он не забудет своего отца, потому что, родив сына, он услышал все не сказанные отцом слова в своей душе и понял, что вместе с любовью переданы они ему ушедшим, понял, что это отец дал ему вырасти таким, каким его задумал бог.

Теперь, когда мороз заковал его в ледяную кольчугу, он с благодарностью вспоминал о своем детстве, о своей любви. И странная тоска, как облако укрывает вершину горы, укрыла его душу. Но то не была тоска по ушедшему безвозвратно, то была тоска предчувствия. Предчувствия близкого прощания. Он знал, что это не будет прощание с горами, кедрами, мирными долинами; предчувствие другого прощания коснулось его души, и он ощутил, как она растворяется в этих снегах, в этом небе, в этом безграничном страдании, как растворяется эхо, разбиваясь об ущелье. Он не вытирал слез, которые струились тихо, как родник. Когда они смачивали губы, он облизывал их с наслаждением, потому что они утоляли томившую его жажду, жажду тоски. Слезы были сладки как мед, как молозиво, эти райские слезы, они сочились из ран его души, которая расплавилась от дум по единственному сыну Аману. Как хотелось потрогать его волосы, обнять крепко, дать волю отцовской любви. Боже, как счастливы звери, забывающие своих детей, как они сильны! Они не знают, что смертны, они не знают любви. Аспан, тоже хочет прожить глупую бесчувственную жизнь, жизнь, нужную не себе, а другим. И он возликовал, что душа лесного гостя — медведя — перешла в него.

Лежа в снежной колыбели, крепко запеленутый льдом, укачиваемый смертью, младенец Аспан думал о том, какое наследство оставит «гонявшийся всю жизнь за лошадьми». Две ценные вещи: путь, протоптанный на зимовку Алатай, и затвердевший до твердости железа курук. Да и какой казах озабочен собиранием наследства для потомков!

Странен мой народ, беспечно проживают жизнь, а бере-

гут, копят только одно: мудрые слова и свои обычаи. Он, Аспан, даже не покрыл шифером свою жалкую хибару, стоит начаться дождю — вода так и льет с потолка. А чего ждать от бедняка табунщика, с детства тянувшего воз жизни, напрягая жилы. Хорошо, если оставит голоштанному сыну ступу, выстроганную из тополя, да разошедшееся корыто.

Какая убогость! Убогость, рожденная беспечностью. Хоть говори, хоть не говори братьям казахам, сидящим среди леса и ищущим дерево в пустыне, — в ответ напевают «тру-ля-ля». И ты таков. «Ох, мир проходит, а человек — кочующий караван». Да, да, и ты напевал такие песни, и рыскал из аула в аул без цели вместе с земляками. И будете рыскать, пока беда не разразится над каким-нибудь бедолагой вроде меня. Тогда остановите коней, взглянете на меня и поймете, что нечего уповать на бога и поджидать, когда однажды утром он принесет вам счастье в курджуне¹.

Крикливая сорока уселась на молодую ель, заверещала, сообщая что-то торопливо.

«Масла тебе на язык, — прошептал Аспан, — неужели кто-то идет на помощь? Подожди, табунщик, может, еще повезет тебе...»

Сорока была хорошей приметой. Она обещала чей-то приход, появление путника, вернувшегося из дальних странствий, или почетного гостя.

«А может, ожидает смерти табунщика, чтобы поживиться? Придется тебе подождать, вертихвостка, мы еще не попрощались. Еще не кончилось наше время, оно еще не вернулось из далекого «тогда».

Тогда началась война. Ему уже исполнилось восемнадцать, и на телеге повезли его в райцентр.

На войне Аспан не трусил, просто не хватало времени на то, чтоб оглянуться, задуматься и испугаться смертельно. Рядовой пехоты, с трудом корябающий нехитрые письма к матери, не думал о славе, о чинах. Так и прошел всю войну без повышения, без орденов. Правда, медалей дали много. И была странная вещь: словно заговорил кто-то его, неудачника, — ни пуля, ни контузия не тронули его ни разу. Вернулся в аул, не поранив даже ногтя. Вот тут и началось. Вдовы, несшие траур, как с цепи сорвались. Забыли все его сиротские невзгоды, смотрели с ненавистью, будто он, а не Гитлер, вино-

¹ Курджун — переметная сума.

ват был в их горе. И своими молчаливыми злобными взглядами словно накликали на него черную кошку беды.

«Может быть, меня настигло одно из тех давних проклятий», — думал табунщик, глядя в небо.

Ах, глупые, несчастные женщины, разве вы можете знать, что ожидание пули страшнее самой пули?

Однажды он ждал свою пулю три дня. Нужно было переправиться через большую реку. Ночью, вплавь. Многим это показалось опаснее атаки, страшен лик воды в темную ночь. Для многих, но не для табунщика. Выросший на берегах Бухтармы, он без боязни, со словом «бисмиллахи» бросился вплавь. Одним из первых доплыл до того берега и начал копать себе окоп. Он выиграл время, приплыл первым, не обессилев от страха и сопротивления воды. После бешеной Бухтармы эта гладкая спокойная река показалась раем. Парням не повезло, их накрыл град пуль. А потом не повезло ему. Когда утром, после боя, чужой берег стал своим и табунщик присоединился к остаткам своей роты, друзья удивлялись, хлопали по спине: «Ты какой-то заговоренный». А командир сказал: «Ты не переплывал ночью, а притаился и выжил, гад. Пойдешь под трибунал».

Три дня он ждал своей пули. Спасли от нее товарищи: рассказали, как было. Майор-особист похлопал по спине: «Будешь жить тысячу лет, раз в такой переделке уцелел».

Многие хлопали по спине табунщика и после, когда кончилась война. В тот год, когда он вырастил от ста кобыл девяносто пять жеребят, председатель колхоза Хали тоже, хоча, сказал «маладес» и выбил пыль из его спины. В прошлое лето колхоз превратился в совхоз, и новый директор Самойлов тоже хлопал по спине: «Аспанчик — жигит, не подведет!» И он радовался всегда похвале, сиял, будто получил подарок.

Аспан представил себе табунщика, огромного, неловкого, с глупой счастливой ухмылкой до ушей, и улыбнулся себе прошлому. На эту улыбку смотрела до рассвета луна, смотрели утесы, смотрела звезда Сюмбле и, может быть, еще кто-то, кого не дано видеть, но чье имя известно и называется смертными Судьбой.

И чем ближе был рассвет, тем тусклее становилась улыбка и наконец превратилась в гримасу муки.

Он проснулся от невыносимой боли, она выламывала кости, покрыла все тело липким потом.

— О аллах,— простонал он,— измучился ведь я, отпусти!
Его терпеливая душа, никогда не просившая у судьбы пощады, не выдержала муки и взмолилась.

Табунщик начал читать заупокойную. Эта заупокойная была просьбой ко всем, кого обидел в этой жизни, простить его.

«Да что обидел,— прошептал кто-то, — ты и убивал».

«Была война»,— ответил табунщик.

Табунщик вспомнил. Германия. Они ворвались в многоэтажный красивый дом. Он осторожно крадется по комнатам, держа винтовку наперевес. Тишина, только хрустят осколки стекла под его сапогами. И вдруг, как взрыв, стук двери за спиной, гулкое эхо. Он выстрелил, наверное, быстрее, чем успел повернуться на звук.

«Если я вернусь из этого ада,— шептал горячо Аспан,— если я вернусь, я научу всех, кто захочет меня слушать, тишине. Я научу их не говорить жестоких слов, не замышлять зла, я научу их любить свою замечательную землю, свои горы, своих беззащитных зверей, научу любить и жалеть друг друга и никогда не кричать на своего собрата. Потому что от крика сжимается и сохнет душа, потому что крик рождает эхо. Те, кого я убивал на войне, кричали на площадях своих городов, они кричали так громко, что эхо докатилось до моего аула, оно отразилось от гор, вернулось назад уже смертоносным и погубило тех, кто кричал. Меня раздавила не лавина, не вода заковала в ледяные латы, не мороз пытается медленной пыткой. Меня погубило эхо того крика в конторе аула. Да, да, теперь я понял. Тогда в конторе управляющий отделением стукнул кулаком по столу и сказал:

— Ты поедешь на зимовку Алатай.

— Мать тяжело больна, жена только после родов, разрешите остаться в низине, пускай самая тяжелая работа, но чтоб к дому близко.

— Молчать! Это приказ. Если ты против, пиши заявление, освободим от лошадей...

Еще что он сказал? Сказал... много сказал, и все на крике, все с угрозами...

Разве заслужил табунщик эти угрозы, оскорбления, да еще при постороннем человеке — уполномоченном из района.

Ведь он, табунщик, был «маладес», его портрет поместила газета, он никогда не отказывался от работы, никогда не роптал.

— Имей в виду,— сказал управляющий,— здесь свиде-

тель, за все, что случится на Алатае, будешь отвечать ты, ты срываешь зимовку.

— Мы с тобой табунщики, и не надо говорить ложь. Зимовка сорвется не из-за меня. Я ездил позавчера на джайляу, посмотрел и увидел, что запаса сена не хватит и до половины зимы. Косари дали ложные сведения. Жеребята и стригунки подохнут, и ты это знаешь уже сейчас...

— Пиши заявление о выходе из колхоза и сдай партбилет.

— Партийный билет давал не ты, так что не получишь. И пугать меня, как других, выходом из колхоза я не позволю. Я твои номера знаю.

— Какие номера?

— Все знают, что человека, которого ты опасаясь, заставляешь писать два заявления: одно — на прием в колхоз, другое — на увольнение, без даты. Дату ты ставишь сам, когда тебе нужно избавиться от человека. Докладываешь наверх, что уволен по собственному желанию, и выгоняешь из аула. Но меня ты не сможешь выгнать. Не только ты, но и сам бог не заставит меня убрать ступни с родной земли.

— А я заставлю, заставлю, заставлю! — иступленно заорал управляющий.

— Э... нет, не тебе решать мою судьбу, — не испугался Аспан.

— Рабочему нельзя так кричать, аксакал, — сказал внушительно уполномоченный из района. — Но если верно то, что он говорит, — указательным пальцем приподнял очки, глянул строго на управляющего, — мы вышлем комиссию для проверки кормов на Алатае...

— Высылайте, — не дрогнув, ответил тот, — я готов хоть сейчас. Но дорога, ведущая к Алатаю, засыпана камнепадом. Накажите меня тогда, когда зимой скажу: не хватает кормов и начинается падеж. А сейчас не охайвайте зря. Что бы я ни делал, делаю обдуманно.

Тем и закончилась ссора в конторе. Управляющий повел уполномоченного к своему дастархану, комиссия приехать забыла, дома у Аспана остались две обессиленные женщины, а, провожая табунщика на Алатай, управляющий сказал ему в конторе:

— Видно, твои глаза заросли мясом. Кто из твоих предков, схватившись с начальником, добивался своего. Не думаешь о последствиях, мальчик. Если бы ты соображал хоть

малость своей круглой башкой, ты бы догадался, что сводку даю не я, а совхоз, гоняющийся за планом, и район, в свою очередь, дает ложные сведения. Смотри, как бы, ловя правду за хвост, ты не упал в пропасть!

Весь долгий путь к Алатаю табунщик предавался грустным размышлениям, корил себя, оправдывал и снова корил. Он думал:

«Глупая твоя голова, Аспан. Когда же поймешь, что, стоя у подножья, нельзя кричать на тех, кто управляет тобой с вершины? Только они могут кричать. Недаром учит пословица: прижавший свой зад будет богатым. Но ты не хочешь быть богатым, ты хочешь делать честное свое дело. Тогда терпи. Но я не хочу терпеть, молчать и видеть, как негодяй уничтожает труд многих людей. Ведь все вокруг знают, что он настоящий змей, умеющий выдоить хитростью из аульчан свою выгоду. Но все молчат. Когда от него приходит беда и спрашиваешь: «Кто?» — они смотрят вниз и бормочут: «Ведь ты сам знаешь, чего спрашиваешь, знаешь, что этот». А он кричит, всегда кричит, чтобы ором своим сбить с толку, задурить мозги. Крик его заполняет окрестности эхом, преследует как собака. Ведь когда провел через Чертов мост последнего жеребенка и сел на коня, раздался крик. Мощным эхом он прокатился по горам, и висевшие в полудреме снега сорвались с утесов и склонов, возник Великий Обвал и унес его вместе с азбаном.

Но откуда же раздался этот заполнивший весь мир крик? И кто был его хозяином? Да, да, кто-то подъезжал с той стороны. Он и кричал. Вот она, разгадка. Глупый круглоголовый табунщик, теперь ты никогда не услышишь ни крика, ни эха. Избавился наконец. Освободился».

Он погребен в снегах. Тишина. Она наконец подарена ему, чтобы он мог думать о том, кем был. Об Аспане-табунщике.

Люди познали природу, умеют прислушиваться к недрам земли, исследуют ее поверхность. Отчего же они не могут как следует познать самих себя? Если есть в мире что-то неразгаданное, так это человек. Так ли ты жил, табунщик? Много ли сделал другим добра? Много ли зла?

Бездонное небо склонилось над Аспаном. Луна не взошла, и ущелье быстро окуталось темнотой. Мощные ели и кедры стояли неподвижно, словно в ожидании какого-то ответа.

«Что я могу вам сказать? — прошептал Аспан. — Я могу сказать, что мороз пойдет на убыль, конец трескучей зимы,

похоже, близок, и весна в этом году наступит рано. Если моя крохотная душа уцелеет, то вместе с вами я увижу новую весну. Даже самая ранняя весна наступает только в апреле. А снег на вершинах гор тает в мае. Если бы вы знали, как я тоскую по этой ленивой алтайской весне. Всегда тосковал. Если бы вы знали, как я тоскую по дому! Где же звезда Камбар? Все уже на месте, вот невозмутимая Полярная звезда, вот поднимаются Стожары. А звезды Камбар не видно. Прячется где-то на востоке. О том, что эта зима будет жестокой, я узнал еще летом, когда Камбар и Луна противостояли. Теперь эта Камбар наделала делов и исчезла бесследно. Видно, стыдно ей меня за мои мучения. Но вот та сверкающая пламенем Сюмбле — здесь. В мире небес табунщик любил только ее. И хотя не было от нее помощи, всегда смотрела жалеючи, как и сейчас. Наверное, тоже прощается.

Ну что ж, прощай, Табунщик!

Хош¹, табунщик из совхоза «Енбек»! Теперь никогда не сесть тебе на коня, не взять в руки курук. Скольких иноходцев, скольких прыгающих на луну аргамаков оседлал ты! А теперь умираешь в снегах, забытый всеми. Может, нужно было построить жизнь по-другому? Поступить рабочим на шахту в Зырянске, как советовал отец перед смертью? «Если ты сильный, не повторяй мою жизнь. Волчонок следует за волками не от ума, а по глупой привычке страха. Если ты сильный, найди свою дорогу. Не поднимая глаз от земли, я рыскал, подобно пасущемуся скоту, и благодарил жизнь за это. Ты видел, чтобы вскормленная с руки птица улетела далеко? Пока руки-ноги целы, броди по земле, разве под небом не просторно? Разве на лбу нашего рода написана ползучая жизнь?»

Ах, Аспан был слишком мал, чтобы понять смысл этих слов, вырвавшихся в минуту горечи. Но он не выполнил завета не потому, что не понял печальных слов, а потому, что не мог уйти от места, где была перевязана его пуповина. Не мог уйти, будто стреноженный конь, не от бесхарактерности или боязни, не от безволия, — просто не захотел променять родной очаг на сытые места, оставлять другим привычную, данную судьбой работу.

«Зачем же ты жалеешь сейчас, что стал табунщиком? Зачем вспомнил о давних, казалось, забытых словах отца?»

Это всего лишь мимолетная слабость перед исчезновением навеки.

¹ Хош — прощай.

«Мышь, родившаяся на мельнице, не боится ее шума, — сказал Аспан, — ведь, едва раскрыв глаза, ты увидел косяки лошадей, отца на коне в вечной погоне за этими косяками. Пил кумыс, ел казы-карта, жал-жаз¹, до сих пор не брал в рот куска хлеба, только лепешку, не ездил дальше райцентра. Что увидел в гнезде, то и поймал. Что позорного в том, что повторил жизнь отца!

Прощай, Табунщик!

Всю свою долгую ли, короткую ли жизнь ты не рыскал ветром, надев набекрень шапку, предаваясь безумному веселью. Ты не замутил родник своей судьбы и хотя много раз раскалывалась от боли голова, ныли от усталости ноги, не проклинал никого, не рвался ухватить чужое. Ты думал: «В этом мире и без меня достаточно стремящихся к тому, на что неспособны». Тебе — однолошадному табунщику были чужды привычки тех, кто, сидя без куска лепешки, выбирает яства, кто, плетясь пешком, выбирает коня, тех, кто не стыдится своего жалкого характера и с ненавистью смотрят на сытую похлебку других. Ты прожил жизнь, не зная сто-на и жалоб. Ты всю жизнь считал, что счастье и богатство даются человеку от рождения, подарок аллаха, написанный на роду. Ты говорил: «Чем иметь силу величиной с гору, лучше везение с палец». У тебя была сила и не было везения.

Наживая кровавые мозоли, ты тянул телегу своей судьбы, и вся твоя огромная сила уходила на эту простую и неимоверно тяжелую работу. Поэтому, если есть рай, тебе найдется в нем место.

Ты никогда и ни в чем не хотел мириться с теми, чья несправедливость попирает слабых, кто плюет на честь и совесть других.

Но как это было трудно! Твоя прямота подминала тебя же, твоя честность ложилась петлей на твою же шею. Ты боролся с лукавыми, лживыми, воюющими тайно. Сколько раз ты думал, что на войне было легче: там кровный враг стоял перед тобой, и в твоих руках было оружие.

Но ты победил их, Табунщик, поверь мне!

Если время — вода, то простые люди, подобные тебе, остаются вечно неизменными, как камни на дне реки.

А разве мы с тобой белы как молоко, чисты как вода? Разве безгрешны? Кто знает, за какие грехи послана тебе эта

¹ К а з ы - к а р т а, ж а л - ж а з — деликатесы из конины.

мучительная смерть? Но какими бы ни были твои грехи — большими или малыми, — постарайся умереть достойно, без стога, без крика. Крик не помогает ничему, даже не облегчает смерти.

О боже! Тот крик. Ведь голос, свалившийся с гор снежным обвалом, был так похож на надтреснутый голос управляющего... Он стучал в конторе по столу и кричал, кричал... Неужели это он поехал в горы в зимнюю стужу, чтобы погубить меня?

Я не дам себя погубить. И даже если мне придется расстаться с тем, что отличает меня от ползающих по земле, с моими ногами, я не дам погубить себя. Я человек. Я прощусь с тобой навсегда, бессловесный табунщик, единожды восставший и заплативший за это жизнью. Я прощусь, и это будет нашей с тобой тайной. Но я никогда не забуду тебя, и если останусь жив, я погребу тебя, как подобает быть погребенным жигиту.

Ах, как тепла эта ночь!

Ни один человек на земле не может сказать, насколько хватит у меня сил. Ни один человек не может сказать, какая разница между смертью ученого с великим именем или честолюбивого политика, стремящегося к власти над миром, и смертью простого табунщика. Если гибель смертных так же похожа, как их рождение, то разнит их только жизнь. В ней кроется ответ на все вопросы. Его не найти на небе. Бедный отец, мечтал взлететь на небо, там надеялся найти и искупление грехов, и вечное блаженство. Он верил в это, иначе не назвал бы меня Аспаном.

Нет, и искупление, и счастье только здесь, на земле. Здесь человек должен утверждать справедливость. И хоть бей меня камнем, мой загнавший меня в капкан враг, хоть натрави всех дьяволов холода и боли, до тех пор, пока в этом мире есть хоть глоток воды для меня, я не уйду из него».

Аспан впервые понял, что поддаться смерти вот так, в безвестности и муках, когда еще не кончились его еда-питье, его хлеб-соль, — это поддаться своему ненавистному врагу. Злу. Ему захотелось встать и крикнуть, чтобы криком известить свою родину о том, что он жив. И, может быть, эхо донесет эту весть в аул?

Но сил не было. Аспан раскрывал беззвучно рот, пытался поднять голову, но ни одна снежинка не дрогнула на его ресницах.

— Ух, боже мой, как я устал! — неимоверным усилием выдохнул он и заставил себя открыть глаза.

Небо было совсем близким, одно небольшое усилие — и он может достать его.

Аспан смотрел на небо умоляюще и чуть качал головой, словно упрекая создателя за то, что вместо крыльев дал длиннющие руки.

«Ох, полететь бы сейчас... на земле есть умеющие летать, а ты создан бескрылым... А зачем тебе улетать, Аспан? Глупо искать землю, кроме этой. Ты еще не понял ее цену...»

Да, он, Аспан, должен остаться на этой земле, чтобы терпеть, любить, растить сына. И он отпускает Табунщика на небо, потому что смерть освободила его от всех грехов... Аспан не хочет никого винить, не обвинит и губительно-го эха, он позовет эхо проводить Табунщика в последний путь.

Прощай, Табунщик!

Аспан собрал все свои силы и сел. Завернутые в белый саван горы окружали его, могучие деревья поникли белыми чалмами, словно старики, собравшиеся на отпевание.

— Проща-а-ай! — протяжно крикнул Аспан. — Проща-а-ай!

— А-а-а, — ответили эхом горы.

— А-а-а, — ответили эхом ущелья.

— Прощай!

По этому крику нашли Аспана те, кто вышел его искать. Когда занесли в зимовье, ударил чудовищный запах. Сняли шубу, жилет из кожи, увидели подгнившее бельё.

— Человек сильнее самой выносливой собаки, — сказал старый пастух, хозяин зимовья. — Надо раздеть его догола, натереть снегом, потом жиром барсука. Он выживет.

Табунщиков замучили сапоги Аспана, никак не снять, пришлось располосовать ножом заледеневшую кожу. Они отшатнулись, увидев его ноги.

— Сколько дней он пролежал под снегом? — спросил пастух.

— Не знаем.

— Я никогда не видел такого крепкого здоровья, он должен выжить.

— Пусть исполнятся твои слова.

— Смотрите, он плачет.

— Нет, он уже не плачет, это растаяли прежние слезы, что льдом застыли в его глазах. Анырмай, ребенок его так мал, так мал, — повторял без конца старик, растирая огромное, невыносимо смердящее, безжизненное тело.

Перед глазами синяя пелена, в ней копошатся полчища черных муравьев. Иногда они заползают в рот, забивают ноздри, невозможно дышать. Нестерпимая мука, он не может избавиться от нее, неведомая сила распластала его, прижала к чему-то жаркому, липкому, влажному. Потом пелена спала. Он открыл глаза, увидел Камку и прижавшегося к ней испуганного сына. Какой-то человек в белом халате, скрестив на груди руки, пристально смотрит на него. Шевелит губами.

— Где у вас болит? — наконец доносится далекое эхо. — Где у вас болит, где у вас болит...

— Конечности ног ноют нестерпимо, — отвечает Аспан и переводит на сына взгляд. — Подойди, мой жеребенок, — зовет он хрипло. Голос срывается. — Подойди же, мой единственный.

У мальчика от ужаса расширились глаза, он намертво вцепился в мать, и нет такой силы, чтобы оторвать его.

«Не узнал меня. Лицо, наверное, почернело, обморожено», — думает Аспан, смотрит вопросительно на врача, ожидая слов ободрения и утешения.

И врач говорит их:

— Будете жить сто лет. — Потом он почему-то кивает Камке на дверь, прося выйти.

Камка уходит с мальчиком, врач — за ними. Напротив Аспана окно, за ним сверкающая белизна большого двора. Аспан видит лошадь, запряженную в розвальни, и узнает ее, хотя вся она в инее, на морде сосульки. Эта лошадка знакомая, она из родного аула. Значит, он в районной больнице, и Камка приехала на этих розвальнях.

Возвращается Камка, подталкивая вперед мальчика.

— Подойди к отцу, — приказывает твердо.

Как обнять сына, как прижать к себе, если вместо рук две забинтованные дубины? Мальчишка приник к нему и затих, словно испуганный козленок.

Поверх его головы Аспан смотрит в окно, и плывут вместе со слезами белый двор, заиндевшая лошадка, голубой дым, поднимающийся из трубы маленького дома на другом конце двора.

Ах, никогда раньше он не замечал, что вкус слез сладок как мед, душист как кумыс. Никогда не видел, что мир так прекрасен, не слышал, как красив голос Камки. И все это оставил ему ушедший навсегда табунщик. Но о том знают только они двое, и когда-нибудь узнает мальчик, приникший

к его груди. Узнает он и то, что ни звери, ни солнце, ни холод, ни земля не хотят зла человеку, и опасаться нужно только дурных людей.

— Бог сберег, и ты остался жив, — донесся голос Камки, — а инвалидность — ну что ж, привыкнешь, приладишься, и заживем по-прежнему.

Аспан не понял ее слов, нестерпимо ныли ноги.

— Камка, ау, Камка, — позвал он по старинке, — хватит причитать, нам с лица не воду пить, я ведь никогда не был красавцем. Потри лучше пальцы ног.

Жена не двинулась с места, смотрела как-то дико.

«Что это с ней?! Боится, что ли, или врачи не позволяют? И почему так странно расположилась на кровати, уселась прямо мне на ноги?»

Он пошевелил ногами, Камка не шелохнулась.

«Бред какой-то, бесчувственная женщина... или горе лишило ее рассудка?»

Он приподнялся на подушках, сын отпрянул и замер, глядя так же дико.

«Да что ж это с ними?»

— Встань, Камка. Ногам больно.

Камка вскочила. Странно: похоже, что сидела на пустом месте, под одеялом ничего нет.

— Камка, ну, Камка, подними одеяло.

Камка застыла как в столбняке, но подбородок ее дрожал. И вдруг зарыдала, словно на похоронах; мальчишка тоже стал тоненько подвывать.

Вошел врач.

— Мы же договорились, что вы будете держать себя в руках, — недовольно сказал он, — а вы все испортили.

— А что у него осталось неиспорченного, — заголосила Камка, — посмотрите на него!

Врач взял ее за плечо и вывел из палаты.

Аспан смотрел на складки одеяла там, где полагалось быть ногам, и вдруг подумал, что оно похоже на желудок разрезанной овцы.

— У нас не было другого выхода, — жестко сказал врач, вернувшись в палату, — множественные переломы и обморожение. Речь шла о вашей жизни.

— О моей? — спросил удивленно Аспан.

— Да, да, о вашей, о чьей же еще, — насторожился врач и заглянул в глаза. — Вы помните, что случилось с вами?

— Помню.

— Почему же вы так удивились, когда я сказал, что речь шла о вашей жизни?

— Да, да, правильно... осталась моя жизнь. И что же мне теперь с ней делать?

— Вы мужчина, жигит. Сколько мужчин вернулись с войны инвалидами...

— Про войну мне не надо рассказывать, видел.

— Значит, вы счастливчик, два раза избежали смерти.

— Скажите лучше: два раза видел ее.

— Можно и так. Но уверяю вас, жизнь великий лекарь, все постепенно забудется.

— Вы видели человека, забывшего, что у него нет ног?

— Я сделал все, что было возможно...

— Ладно, — Аспан дотронулся забинтованной рукой до его плеча, — видно, не избежишь петли судьбы. Но у меня есть одна просьба.

— Исполню любую.

— Только не удивляйся... Как бы сказать...

— Прямо.

— Прямо трудно. Ты не поймешь меня... жаль, что был без памяти, а то бы попросил оставить для меня то, что ты забрал.

Врач вздрогнул и снова долго и внимательно поглядел в черные и мрачные, как безлунная ночь, глаза Аспан.

— Я в рассудке, — ответил на этот взгляд Аспан, — и я бы хотел похоронить свое, только не спрашивай меня — за чем, потому что...

— Я понял, — перебил врач, — да, да, как тот батыр из старой легенды... но... но и ты не спрашивай меня ни о чем, когда получишь свой курджун.

— Я не спрошу, — устало сказал Аспан.

Врач вышел.

Аспан посмотрел в окно: лошадки с розвальнями не было, — значит, Камка с мальчиком уехали.

«Вот и остался ты один, Аспан. Один на один со всем, что случилось... Созданный аргамаком, осужден теперь ползать черепахой... Скажи, нравится ли тебе это, нравится ли, что выжил, заплатив такую цену? Ты выжил, так радуйся, хохочи, пой песни, что же ты не поешь, не смеешься... Ведь ты полон сил...»

Замотанными руками он ухватил прутья в изголовье кровати и согнул их; сквозь бинты проступила кровь, но он, не чувствуя боли, гнул и гнул железные прутья.

— Что вы делаете... — прошептал рядом кто-то, — перестаньте, перестаньте, пожалуйста.

Рыча, Аспан боролся с железом, словно в смертельной схватке со зверем.

Девушка-медсестра обхватила его шею, тянула слабыми руками:

— Перестаньте, перестаньте.

— Уходи отсюда! — прорычал Аспан.

— Нужно беречь силы, самое тяжелое впереди. Скрутите себя, как вы скручиваете эти прутья, вы же мужчина.

Она ушла.

«Что она сказала? Что самое тяжелое впереди? Что может быть хуже того, что уже случилось? Что она сказала?»

— Аналайын! — крикнул он, обессиленно упав на подушку. — Аналайын!

Девушка вошла в палату, присела на край постели.

— Повторите, что вы сказали.

— Вы знаете, — девушка смотрела на него огромными глазами, — не было в больнице человека, который не восхищался бы вашим мужеством. Вы совершили подвиг. Если бы это было в моей власти, я бы присвоила вам звание Героя.

— Спасибо, зеркальце мое, но подвиг совершил другой человек, его уже нет, а мне предстоит жить уродом.

— Я не понимаю вас, — чистый лоб девушки сморщился страдальчески, — объясните.

«Боже, какая она милая, где же я видел такое же нежное, трогательное существо... е-е-е на джайляу... он самый, козленок, Елик... Удивительно, чудесное в природе не умирает, оно передается другому существу, чтобы возродиться вновь».

— Не бойся, душа моя, я просто хотел сказать, что все мои силы ушли на то, чтоб выжить, больше ничего не осталось.

— Понимаю, — вздохнула девушка, — но если б вы знали, как вы нужны теперь людям! Вы должны научить их мужеству. Это странно, но лицо ваше мне знакомо. Я дежурила в операционной, когда... — Она запнулась.

— Когда отрезали мои ноги?

— Да... У меня лились слезы. Вы мне были как родной, мне казалось, что это вас в детстве, балуясь, я обнимала за шею, что вы можете защитить от зла и несправедливости. Ах, я много думала о вас! Родятся ли теперь такие жигиты? Где они? Девушкам моего поколения кажется, что они родились

или слишком поздно, или слишком рано.— Она вытерла слезы кусочком марли, который достала из кармана халата, по-детски пмыгнула носом.— Простите, что я делюсь своими бедами. Отдыхайте.— Она наклонилась к нему и, обдав ароматом свежего сена, парного молока и еще чем-то пезнакомым, волнуяще пряным, поцеловала в лоб.— Отдыхайте,— тихонько вышла из палаты.

«Истинное чудо! Какие прекрасные глаза, какой запах! Пряный, словно цветок горного мака, как напомнил он о счастье, о молодости! Оказывается, чувства мои еще не умерли».

Аспан закрыл глаза. Во сне к нему прилетела птица с лицом девушки из Сармоньке, она села на ветвь кедра, он хотел подойти к ней ближе, она взлетела, тяжело взмахнув крыльями, на соседнее дерево. Он снова попытался приблизиться, ему очень хотелось дотронуться до нее, она всё отлетала и отлетала; и вдруг он увидел, что вошел в мертвый лес, и ужас охватил его. Нестерпимо болели ноги; он подумал, что у него нет сил вернуться назад, а сухостой окружал его, подступал со всех сторон. Птица исчезла. Он бросился напролом, обдирая лицо, руки о голые ветви деревьев. Впереди что-то светлело. Наверное, горное озеро. Там он отдохнет, вымоет усталые, саднящие ранами ноги.

Озеро было неприветливо свинцовым, оно вдруг стало приближаться, раздвигая свои берега, грозя вот-вот поглотить холодными водами. Аспан издал стон и проснулся. Недоуменно обвел глазами палату и вспомнил все сразу...

— У меня нет ног,— громко и спокойно сказал он.

...Когда минули полные печали и тоски три месяца, Аспана выписали из больницы. Провожали до телеги все врачи, вернее — санитары несли его на руках, остальные шли рядом, говорили бодрые слова, похлопывали по плечу. Молча и незаметно, будто между прочим, хирург положил рядом что-то в курджуне. Их тайну.

Стояла светлая тихая весна, похожая на скромную невесту.

— «Тот, кто не падал с коня и не ударялся о землю, тот не станет смелым жигитом». Это мудрые слова,— тихо сказал на прощанье хирург.

Трясаясь в телеге, Аспан жадно оглядывался вокруг. Как прекрасна была его земля! Почему он не замечал этого раньше, носясь по ней на коне?

Камка настегивала лошадку, сидела прямо и не обернулась ни разу. Странная женщина. Аспан не знал, что слезы душат жену и тоска разрывает ей сердце.

Встречные путники здоровались преувеличенно вежливо. Глупцы, ему не нужна их жалость, они не знают, как он силен теперь!

Но когда показались дымы родного аула, запершило в горле. Аспан откашлялся и сказал в спину Камке:

— Отвезла бы меня лучше в дом инвалидов.

Камка молчала.

— Отвези. Это же рядом. Буду отвлекать себя простой работой. Резать из дерева ложки и игрушки для детей. У нас дома, кажется, еще сохранились ложки, сделанные инвалидами, хорошие ложки.

Камка молчала.

— Какой бабе интересно обнимать гнилой пенёк?

Камка молчала, только чаще и сильнее хлестала бичом коня. Телега, трясаясь на камнях, мотала седоков из стороны в сторону.

— В чем вина бедной лошади, что так бьешь ее? Лучше ударь меня.

Камка молчала. Откуда у этой обычно слезливой, несдержанной женщины теперь взялась сила?

— Оставь меня здесь! — крикнул Аспан. — Слышишь, я не хочу домой!

Камка натянула вожжи, остановила лошадь. Круто обернулась: волосы взлохмачены ветром, лицо горит, веки опухшие.

— Эй, Аспан, — сказала спокойно, — ты не пили мою и без того измученную душу. Не ты один стал калекой, беда постигла нас обоих. И если до сих пор терпел ты, то дальше терпеть должна я. Умрешь — похороню честь по чести, не умрешь — будешь жить со мной, пока я не умру. Так что не кипятись, не трави меня, словно это я свалила на тебя лавину. Раз послал бог на голову беду, возьми беду на плечи. У меня хватит сил выдержать и издевательства судьбы, и твою немощь. Только ты не мешай.

Отвернулась, ударила лошадь. Качнувшись назад, Аспан еле сумел удержаться, ухватившись за края телеги.

Слова Камки, ее твердость поразили его. Та ли это бессловесная тень, которую обижал всю жизнь? Не жалел, не ласкал, все не мог забыть до конца другую — из Сармоньке.

И она терпела, ходила поникшая, ни в чем не перечала. Сейчас он увидел другую женщину, может и не любящую, не забывшую обиды, но настоящего друга, увидел огонь в глазах, увидел силу характера, силу, готовую выдержать испытания жизни, и его крики и просьбы показались жалким криком.

лянием, шутовством. Он вспомнил слова красивой медсестры. «Терпите, ага. Настоящий подвиг — это когда победишь себя», — сказала она.

Камка победила себя, победила старую боль, обиду, ревность, оскорбленное женское самолюбие. Очередь за ним. Он должен стать по-настоящему другим человеком. Ведь там, в ледяном безмолвии, он пережил и свою смерть, и свое второе рождение. И впереди жизнь, он ее начал, вот только выполнить долг перед Табунщиком надо.

Возле леса, совсем близко от аула, он окликнул жену:

— Камка, ау, Камка, придержи немного!

— Ну что еще?

— Ты оставь меня здесь, а сама съезди за лопатой.

— Зачем? — спросила недовольно. — Что ты забыл на кладбище?

— Я хочу похоронить принадлежавшее мне, — тихо сказал Аспан.

— А-а-а... да, совсем забыла. Доктор ведь говорил... — Она засуетилась, стараясь избежать его взгляда, соскочила с телеги, подставила плечо. — Сойди осторожно, обними меня. Осторожно, вот так... Тебе не больно?

Как ребенок, он повис на спине жены, и она отнесла его к маленьким холмикам. Усадила бережно на нежную траву.

— Жди. — Вскочила на передок телеги и, нахлестывая лошадь, понеслась в аул.

Когда впервые коснулся телом земли, всего передернуло: «Точно — упал с коня, недаром хирург пословицу подходящую припомнил. И как холодна земля!»

Подтянул к себе курджун и пополз, волоча его за собой. Пока добрался до отцовской могилы, пот катил градом, заливая глаза.

Аспан провел ладонью по лицу, почтил память родного. Ладонь стала мокрой. Сорвал молодую травинку, положил в рот, пожевал еще безвкусный нежный побег.

Со стороны аула слышалось тарахтение телеги, покатилося по дороге облачко пыли.

«Ах, моя бедняжка, летит как птица», — впервые с нежностью и благодарностью подумал он о жене. Камка правила стоя, ветер трепал за спиной концы платка, и казалось, что белые крылья несут ее над землей.

Аспан не мог оторвать глаз от статной, устремленной вперед крылатой женщины — своей жены.

— Ты что так смотришь? — спросила она, торопливо поправляя растрепавшиеся косы. — Весь аул ждет тебя.

Аспан молчал.

— Ну, где копать?

— Копай возле отца и не бери слишком близко... Пусть останется и для меня место.

— Говоришь что попало.

— А ты научилась разговаривать дерзко.

Женщина оперлась подбородком на черенок лопаты, улыбнулась.

— Это я нарочно так, чтобы не разреветься.

Она отбросила прядь со лба, подоткнула высоко юбку и начала копать.

Ее стройные ноги поразили Аспана гладкостью и белизной; ее высокий стан гнулся легко, и черные волнистые волосы, рассыпавшись, то заслоняли лицо, то, ложась на спину тяжелой глянцевой волной, открывали изумленному взгляду Аспана смуглые, пылающие румянцем щеки, блестящие угольно-черные глаза.

Как же он не замечал двадцать лет, что лежащая в его объятиях женщина так хороша! Женившись неожиданно и постоянно гоняясь за лошадьми, он был слеп к ней, живущей рядом. Он тосковал по девушке с той стороны, не забывал первую любовь и этим ранил душу жены. Может, поэтому после рождения первенца Камка ходила будто незамужняя. Причины они не понимали и не спрашивали друг друга: почему?

Аспан был уверен, что, потеряв ноги, он потерял и свою мужскую силу, и это было, может, главным мучением его бессонных ночей в больнице.

Но сейчас неожиданно он почувствовал то, что чувствовал давно с девушкой из Сармоньке. Он дрожал и задыхался, будто приподнимал одеяло любимой.

— Ой, что с тобой? — испуганно спросила Камка, вонзив лопату в землю. — У тебя, наверное, жар.

— Да, жар. Подойди ко мне, душа моя, и поцелуй меня в лоб.

Камка опустилась перед ним на колени, и Аспан обнял ее мощными руками и прижал к себе так крепко, что она застонала.

Навсегда запомнил Аспан запах влажной вскопанной земли, и крик жаворонка в вышине, и в ответ ему счастливый крик жены, и бледное небо в легких полупрозрачных перышках облаков, когда, положив голову на колени Камки, он лежал обессиленный, а она гладила его лицо, волосы, трогала

пальцами губы; ее прохладные слезы капали как светлый благодатный дождь.

Они вместе закопали курджун, насыпали холм и воткнули курук.

...В снежном феврале Камка родила девочку, а через год, тоже в феврале, еще одну. Росли они тихими и светлыми, как майский день. Младшая, Малика, уже девочкой поражала необычайной красотой и какой-то нездешней странностью речей и поступков. Ночи напролет жгла лампу, сидя над книгами, а однажды Камка показала Аспану листочки, исписанные столбцами строчек. И каждая строчка оканчивалась похожими словами. Аспан сказал, что это называется «стихи», и не велел жене трогать листочки. «У девушек это бывает, но потом проходит», — объяснил он испуганной жене.

Два путника — управляющий отделением совхоза и зоотехник двигаются по белой снежной долине. Они спешат к плененным этими же снегами табунщикам Алатая.

Кони измучились до остервенения. Белый конь Амана время от времени, будто вспомнив, что он лихой жеребец, нелепо прыгает и тотчас проваливается в снег. Мудрый азбан зоотехника мощно таранит грудью бесконечную преграду, но и он в мыле.

Все же, судя по борозде, пересекающей долину, всадники прошли довольно большое расстояние. После полудня укрывавшие небо серые тучи разошлись, и появилось солнце. От его лучей снега засверкали, заиграли миллионами зеркальных осколков.

Но двое мужчин лишь надвинули ниже треухи, а белый жеребец, всхрапнув, вдруг шарахнулся в сторону и затих, тяжело дыша.

— Когда только исчезнет классовое различие, — пошутил зоотехник, — на сильного жеребца садится управляющий, вешает на него ружье, а я должен тащить лыжи и плестись за ним.

— Если он тебе так нравится, давай меняться, — мрачно ответил Аман, — меня устроит и твой азбан.

— Вы хотите сказать, что жигит украшает и стригунка, если садится на него?

— Как мне положиться на тебя, если ты все время меня подкусываешь! — обиделся всерьез Аман.

— В таком нелегком пути шутка лишь помогает. Но если мои слова не нравятся, я буду держать их при себе.

- Правильно сделаешь, — буркнул Аман.
- Если же говорить серьезно, то, думаю, нам полагается отдых. И им — тоже, — Эркин кивнул на коней. — Мой азбан изнемог. Даже следовать за вами становится все труднее.
- Пожалуй, ты прав.
- Когда спешились, сразу исчезли в узком снежном тоннеле. Из кармана полушубка Эркин вытащил несколько шариков курта.
- Вот и обед, ага.
- Истекая слюной, они молча жевали курт. Кони застыли, словно оглушенные.
- До Алатая на конях не дотянем. Мой жеребец, кажется, сдался.
- А что, если оставить коней здесь и махнуть на лыжах?
- Это не выход.
- Солнце, поднимаясь над белоголовыми горами на высоту аркана, замерло, чуть медля, перед тем как соскользнуть вниз и спрятаться снова за те же вершины.
- Вокруг мертвая тишина и холод.
- Мы похожи на двух мышей в мешке с мукой, — засмеялся Эркин, — но, в отличие от муки, снегом не наешься.
- Солнце вот-вот сядет, а мы даже не дошли до Чертова моста, где мой отец попал в лавину.
- В какой это стороне? — спросил Эркин.
- Если поехать напрямик, то не очень далеко.
- Но ведь нам нужен бетонный! Чертов мост очень опасен.
- Нужен-то нужен, — неопределенно протянул Аман, — но он в два раза дальше.
- Я до сих пор так и не видел этот знаменитый Чертов мост, хотя уже два года в ваших краях.
- Зачем тебе его видеть, ничего хорошего в нем нет, — вздохнул Аман.
- Но о нем ходит столько рассказов, и все страшные.
- Мой отец сказал как-то: «Перед каждым человеком хоть раз в жизни встает Чертов мост. И его надо перейти. Только люди без страха достигнут другого берега невредимыми».
- Почему?
- Он говорил, что будто у каждого человека на одном плече сидит дьявол, а на другом — ангел. И если в этом обманчивом мире кто-то совершает грехи, то дьявол, сидящий на левом плече, в конце концов осиливает ангела, сидящего на правом. И тогда от такого человека происходят беды.

— А вы сами верите этому? — спросил Эркин.

Он путал «ты» и «вы», потому что иногда Аман казался своим парнем, ведь они почти ровесники, а иногда — умудренным аксакалом.

Вот и сейчас, глядя на его суровое застывшее лицо, Эркин подумал: несмотря на то что родились они, наверное, в одном и том же году, Аман словно обладает каким-то недоступным ему, Эркину, знанием жизни и людей.

Аман закурил.

— Ты спросил, верю ли я? Не знаю. То есть я думаю, что отец иносказательно говорил о добре и зле. О том, что нельзя поддаваться злу, если ему поддаться — оно съест человека. Отец уверен, что так же, как извечно существование мира, так же извечны добро и зло.

— Извечны? — задумчиво спросил Эркин и испытующе посмотрел на Амана.

Уже два года он работает рядом с этим могучим человеком и ни разу не видел, чтобы он злился или кричал. Ни в чем не изменяет своему спокойному нраву. Похоже, что неколебимость — качество их рода. Такова и Малика... Как узнать ее душу, как понять... Или вот как понять вчерашний взрыв Амана в зимовке табунщиков? И, словно отвечая на его мысли, Аман сказал медленно:

— Я ночью был несдержан и виню себя... Отец говорит мне часто: «Сын, никогда не повышай голоса, криком добьешься немногого. Я — жертва крика, и пусть на мне оборвется эта цепь». Я грызу себя за то, что нарушил наставление отца.

— Вас чем-то раздражал один из табунщиков. Я думаю, он делал это нарочно, и именно поэтому вы должны были, извините, держать себя крепко в узде. Это трудно, может, труднее всего побороть в себе ненависть к другому человеку.

— Их два брата, и неизвестно, какой из них хуже.

— Я пока что чужой в вашем ауле, и многое мне непонятно. Но, как я слышал, когда Аспан-ага проезжал Чертов мост, кто-то нарочно крикнул и сотворил снежный обвал. Кто это был, вы знаете?

— Я могу только предполагать.

Что-то дрогнуло в лице Амана, и Эркин понял, что затеял слишком серьезный разговор. Но они были одни среди белого безмолвия, впереди их ждал путь, полный испытаний. Зоотехник любил сестру этого человека и не мог ее понять. В тех краях, откуда он пришел, жигиты говорили начистоту, поэтому он сказал:

— Все же мне кажется, что истине нужно смотреть в глаза. Неужели и в вас еще живет страх? Неужели боитесь смерти? Но, поверьте, нельзя оставлять закрытым казан на огне. Тем более что из него идет дурной запах. Молодые чувствуют этот запах.

— Молодые должны пройти свой путь.

— Но они ведь не начинают дорогу, они продолжают ту, которой шли старшие.

— Люди не меняются тысячелетиями.

— Нет, поколение сменяет новое, другое поколение.

— В чем — другое?

— Они опираются на разум, а не на крик. Вот, к примеру, случай с вашим отцом. Кому-то, кто дал ложную сводку, было выгодно погубить несчастных голодных жеребят. Стихия для этого — самый подходящий предлог, а то, что пострадал ваш отец, — так что случайность, говорили они. Но в мире нет ничего случайного, потому что крик порождает эхо.

— Ох, братишка, даже собака не знает, откуда эхо и чей крик.

— А вот ваш отец думает по-другому, иначе зачем бы он похоронил что-то в могиле?

— Да, здесь вы правы. Что он похоронил в могиле, не знает никто, и это не имеет значения. Имеет значение, для чего отец почитает эту могилу.

— Нельзя забывать мертвых — в этом главная правота вашего отца. Только мертвые не оставляют следа на земле, их след — наша память.

— Тогда ты все понял, братишка. Ну что ж, пора в путь.

— Погодите, давайте подумаем.

— Думать некогда, надо двигаться вперед.

— Наши кони со вчерашнего дня не кормлены. Они изнемогли. Предлагаю такой вариант: мы идем на лыжах, а их ведем на поводу.

— Ну что ж, мысль правильная.

Два человека встали и прямо взглянули друг другу в глаза. Маленькая остановка в пути изменила многое. То, что было сказано, то, что было понято, сократив их путь друг к другу, словно сократило и другой — невероятно тяжелый, грозный бедами — путь к зимовке Алатай.

Когда развязали лыжи, Эркин засмеялся:

— Вот выдумщик Альке! Зачем-то продырявил носы у лыж и привязал бечевки.

— Это он правильно сделал — взнуздal лыжи. Если за-

роются в снег, только дерни — и пошел дальше. Смотри, вот так, — Аман пошел вперед, ведя на поводу белого жеребца.

— Чудно как! — Эркин неловко заторопился вслед. — У нас в пустыне и не видали таких штук. До чего ж велика наша страна. Вот живем в одной республике, а ты, наверное, не умеешь ездить на верблюдах, я же не видал снега, еле ковыляю на лыжах.

Короткий день зимы уходил за горы. Дыхание оседало на лицах, на меховой опушке шапок белым инеем, холодный воздух обжигал легкие, но путники шли вперед. Первыми сдались кони. Аман даже хлестнул пару раз белого жеребца. Не выдавшее такого позора благородное животное бросилось вперед, подминая снег. Аман еле успевал за ним. Но вскоре жеребец застыл, тяжело поводя взмокшими боками, и было видно, что никакая палка не заставит его двигаться вперед.

— Он выжал из себя весь пот, — сказал Аман.

— Я тоже, — с усилием усмехнулся Эркин.

— Дорога стала слишком крутой, — объяснил Аман, — давай отдохнем немного, и дальше я пойду один, а ты останешься здесь возле коней, потому что они не в силах продолжать путь. Сюда скоро придут или табунщики Альке, или я вернусь с Алатая.

— Не успокаивай меня. Я не боюсь. Просто не понимаю, почему должен идти ты, я ведь легче.

— Но на лыжах лучше хожу я. Если бы мы были в пустыне, пошел бы ты, а здесь моя земля, и ее тропы и тайны мне известны лучше.

— В таких случаях честные люди тянут жребий.

— Нет, братишка, не тот случай для игры с судьбой, люди ждут. Но если бо... — Аман осекся, — если не хочешь оставаться один, поручим коней богу и отправимся вместе.

— Таких замечательных коней я даже богу не отдам.

Замечательные кони стояли тихие, безвольные, втянув животы.

— Не знаю, как для бога, а для волков и медведя они сейчас легкая добыча. Кстати, ружье останется у тебя.

— А ты будешь боксировать с волками? — спросил Эркин.

— Волки придут сюда. Скотина для них интереснее, чем человек. Могут прийти стаяй, так что спать тебе нельзя. Если умирать, то наяву, а не во сне, вот так, дорогой. — Аман хрипло засмеялся. — Небось жалеешь, что привязался ко мне в конторе?

— Жалею, что не привязался раньше.

Аман промолчал. Он был растерян. В его краях не пола-

галось так откровенно высказывать чувства, но он знал, что молодой жигит говорит искренне, знал, какая тоска и какой страх охватят его, когда они расстанутся. А расстанутся скоро. Скудный ужин в снегах подходит к концу. В запасе лишь несколько шариков курта. «Как бы ухитриться и оставить ему побольше, ведь у меня впереди или теплое зимовье с сытной едой, или... в общем, курт не нужен. А у него длинная одинокая ночь. Он не привык к этим местам, и вой волков покажется ему голосом ада».

Аман смотрел на бледное в свете луны лицо зоотехника и думал о том, что жестокие заботы разлучают сейчас, может навсегда, с человеком, который сумел сказать важное и необходимое его смятенной душе. Важное и необходимое говорил примером своей разломанной пополам жизни и отец. Да, но в его правде была, к сожалению, только половина всей правды, а другую половину знает этот, остающийся здесь без страха пришелец из других мест.

— Аман-ага, — услышал он тихий голос и собрал разбредшиеся мысли.

— Да, братишка.

— Я понимаю, что вам необходимо проверить не только себя.

— Мне необходимо прийти на Алатай.

— Вы хотите проверить, изменилась ли жизнь, изменились ли люди...

— Ерунду какую-то говоришь. Это от луны. От нее всегда приходят нелепые мысли.

— В этих горах сейчас только я и вы. И если что-то случится, вы вправе обвинить меня. Но знайте: если за вами погонится кто-то для зла, я буду биться до последней капли крови. Я его не пропущу. Идите смело и не думайте о плохом.

— Ты слишком много смотрел кино, — засмеялся Аман.

— Не смейтесь, выслушайте меня. Вы не разрешили сестре выйти за меня замуж.

— Теперь разрешу. Вернемся и устроим пир.

— Вы можете предполагать во мне зло...

— Могу, но не стану.

— Не думайте о плохом. Ваше мужество сейчас — и мое мужество, и знайте: дождусь вас здесь, во что бы то ни стало дождусь.

— Ну что ж, тогда дай нам бог свидеться, братишка. — Аман шагнул вперед и крепко обнял Эркина.

— Ой, сейчас заплачу, — сказал Эркин, отвернувшись.

— Сделай из снега домик, патронов у тебя хватит надолго.

го, если не растеряешься и не будешь палить в белый свет. Будь здоров.

Эркин смотрел вслед темной фигуре, которая бесшумно, как тень, заскользила по серебрящейся в лунном свете целине.

«Луна с левой стороны,— подумал он,— хорошая примета»,— и вдруг спохватился, крикнул:

— Ага! Вы идете неправильно, в сторону!

— Я иду напрямик, чтобы сократить путь! — ответил хриплый голос.

— Значит, без меня вы решили идти через Чертов мост?

— Да.

— Это опасно.

— Не более, чем тебе оставаться здесь. Больше не окликай меня, я не отвечу.

Эркин долго провожал взглядом темнеющую на белом снегу точку, пока не зарябило в глазах. Он отвернулся. Ах, какая великая тоска сразу же охватила его! Казалось, душа его опустела, он чувствовал себя сиротой.

Два года назад по распределению он приехал в аул Енбек. После голодных степей Моинкума, с их корявыми саксаулами, зноем, песком, хрустящим на зубах, красота Алтая поразила его. Но сейчас, глядя на черные громады гор, чувствуя, как все крепче и крепче становятся ледяные объятия мороза, он заскучал по пыльной жаре Моинкума. Кони, закованные в попоны из льда, прижались друг к другу и казались странным памятником двухголовому чудовищу.

Сознание, что на много километров вокруг нет ни одной живой души, а те, кто близко, сидят в снежной ловушке, мысль об одиноко бегущем на лыжах в лунном сиянии Амана сильнее мороза заставила похолодеть сердце. Эркин вскочил, судорожно начал разбрасывать вокруг себя снег — выкапывать глубокую берлогу. Он вошел в такой азарт, что расчистил снег до почвы. Кони насторожились, почуяли тебеневку. Обрадовавшись, что есть дело, Эркин истоптанно разбрасывал снег, освобождая все больший участок земли, и лошади помогали ему. Запах земли взбудоражил их, прогнал дрему замерзания. Они рыли снег копытами, жадно хрустели травой.

Остановившиеся часы жизни, казалось, снова затикали громко. Эркин снял с жеребца седло, вынул потник, положил поверх седла. Кресло для ночного бдения получилось на славу. Но вот чем занять себя? Хоть вой на луну! Решил спеть песню, но, как назло, все вылетели из головы, а ведь в инсти-

туте блистал на вечерах самодеятельности. Надо бы какую-нибудь бодрую, современную, вроде «вся жизнь впереди, падейся и жди». Но, кроме этих слов, ничего вспомнить не мог. А что-то уже смутно шевелилось в сердце, какой-то забытый мотив; словно маленькие ласточки воспоминания детства расселись на туго натянутых струнах его души.

Эркин закрыл глаза и запел. Он видел пустыню, мать с рано постаревшим, обожженным солнцем лицом. Браслеты на ее тонких руках звенят — это она качает его, — белый чапан склонился над его лицом, и так хочется потрогать его руками.

Как она вырастила одна пятерых? Ах, он никогда не задумывался над этим. Конечно, помогало государство, давало пособие, они бесплатно ездили в пионерские лагеря, но кто измерит ее одиночество, когда не у кого спросить совета, некому пожаловаться? И все пятеро — мальчишки, попробуй сладь с ними! Мать была гордая, никогда не видели ее слез. Но один раз в городе, куда повез ее на обследование, глазной врач сказал: «Вы аналайын, много плакали, наверное». Значит, плакала почаще. Голос Эркина зазвенел щемящей тоской, и вдруг со стороны реки Тар ему ответил протяжный вой. Лошади вздрогнули, подняли головы и заржали, выкашив бешено глаза.

Эркин вскочил, схватил их за уздечки, огладил. Бедные, им и бежать некуда, стиснуты узким снежным тоннелем.

Снова мертвая тишина. «Может, пронесет, — подумал Эркин, — и потом, в конце концов, есть ружье. Но вот какво Аману-ага... без ружья, одному? Неужели действительно над мужчинами их рода висит проклятье? Бедная Малика!»

Он впервые подумал о своей девушке. Да и может ли он называть ее своею? Редки были их встречи, странны ее разговоры. Неужели он никогда не поймет ее души, ее мыслей? Теперь он знает, что у такого необыкновенного человека, как Аман-ага, должна быть и необыкновенная сестра. Думает ли она сейчас о них? Жалеет ли?

Когда Эркин впервые приехал на Алтай, стояла блаженная тихая осень. В его родном Моинкуме зеленая пора природы была и краткой, и невнятной, как сладкое сновиденье.

Почти весь год дул сухой ветер, и небо сливалось серым цветом с выжженной землей, пыльные саксаулы были безразличны и к жаре, и к первому скудному снегу. Такими же были и люди. Они жили как бы вне зависимости от природы, сохраняя извечный уклад, по сути их характеров и отноше-

ний была так же неизменна и надежна, как надежна в своей неизменности пустыня. А здесь все поражало глаз разнообразием. Деревья — одни желтые, другие коричневые, третьи красные; над ними синее небо, белые шапки гор, клочья пены над бешеной Бухтармой. И люди странные, непохожие друг на друга. Родством не дорожат, больше всего надеются на силу своих мускулов, к лести и к хитрости неспособны: готовы сказать самую жестокую правду даже собственному деду; как дикие лоси, гордостью и прямоотой они обрекают себя на одиночество.

В этих местах взгляд всюду патыкается на горные каменистые вершины. И нет пространства, исчезающего за горизонтом.

«Значит, — пришел как-то к выводу Эркин, — у них нет надежды на что-то, лежащее за пределами жизни и ее ежедневных забот. Отсюда эти крутые характеры, это трудолюбие».

Скучая о доме, где и топчан как перина, Эркин не раз собирался уехать, но, пока собирался, успел привязаться к загадочным людям, живущим в ущельях Алтая. Сюда прилетали только самолеты, прилетали редко, иногда с перерывами в месяц, до железной дороги шестьдесят километров, а близко на юге — граница, и за ней чужая земля, чужой народ.

Дружба была здесь редкой и потому главной ценностью. А Эркин был одинок. Однажды старый чабан на джайляу сказал ему: «Ты птица из теплых краев, если хочешь остаться здесь, должен привыкнуть не только к сорокаградусным морозам. И люди покажутся тебе холодными. А когда привыкнешь, найдешь свой дом — придет к тебе тепло. Земля Алтая чудесна, люди честны и прямы. Да, это правда, что они, как дети стрелы-змеи, едва родившись, расползаются в разные стороны, живут порознь. Если будут вместе — съедят друг друга. Но когда вырастают, наживают свое, снова находят друг друга и объединяются. Наши люди никого не трогают, но если кто-то из чужих обидит их, то они все вместе погонятся за обидчиком и убьют его. Так что будь осторожен, старайся не ранить душу невинного человека. Если решишь пустить здесь корни, то почва благодатна. Женись, у тебя никто не спросит калыма. Девушки Алтая находят себе достойного и выходят замуж бесплатно. Это ты и сам видел. Ту-гу-ту... приезжают из Узбекистана и увозят с собой. Помни, мой дорогой, что на почве Алтая трудно расти чужому дереву. Здесь выживают лишь крепкие деревья, терпеливые к холоду и невзгодам».

Странным было то, что эти речи говорил чабан при взрослой дочери-красавице. Эркин поначалу решил, что старик намекает на свою дочь, но потом выяснилось, что она уже просватана в соседний аул. Как все мужчины, Эркин насто-рожился при откровенности чабана, но, узнав, что она чужая невеста, пожалел о несостоявшейся возможности.

Отец был мудр, девушка прекрасна и бойка. Он долго вспоминал о ней, пока не увидел Малику.

Суматошная, бессонная здесь всегда весна. Запертые на всю зиму в кошарах овцы выползают на пастбище, как только показывается черная земля. Тощие, с висящими до земли животами, с выпирающим крестцом. И вскоре, еще земля не успевает высохнуть, начинается массовый окот. Домá пусте-ют, не слышно в ауле девичьих голосов, ни криков детей. Но по оврагам, сопкам, ущельям снуют молодухи, держа под мышкой длинноногих лысых ягнят. Карманы платьев у всех набиты разноцветными тряпочками.

Это сакман¹. Тяжелая пора, нескончаемая, грязная и воз-вышенная работа. Нужно принять ягненка, пометить его и матку одинаковыми тряпицами, приучить к соскам. Вез-де слышно бляение, сакманщицы сбиваются с ног, спеша от одной овцы к другой; платья их грязны, лица изму-чены.

В один из дней окота Эркин зашел в библиотеку, чтобы проверить, все ли девушки вышли на сакман. Это было пору-чение управляющего Амана Тенгринова. Аман подчеркнул особо, что заведующая библиотекой тоже должна пойти на окот.

Когда Эркин вошел в библиотеку, она была пустынна. Лишь слышались чьи-то шаги в сумраке прохода, между книжными стеллажами. Эркин подождал немного и пошел на звук шагов. Девушка стояла спиной к нему.

— Здравствуйте! — громко сказал Эркин.

— Здравствуйте, — не обернувшись, ответила девушка.

— Пришел позвать вас на сакман.

— Куда?

— В отару Кумара.

— Хорошо. Я и в прошлом году была там.

— Тогда пока. — Эркин круто повернулся и вышел.

«Ну и воспитание у них здесь, даже не обернулась», — ругал он мысленно поровистую заведующую. Но он запомнил узел тяжелых волос на тонкой шее, сережку с розовым ка-

¹ Сакман — окот.

мешком в розовой мочке маленького уха, крепкий подбородок.

Однажды, объезжая отары, проверяя, как идет окот, в маленькой ложбине он услышал чьи-то причитания. Нежный голос, такой жалобный, что слабый душой разрыдался бы, упрашивал: «Ну же, милая, ну же...» Эркин обогнул куст и увидел девушку: присев на корточки, она совала под матку ягненка с красной веревочкой на дрожащей тоненькой ножке. Девушка была так поглощена своим занятием, что не услышала, как подъехал Эркин. Он замер. Овца тупо отворачивала морду, отказываясь помочь девушке. Причитания становились все жалобнее, все печальнее, и наконец голос достиг такой силы мольбы, что у Эркина дрогнуло сердце. Даже глупая овца наконец вняла просьбам и подпустила ягненка к себе. Девушка со вздохом облегчения поднялась, распрямилась. Увидев Эркина, сказала равнодушно:

— А, это вы...

— Да, я.

— Я не слышала, как вы подъехали. Эта дурная матка отгоняет свое чадо, каждый раз надо уговаривать, просто не знаю, что делать.

Ее матовые, цвета черной смородины глаза вопросительно посмотрели на зоотехника.

— Принесите кошку, иногда это действует, матка от ревности должна допустить ягненка, — сказал Эркин.

— Нет, — улыбнулась девушка, — мать, так принявшая дитя, не насытит его.

— Тогда не вижу выхода.

— Терпение.

— Извините, но я не узнаю вас, сестренка.

— Может, если бы здесь был другой жигит, вы бы меня узнали сразу. Иногда это действует. — Девушка засмеялась. — Я заведующая библиотекой.

— Е-е... я так и подумал сначала, но ведь я не видел вашего лица. Как вас зовут, сестренка?

Девушка глядела непривычно прямо и смело.

— Вы, я вижу, не из наших мест.

«Апырау, до чего красива!» — подумал Эркин, но сказал небрежно другое:

— Вы здорово умеете угадывать.

— Это очень просто. Жигиты нашей стороны никогда не скажут девушке «сестренка». Так у нас принято называть только родную сестру. Если хотите узнать мое имя, поищите в своей записной книжке.

— Зачем? Я и так догадался. Вы Тенгринова. А вот имя действительно может подсказать книжка... Ага... вот — Тенгринова Малика, дочь Аспана.

Девушка вдруг подхватила ягненка и, гоня перед собой овцу, пошла к кошаре.

— Сестренка, ау, сестренка!.. Малика, что это вы? — позвал он.

Девушка даже не обернулась.

«Эх, трудно мне подладиться под них!» — с досадой цыкнул Эркин и сел на коня.

Теперь, как бы случайно, его конь каждый день сворачивал к отаре Кумара. Это заметили другие сакманщицы, стали хихикать, перешептываться. Малика держалась независимо, не давала никакого повода к разговору наедине, и эта непонятная гордость ставила его в тупик.

«Может, я слишком скромн, — гадал Эркин, — и потому смешон?» Но нет, глаза Малики смотрели холодно и как-то изучающе.

Свою досаду Эркин вымещал на длинногривом коне, нахлестывал его нещадно, когда уезжал от кошары. Как-то приехал в сумерки. Дневная суматоха улеглась, и сакманщицы, по-видимому, ушли отдохнуть в домик. Когда он открыл дверь, увидел нехитрое вечернее застолье при свете керосиновой лампы.

Девушки и молодухи поздоровались с ним преувеличенно радостно, со смешками.

— Проходите на почетное место. Вы, оказывается, нас расхваливаете везде, за это мы рады накормить вас ужином, — пригласила молодуха, видимо звеньевая. На руках ее дремал младенец. Эркин, будто не заметив шуток, сказал серьезно:

— Спасибо.

Молодуха прикрыла грудь, — видимо, только что кормила ребенка, — пододвинула Эркину миску. Девушки хихикали, шипали друг друга. Малики среди них не было.

«Зря я уселся с ними, не оберешься шуток и насмешек».

— Слишком тощую овцу вы прирезали для себя, — сказал Эркин, попробовав сурпы — бульона из баранины.

— Если бы дали жирную, мы бы не обиделись, — откликнулась бойко сакманщица.

— Разве я вам отказывал когда-нибудь? — обиделся Эркин.

— Конечно, нет, — успокоила молодуха с ребенком, — но сейчас годную для хорошей сурпы овцу не найдешь нигде в

районе, все матки отощали. А мы едим вообще нетель, жира в ней столько же, сколько в рыбьем глазу. Ах, как нам жалко нас...

— Кто сегодня дежурит? — перебил ее Эркин.

— Малика, — загалдели девушки, — три раза звали к столу, чтоб поела, не идет. Слишком любит книжки, все читает, читает.

Эркин ел медленно, с расстановкой. Не вскакивать же сразу и бросаться сломя голову на поиски Малики, вот и жевал в духоте, слушая женскую болтовню.

Старая повариха ворчала на молодых, что вот и овцой недовольны, жира им мало, а как она голодала в войну, собирая в поле колоски после жатвы. Да и колоски положено было отдавать, разве что оставишь потихоньку детям на лепешку. Девушки слушали ее невнимательно. Словно насытившиеся гуси, они умолкали, погружаясь в дрему. Свет лампы падал на их лица, иногда кто-то открывал тяжелые веки и, глянув бессмысленно, снова засыпал.

Эркину вдруг стало нестерпимо жаль этих юных, красивых, но так измученных работой девушек. Да и одеты бог знает во что: на ногах кирзовые сапоги, поверх платьев грязные фуфайки; косынки сбились, и видны давно не чесанные волосы.

Заметив его взгляд, молодая с ребенком сказала резко:

— Мы сейчас спать ложиться будем, для тебя места нет, так что езжай. В добрый путь! Передай в конторе, что молодняк весь цел, поголовье тоже. И чтоб кино хотя бы привезли.

— Хорошо, тетушка, передам.

— Я тебе не тетушка.

— Извините. Спасибо.

Эркин поднялся из-за стола.

«Где же они здесь разместятся все? — подумал с состраданием. — Нет, надо поговорить с управляющим, условия для отдыха сакманщиц никуда не годятся».

После спертых воздуха маленькой комнатки аромат весенней ночи опьянил. Эркин остановился на пороге, поднял голову к звездному небу.

«Апырмай, когда наступит день, когда не будет разницы между жизнью людей? В городе такие девушки одеты нарядно, сидят в кафе, курят, едят мороженое!»

Конь заржал, призывая хозяина. Эркин обнял его голову, постоял рядом.

На вершинах гор голубым фосфорическим светом сиял снег; темные ели, не меняющие никогда своего строгого облика, застыли неподвижно.

Эркин подумал, что одиночеством своим и красотой они напоминают Малику. Живут, борясь стойко с суровой жизнью, выдерживают все, и кажется, что силы целиком должны уйти на то, чтобы выстоять, сохранить свою гордую прямоту. Но остановись в жаркий день в их тени, и ты ощутишь благоухание нектара, тебя укроет синяя прохлада, ты окунешься в благодатное счастье тишины и красоты.

С гор подул холодный ветер. Какая здесь странная изменчивая погода, и звезды в черном небе — странные: кружатся, кружатся, будто танцуют на месте. Эркин замерз и направился к кошаре. Лениво встал с места волкодав, понюхал его и, будто сделав важное дело, вернулся на место, лег. Тоже странные существа собаки чабанов: встречают пришельца злобным лаем, готовы разорвать и вдруг успокаиваются, полны равнодушия.

Когда Эркин открыл двери кошары, на него из полумрака уставилось множество светящихся зелеными огоньками овечьих глаз. Малика сидела на низкой скамеечке и возилась с новорожденным ягненок. Сжимала ему мордочку, дула в уши. Она была так поглощена своим занятием, что не обернулась на звук шагов.

— Добрый вечер, — сказал Эркин и откашлялся. — Я, кажется, оказался добрым гостем, матка родила двойню.

— Смотрите еще сглазите. И что это вы делаете здесь ночью?

— Воруя овец.

— Но они и так ваши, гоните хоть всю отару, никто не встанет на вашем пути.

— Кроме закона, — засмеялся Эркин и снова закашлялся.

В овчарне остро пахло навозом и овечьей шерстью. Маленький теплый мирок тихих животных вздыхал, тихонько блял, хрустел травой, и трудно было представить, что где-то существует иная жизнь, полная бликов огней, шума автомобилей, рева реактивных самолетов, что где-то воюют солдаты, совещаются и заседают важные люди, подписывают договоры и декларации.

— Расскажите, что происходит в ауле, — попросила Малика, вздохнув.

— Устали?

— Очень. Словно ожидая моего дежурства, они начали приносить ягненка за ягненком.

— Да, это очень тяжелая работа — сакман. А почему вы не пошли учиться в институт?

— В прошлом году была не готова, а этим летом попытаюсь.

— Я мог бы вам помочь. Мой дядя преподает в педагогическом.

Малика засмеялась.

— Тогда я буду первым человеком Алтая, попавшим по знакомству в институт. Спасибо, благодарю за доброе намерение.

— Я не имел в виду протекцию. Я сказал — «помочь», это означает другое.

— Надеюсь на свои способности.

— Интересные вы здесь люди — никому не верите, ни от кого не ждете помощи.

Девушка молчала, смотрела задумчиво на пламя керосинового фонаря, думала о своем.

— Последнее время мне очень не хватает вас, — сказал тихо Эркин, — все время хочется видеть вас, разговаривать, а вот о чем — не знаю. Да и трудно с вами, Малика.

— А с кем легко? — спросила она, не отводя глаз от фонаря.

— Ну, я не знаю, — смешался Эркин, — девушки в ваших краях какие-то особенные.

— Да... наверное... Один раз, очень давно, девушки пошли за смородиной, заблудились, и их задрал медведь. С тех пор то место называется «Шесть девушек»... Иногда эти девушки снятся мне. Если бы они остались живы, то в совхозе прибавилось бы шесть сакманщиц...

«В своем ли она уме? — в смятении думал Эркин. — Что это за страшный рассказ и что за странный вывод: прибавилось бы шесть сакманщиц...»

— Раз человек в конце концов однажды оставит этот мир, то какая разница, прожить жизнь простой сакманщицей или кем-то другим? Главное — сохранить свою душу... И, может, лучше пусть съест медведь, чем плохой человек погубит твою душу. Знаете, порой мне хочется умереть, но когда я думаю об этих крошечных ягнятах, которые кажутся мне сиротами в детском доме... или о вас...

Эркин схватил ее руки.

— Малика, я только сейчас понял, о чем вы говорите...

Малика не противилась, и он обнял ее, зашептал:

— Малика, не надо думать о плохом. Вы так хороши, я не видел таких красавиц.— Он прижимал ее все крепче и крепче.

— Вот и вы хотите меня съесть, как медведь...— Малика решительно и ловко вывернулась из его, ставшего очень пылким объятия.— И ничего вы не поняли. Езжайте домой.

И снова встречи их стали случайны и кратки. А когда пришло лето, Эркин узнал, что девушка собирается в Алма-Ату. Целый день в райцентре он торчал на автобусной станции, поджидая ее. Расчет был прост: безпогий отец вряд ли сможет проводить до города, а Аману некогда. Оказался прав. Она приехала с последним автобусом, спрыгнула со ступеньки, огляделась испуганно. Даже в райцентре она выглядела провинциалкой, и у Эркина защемило сердце: «Как же ты будешь одна в большом городе?»

Когда Малика увидела его, лицо ее вспыхнуло от радости, и Эркин забыл жаркий бесконечный день, ожидание на пыльной автобусной станции. Но оказалось, что вон тот рычащий неподалеку автобус и есть последний до Алма-Аты.

Эркин взял руку девушки и на тоненький палец надел золотое кольцо.

Малика поспешно сняла кольцо, протянула:

— Я понимаю, что означает такой подарок. Но я и так верю, что вы будете меня ждать, и обещаю вам то же.

Она вдруг обняла его и поцеловала на виду у знакомых аульчан, глядящих в окно автобуса. Эркин смутился, но на жителей Енбека смелый поступок сестры управляющего не произвел впечатления. Гораздо больше они были озабочены тем, чтобы Малика успела занять место, и знаками призывали ее поторопиться.

...Осенью Малика, поступив на заочное отделение, вернулась в аул. Разлука сблизила их, и они решили, что должны жить вместе. Но почему-то намертво стал между ними Аман. Он не снисходил до разговора с зоотехником, показывая тем самым, что не принимает его всерьез. Малика сначала приходила заплаканная, говорила, что брат и отец хотят, чтобы хоть один человек из их рода выучился, окончил институт, потом стала избегать встреч. Тогда Эркин сам заговорил с управляющим о свадьбе, и тот сказал ему, что девушки в этих краях свободны, а мужчины не бегают жаловаться на них братьям.

— Нет, черт возьми, если я вернусь в аул живым, в тот же день устрою свадьбу! — громко сказал Эркин, встал, потянулся, разминаясь.

В снежном логове был сумрак, но теперь он увидел залитый молочным дымом мир алтайской ночи, услышал немислимую ее тишину. Звяканье удил, хруст мерзлой травы на зубах коней растворились в этой тишине, темные силуэты были не отчетливы. Эркину показалось, что он спит.

«Может, правильнее было бы сейчас угреться в маленькой пещере и заснуть? Во сне наверняка придет Малика. Да, но придет уже на том свете, потому что стоит только смежить веки — и впереди вечный покой. Что же делать в этой нескончаемой бредовой ночи? Кричать? Нет, нет, тогда раздастся эхо, в горах двинутся снега и задавят Амана-ага. Я один на один со всем миром. Просто как на трибуне... меня показывают по телевизору. Апырау... а если бы случилась такая возможность, что бы я сказал людям?.. Мне кажется, я не очень-то готов к такому выступлению... Надо попробовать».

Эркин одернул полушубок, откашлялся.

— Налейте, пожалуйста, воды и поставьте вот здесь, — приказал он лошадям. — Спасибо. Товарищи! Благодарю вас, что предоставили мне возможность выступить на этом ответственном симпозиуме. Люди прогрессивного мира с чистой совестью, я обращаю свои слова к вам. Может быть, мое выступление покажется вам длинным. Надеюсь, что за это время вы не похудеете. Для меня, который не видел никакой другой страны, кроме Казахстана, тоже нелегко выступать перед всем миром. Я тоже смертный с круглой головой и двумя ногами. В этом мире нет ни большой, ни малой страны, нет ни большого, ни малого человека. Страна есть страна, человек — везде человек, и он, и человечество существуют не для того, чтобы убивать друг друга. Мы рождены равными и равными имеем право умереть.

Вы же, кто не понимает этого, перестаньте беситься, ведь под землей и так уже больше тех, кто убивал друг друга, чем тех, кто умер своей смертью. Я боюсь не волков, бродящих вокруг меня, не медведя, не лавины, я боюсь вас, безумцы. Мой народ, может, на краткий миг, по сравнению с историей человечества, познал и познает радость истинной жизни. Так не мешайте ему, уставшие от своих грехов правители. Малым народам нужен мир, мы встали на ноги, мы рождены, чтобы

насладиться жизнью. Это не мольба о снисхождении, это наше право, наше требование. Мы не манкурты и никогда не станем ими. Наши люди умеют совершать подвиги. Такие, как Аман, например. Он отправился, может быть, в путь вечности. Никто не узнает, если он вернется, кого он победил. Столько говорят о подвигах, а я не знаю человека, будь он табунщик, чабан, сакманщица, да кто угодно, который не хотел бы самого главного — умереть своей смертью. Если человеку дарована его жизнь, то почему он не имеет права на свою смерть?

Я повторяю, я не боюсь ни волков, ни мороза, ни лавины, я боюсь людей с той стороны.

Они не понимают, занятые организацией конца мира, что мы только начинаем открывать его пространства, его книги, его людей, его мысли... Что еще? Да... вот главное. Нам ничего не надо от вас, люди с той стороны, но мы не хотим, чтобы нас тащили в ловушку века. Мы имеем право на свое время. Вчерашнее мое в порядке, будущее — ясно. Нам всего хватает. Я не хочу превратиться ни в лисицу, ни в рыбу, не рвусь птицей в небо, одурманенный сказками. Я человек, опирающийся на землю. И я не желаю, чтобы меня и мой народ заносили в Красную книгу.

* * *

Аман шел споро, время от времени вытягивая концы лыж веревками. Чувство, которое родилось вместе с ним, подсказывало дорогу к Чертову мосту через снежную равнину.

Он думал о том, что, пожалуй, тихий люд, ведущий свою жизнь в ущельях лесистого, богатого ручьями и реками Алтая, больше всего страдает от отсутствия дорог. И каждая дорога к зимовью — первая. А если наоборот — из зимовья, то сначала среди густого травостоя или снежной целины надо проложить свой путь к аулу, дальше уже легче — в райцентр ведет широкий асфальт, потом опять остановка. Иногда люди по пути в Алма-Ату неделями дожидаются в райцентре самолета. Гостинцы в курджуне тают, тает и праздник в душе.

«Свои ноги надежнее всего», — усмехнулся Аман.

Когда перевалил холм, почувствовал, что идти легче, и понял: начался спуск к реке Тар. Стали попадаться прямые, стремящиеся к небу ели, кустарник, караганники.

На спуске надо экономить силы. Аман расслабился, поглядывая по сторонам. И вдруг увидел березы. Те березы. Их не забыть никогда, потому что в детстве поразила эта огромная, торчащая из земли пятипалая ладонь. Внизу березы прижимались друг к другу тесно, а к небу тянулись, растопырив стволы-пальцы.

Здесь он косил сено с калекой отцом.

Он рос ушедшим в себя, но был сноровистее других мальчишек. Единственная подмога в хозяйстве, он с детства включился в работу и рос, не зная забав. Сев на коня вместе с безногим отцом, он ездил за дровами, слабыми, еще детскими руками косил и скирдовал.

Отец косил, ползя вниз по склону. Его не было заметно среди высокой травы. Человек, который смотрел издали, пугался, видя, как зеленая трава никнет под невидимой рукой. Дойдя до края участка, отец тянул руками аркан. Один конец аркана он привязывал к верхушке березы, а другой — к поясу своей телогрейки. И так, с помощью аркана, взбирался на верх склона и снова начинал косить. Аман видел на висках у отца набухшие вены, глаза, налитые кровью, лоб в струйках пота и старался не отставать, энергично взмахивал своей маленькой косой. А поездки за дровами... Когда мальчик видел, как легко отец вонзает топор в твердый, как железо, ствол дерева, его детская душа замирала от восхищения. Да, Аспан научил сына всему, что умел сам. Но сначала научил мужеству, и поэтому снежный путь к Чертову мосту для него не труднее сенокоса в далеком детстве на этом склоне.

Вряд ли есть красота, что может сравниться с красотой летнего Алтая. Отец и сын садились обедать, когда солнце достигало зенита. С наслаждением пили густой чай, утоляя жажду. Потом отец валился на подстилку в тени ели. То ли от жары, то ли спасаясь от боли, он снимал брюки и давал отдохнуть телу. У Амана не было сил смотреть на посиневшие культы, он уходил в сторону и плакал навзрыд. Тогда он понял, что самый быстрый путь к избавлению отца от мучений — его, Амана, возмужание. И он торопил свои силы, душу и сердце.

Возвращался, неся в горсти ягоды.

— Спасибо, сынок, — говорил отец. — Но мне кажется, ты становишься похожим на верблюжонка, которого били плетью, делаешься боязливым. Смотри, как бы моя беда не поранила твое сердце и не надломилась бы твой дух. Сейчас время тех, кто прямо смотрит в глаза жизни. Если ты не будешь

подобен сосне, выросшей, продолбив камень, то проживешь жизнь с оглядкой, набирая жир на заднице. Чем жить так, подобно собаке, каждому помахивая хвостом, лучше умереть. Твердость — это не красивое существование и не счастливая жизнь, это — умение сохранить свое достоинство, хоть и с котомкой на плечах. Ты — моя опора, ты — мои потерянные ноги. А у меня ноги были жилистыми, не знающими усталости и болезни в суставах! Они были как деревья. Если ты сейчас, когда молод, как поросль пшеницы, когда свеж, будешь оглядываться на всех, хлопая ресницами, то твой завтрашний день пройдет под пятой у сильного. Подними голову! Смотри прямо на меня! Дай увидеть огонь в твоих зрачках!

Аман наклонился и встретился глазами с глазами отца, лежащего на спине и глядящего в перевернутое небо с холодной мощью поверженного сокола.

— Слушай, жигит, — сказал отец, с благодарностью обнимая его. — Не знаю, рано или поздно я умру. Моя мечта — стреножить тебя и поженить пораньше, пораньше поцеловать внуков, сын мой. Не рожай девочек, они для других.

И теперь единственный сын табунщика Аспана скользит на лыжах, направляясь к Чертову мосту по склону, который истоптал детскими ногами тот мальчик, которому табунщик открыл глаза, которого впервые поцеловал от души, который продолжил его род. Идет, чтобы перейти самый опасный мост, самый трудный, с риском, достойным лучшего из лучших.

Когда Аман спустился вниз с холма, луна насторожилась и на всякий случай убралась за тучи. Потемнело. Что-то зашелестело; оказалось — несколько еликов. Мелькнули легкими призраками. То ли ночная дорога кажется длиннее, то ли все-таки недостаточно быстр был шаг, но будто злая сила отодвигала Чертов мост все дальше и дальше.

Аман знал, что лучший способ сократить дорогу — это, предаться думам. Объезжая зимовки и джайляу, он коротал время, размышляя обо всем, — древняя привычка казахов. А что кроме раздумий есть у чабанов, которые одни-одиночки стоят на сопках, как памятник, и восходят и заходят вместе с солнцем... Да, у них есть только две заботы: овцы и думы.

До сих пор помнит...

...Было начало октября. Закончилась уборочная, осенняя лихорадка отпустила. Бешеный прав Бухтармы утих тоже, и река, войдя в русло, текла покорно. Да и вся природа будто настыла в коротком и умиротворенном прощании с прежней буйной жизнью. Управляющий отделением Аман тоже перевел дух и чуть ослабил пояс. И однажды проснулся рано, чувствуя, что наконец отоспался за все бессонные ночи. Вышел на улицу и увидел, что солнце успело надеть алые косынки на вершины гор. Не считая стариков да старух, мающихся бессонницей, аул еще не проснулся от утреннего сладкого сна. Из кудрявоголового леса доносилась радостная трель какой-то птицы. Откуда-то, со стороны речки, бросил клич елик. Утренняя роса искрилась, перед тем как исчезнуть, и жаль было ступать на украшенную ею золотую траву. Белый платок тумана укрывал высокую грудь горного перевала.

Все, что увидел Аман, говорило о счастье и покое, так отчего странная тоска сжимает сердце? Чтоб развеять ее, Аман побрел к Бухтарме. Оказалось, что река отступила от берегов, которые грызла, бесясь, каждую весну. Аман тихонько присел на ствол упавшего дерева. На другом берегу несколько еликов беспечно приникли к воде. Но все же что-то выдало присутствие человека, один из еликов высоко вскинул голову, влажные блестящие ноздри задрожали, и он одним прыжком исчез в лесу. Остальные козлики тотчас, бесшумно как тени, скрылись вслед за ним. Аман подошел к воде, разделся и вымылся до пояса холодной водой. В тяжелое тело возвратилась бодрость. Только сейчас Аман почувствовал, как сильно он устал. Пора в отпуск. Завтра он напишет директору заявление, получит впервые за три года положенные ему дни отдыха и махнет к... как его... да, к Черному морю, куда, говорят, стремятся все. Увидит разных людей, увидит новые земли и впервые узнает, что за радости можно купить на деньги, заработанные так тяжело. Интересно, стоят ли эти радости пролитого пота, тертых подошв? И себя, конечно, интересно посмотреть среди других. И как люди других национальностей посмотрят на него, интересно. Он ведь не так плох, крепкий, вроде неглупый... А кивает как сурок. Да что сурок! Даже этот белообрый зверек летом уходит далеко от норы в поисках корма, скитается, ищет новые впечатления. А он, Аман, выходит, хуже? Нет, нет. Теперь он отдохнет как человек. Вольготно, дав волю плечам и спине. «Итак, чем сидеть как старик после омовения, пойду лучше домой, напишу заявление и отнесу директору».

Он встал, и вдруг раздался дикий крик. Крик ударил в спину острым ножом, и Аман упал. В голове стучал раскаленный молот, небо исчезло, и наступила ночь. В этой ночи кружились тысячи красных искр.

Сколько лежал он, поверженный, на берегу реки,— не вспомнить. Видно, душа, испугавшись крика, покинула его, но потом вернулась — бледная, трепещущая. Когда Аман открыл глаза, все колебалось словно в мареве горячего воздуха. Он подумал: «Может, неподалеку лесной пожар?» Но потом вспомнил крик и боль. Боли теперь не было, только тошнота. Ничего, сейчас он поднимется, обмоет лицо ледяной водой Бухтармы и пешечком дойдет до конторы. Там напишет заявление на имя директора, отлежится немного дома, потом сядет на самолет и махнет к Черному морю.

Аман попытался встать, но тысячи иголок вонзились в голову. Он снова лишился сознания. Снова навалилась ночь. Но вдруг из нее выступил босоногий простоволосый мальчик.

Лицо знакомо: робкая улыбка и этот шрам на лбу, шрам, похожий на молодой месяц. У кого он видел такой же шрам? Да ведь у него, Амана, на лбу такой же шрам! Значит, смерть приходит в облике твоего же детства?

«Рано, слишком рано, пришел ты, мое дитятко», — прошептал Аман.

«О, моя доблесть, жив ли ты?!» — спросил мальчик

«Жив. Но куда же ты?»

Мальчик уходил.

«Куда же ты?!»

Мальчик не оглянулся...

— Не пугай меня. Встань, я поддержу тебя, — сказал голос отца. Тот единственный голос, который, наверное, мог поднять Амана и из могилы.

Аман сел, опираясь на могучее плечо отца, Аспана, сидящего рядом прямо, словно ствол мощной сосны.

— Избежал смерти, будешь жить сто лет, — сказал отец.

В районной больнице сказали: «Вы получили инфаркт, надо отдохнуть».

Он не поехал к Черному морю, часами сидел во дворе, млея на солнышке, разговаривая с отцом. Он рассказал отцу и о мальчике, который приходил к нему из ночи.

— Это была смерть? — спросил Аман.

— Это была жизнь, — коротко ответил отец.

...Аман не понял, что стоит перед Чертовым мостом. Воспоминания заставили его забыть о времени, об усталости.

У одиночества есть друг, неразлучный верный друг — мысль. До самой могилы этот друг будет делить с каждым из нас и радости, и горе. И кто знает, может, там, в вечном мраке, мысль останется с нами? И оттого, наверное, человек выше природы, выше смерти.

Аман стоял перед Чертовым мостом и чувствовал, что медлить нельзя. Нужно одним махом, с ходу, перейти этот проклятый мост, оставить его позади. Но что-то сделало тяжелыми ноги, слабым сердце. Этим «что-то» был страх.

Страх, что повторится вдруг то, что настигло его когда-то на берегу Бухтармы. Что раздастся позади крик, и он останется здесь навсегда, и в занесенном снегом зимовье табунщики будут думать, что обречены погибнуть в одиночестве, что никому не нужны в этом мире. Нужны только для того, чтобы приносить пользу.

Человек по имени Аман, человек, которому перевалило за сорок и характер которого был неизменен и тверд, словно залили его цементом, почувствовал странное превращение. Жилистое тело обмякло, кулаки уменьшились, одолевал жар, будто он попал в парную или его закутали в шкуру только что освежеванного барана.

Аман мысленно попросил мальчика не приходить к нему сейчас. Обождать. И так же, как он думал о мальчике, он знал, что о нем думает сейчас и отец Аспан. Молится за него. Наверное, снова поехал к могиле. У его сына не должно быть страха! А страх есть. Сзади могут прийти те, что кричат. Эркин сказал: ты оставил позади себя врагов. Может, и сам Эркин — враг. Почему он, Аман, должен верить его ничему не стоящим речам? Он должен верить его обиде, его гневу за то, что не отдал ему сестру, его жажде занять место управляющего, верить мести медноусого, душевной слабости обиженных табунщиков.

Он снова попросил мальчика повременить с приходом.

Но Эркин сказал: испугать себя человек может лишь сам.

А отец назвал мальчика — жизнь.

Аман представил отца сидящим на могиле каменным идолом и вдруг понял: их там двое. Один — ушедший навсегда в ту ночь на берегу реки Тар, другой — его отец Аспан, человек, научивший сына косить траву, седлать коня, разговаривать с людьми и с самим собою честно. И тогда Аман понял, что сейчас перед этим Чертовым мостом, имя которому

жизнь-смерть, застыл не только он, застыл его отец, его сын, его предки, его будущие внуки. И если бы сейчас снова появился мальчик, он бы сказал ему: «Я же просил тебя не приходить, иди играй в асыки».

Но если мальчик спросит: «Знаете ли вы, что для вселенной нет никакой разницы в ценности косяка лошадей и жизни двух-трех человек, которых вы идете спасти со смертельным риском?» — он ответит: «Да, мой поступок мал, как игольное ушко, но я должен его совершить, и, честно говоря, мне безразлично, как относится к этому вселенная».

«А если раздастся крик?»

«Ты не можешь знать, а я знаю, что никто не придет сюда с криком. Мой отец заплатил за это вместе со многими другими людьми. Никто не придет».

«А Эркин? Я ведь знаю, как вы думали о нем».

«Я думал неправильно, я не учел, что время изменилось, а значит, изменились и люди».

«А медноусый и его брат тоже изменились?»

«Нет. Но они теперь боятся. У других же людей, людей добрых, нет страха».

«Я не верю».

«Я докажу тебе это».

«Вас, может быть, одолевает честолюбие? Вы не хотите ни в чем уступить Аспану-отцу? Ваше себялюбивое «я» тоже хочет прокричать о себе».

«Я просто хочу помочь табунщикам. В конце концов, это мой долг. А теперь иди, мальчик, не мешай мне».

— Бисмиллахи! — сказал Аман и ступил на Чертов мост.

Вековая тишина воцарилась вокруг; огромное, исколотое звездами небо почудилось рябым лицом отца, склоненным над ним в детстве, и Аману вдруг стало стыдно и своих колебаний, и своих страхов.

— Эй! — громко крикнул он. — Эй! Человек должен страшиться только себя!

Никто не ответил.

— Эй! Горы! Ущелья! Люди! Человек должен верить в себя и в других!

Никто не ответил.

— Эй! Я прошел Чертов мост, я, Аман, сын табунщика Аспана! Я не боюсь ничего. Самое страшное, что меня ждало, — это повторить судьбу отца. Отца! Отца! Своего отца! Я не боюсь ее повторить, она священна. А... А!..

— А-а-а... — вдруг ответило ему впервые эхо, и Аман увидел, как, дрогнув плечами, гора сбросила со спины снежный покров. Свистя и ревя, белая река помчалась к Чертову мосту и поглотила его.

Затерянный в белом море алтайских снегов, Эркин услышал далекий глухой звук в горах. Он понял, что это Аман перешел Чертов мост.

А наутро по бескрайней, сверкающей под солнцем целине навстречу друг другу шли две группы людей. С высоты хребта они казались крошечными темными точками-крапинками на огромном лике земли.

СНЕЖНАЯ ДЕВУШКА



акой снежной зимы давно не видали на Алтае. Вспоминали старики, что лет шестьдесят назад было подобное. Снег не успевали отгрести от порогов, в сугробах утонули дворы. У нерадивых хозяев, вовремя не перебравших старую кровлю на сараях, скотина оказалась на улице — под тяжестью снега проседала и ломалась сопревшая обрешетка из жердей. От дома к дому аул прокладывал мышиные ходы, которые тут же заваливало новым снегом. Все вокруг было скрыто в его кишасей над землею сумятице. Но стоило чуть проясниться, как возникал перед глазами неузнаваемо преображенный аул, дома которого были увенчаны пухлыми сугробами, словно громадными гусиными яйцами. И, неуверенно клонясь из стороны в сторону, тянулись вверх струйки дыма из труб, что означало: люди живы, слава аллаху, не задохнулись под снегом.

Скотина стояла во дворах не кормлена, непоена. На подножный корм, как обычно, ее не выгонишь, к водопоям по снежным завалам не проведешь. Обильный снегопад, сначала радовавший людей, переживших летнюю засуху, вполне мог обернуться бедою — падежом скота, джутом. А белые хлопья все сыпались и сыпались с неба, то тихо и вкрадчиво, то густо и беспросветно. И тогда казалось, что неба вовсе нет — оно развеялось неисчислимыми сонмами белых бабочек, беспечно порхающих над неподвижной тишиною зимнего мира. Словно хотела природа вернуть алтайской земле всю влагу, которую эта земля недобрала за три последних засушливых года. И нескончаемым был удивительный снегопад, и беспредельной — гнетущая, свинцовая тишина, навалившаяся на горную долину.

Но беспечная детвора радовалась, строила снежные городки. С довольным видом бегали деревенские собаки, завив в пушистые кольца хвосты, барахтались в сугробах. И даже почтенные мужи испытывали, глядя на обилие снега, неизъяснимую радость и надежду, что, может быть, все обойдется, джута не будет, а грядущее лето окажется наконец щедрым и урожайным на травы. Замучила вконец бескормица!

И все же переносить подобный снегопад было тяжело. Без

ветра, без бурана снег валил и валил, нагоняя в душу сон и вялую тупость; голова тяжелела, словно после укуса заразного лесного клеща, и хотелось тебе не то рухнуть в постель и уснуть, не то выскочить на улицу и заорать что есть мочи, топоча ногами, словно ребенок.

Нуржану надоело отсиживаться дома; распахнув дверь, он очумело вглядывался в бесшумное кипение снежинок; сгорбившись, увязая по колено, проложил через сугробы одинокий след до совхозной конторы. Никто его не вызывал туда, но парню стало невмоготу: ему казалось, что во всем ауле не осталось живой души.

В конторе, однако, оказались люди: человека три-четыре сидели вокруг стола, за которым шла карточная игра. Среди них был управляющий отделением Упрай, как прозвали его аульчане. Увидев Нуржана, начальник заметно оживился.

— Как дела, парень? — молвил Упрай, откусив и выплюнув мокрый кончик папиросы.

— Снег идет, вот и все дела, — проворчал в ответ Нуржан.

— Уже пять дней валит! — подтвердил управляющий и с размаху шлепнул картой по столу, обитому лоснящейся кожей. — На-ка забирай дамочку, — обратился он к партнеру, сидевшему напротив; тот был бухгалтером и по долгу службы проворачивал все финансовые операции аула.

— А мы, начальник дорогой, вот этим козырнем вальтом... — сказал бухгалтер, выкладывая карту.

— Можешь не стараться, почтеннейший, — отвечал Упрай. — Самое большее у тебя еще два вальта. А у нас — три дамочки на руках! А три бабы, запомни, всегда одолеют трех мужиков. — И с этим управляющий стрел со стола деньги и сунул в карман; обернувшись к Нуржану, сказал: — А для тебя, парень, работенка есть. Пошли ко мне.

Заведя Нуржана в кабинет, начальник с деловитым видом уселся на свое место и молвил:

— Вот и в жизни так.

— Не понимаю, о чем вы, — сказал Нуржан и опустился на один из распатанных стульев, стоявших у стены.

— Да про этих дамочек я, парень. Бабы — они всегда любого мужика заездят.

— Это точно, — согласился Нуржан.

— Эй, а ты почему знаешь? — удивленно спросил Упрай. — Вроде бы еще не нюхал бабы.

— Да вот сужу, на вас глядя...

— Ну ладно, давай о деле поговорим, — перебил парня начальник. — Собирайся в дорогу. Предстоит тебе поездка... —

Он прикурил и непотушенную спичку швырнул в ведро для мусора; метко брошенная спичка точно попала в цель — и задымилась, занялась смятая бумага; Нуржан бросился было тушить, но Упрай хладнокровно остановил его: — Не трожь! Пускай горит.

— Так ведь сгорим, ага!

— Не сгорим. А если и сгорим, сидя в снегу по пояс, то прославимся на весь мир... Ну, парень, слушай...

— Слушаю, ага.

— Бери еще двоих, кого хочешь бери, и отправляйся на Айыртау за сеном.

— Что, уважаемый, кроме меня, некому и смотаться в Айыртау? Мало я осенью там грязи нахлебался? Нет уж, что хошь, а моего согласия нету.

— А этого, уважаемый, мы у тебя и спрашивать не станем. Кончай трепать языком и беги домой, собирайся в дорогу. Если не надеешься на свой трактор, бери любой «ДТ» — пожалуйста! Я разрешаю. — И с этим Упрай завершил разговор и вдруг страшно раскашлялся. — Эх, проклятье, прицепился собачий кашель, першит в горле, — прохрипел он.

— Горячего масла нужно вынить, — посоветовал Нуржан.

— Что ж, тогда мне надо двигать домой, — отвечал Упрай. — Попросить жену, чтобы скорее масло растопила.

И он двинулся к выходу, но у порога был остановлен окликом Нуржана:

— Оу, почтеннейший!

— Чего тебе еще?

— Хочу вам сказать...

— Говори, дьявол, сразу, а не тяпи кота за хвост.

— Ладно. Так вот: я не поеду.

Упрай, должно быть, не сразу понял.

— Чего? Куда не поедешь?

— А туда не поеду. За сеном в Айыртау.

— Что?!

— Посылайте других. Я у вас как тот иноходец, у которого от хозяйской любви спина не просыхает. Чуть что — так сразу меня и суете. Кажись, я в ауле не единственный, кто умеет на тракторе ездить. Каждый второй может баранку крутить.

— Ну, хорошо, — ответил управляющий и, задумчиво потупившись, прошел назад, к своему «тронному месту». С необычайной серьезностью полез в карман, достал папиросы и закурил. Спичку опять бросил в ведро, но на этот раз она не

достигла цели. Затянувшись, управляющий не успел вынуть дым и в ту же секунду грохнул кулаком по столу и привскочил с места — дым вместе с криком вылетел изо рта, словно из дула ружья... — Нет, вы только послушайте этого баламута! Да у меня от твоих слов мозги набекрень стали, дьявол! Хочешь знать, кто ты есть на самом деле? Хочешь? Так вот: ты у нас самый-самый передовой механизатор во всем районе. Запомни это! Не «каждый второй», а самый первый, понял?

— Понял. Значит...

— Постой! А что ты понял? — перебил Упрай парня.

— Что мне не надо ехать в Айыртау. Передовых ведь берегут, в опасное место не посылают.

— Ах, мать твою и отца твоего!.. Каков пустобрех!

Откусив мокрый кончик папиросного мундштука, управляющий в сердцах выплюнул его далеко в сторону — такова была его привычка, всегда явствующая, что начальник гневается или волнуется. И по количеству белых папиросных ошметков, разбросанных на полу в кабинете, можно было считать, сколько раз за день гневался Упрай...

В полутемном кабинете наступила тишина: оба молча сидели на своих местах. В небольшое окошко видно было, как бесшумно бушует снегопад. Весь мир словно был погребен тишиной, и лишь голоса мужчин, доносившиеся из соседней комнаты, нарушали эту тишину. И совсем неожиданно для Нуржана управляющий вдруг присмирел, словно бы даже оробел перед ним.

— Ну, ладно. Кончай лясы точить, сынок, — сказал он спокойно. — Иди домой и собирайся в дорогу. У предков наших была поговорка: «Язык что помело...»

— А еще они говорили: «Шапка идет и дураку, а ум — старику».

— Может быть, и так говорили, кто его знает. Деды наши остры были на язык, как же, — мирно согласился управляющий и, поднявшись, снова устремился к двери.

— Оу, начальник! — снова остановил его Нуржан.

— Что еще вспомнил?

— Один закон физики. Сила воздействия всегда равна силе противодействия. Но вы все равно этого не поймете. Одним словом, посылайте кого-нибудь другого в Айыртау. Я не поеду.

— Значит, ты решил теперь мне противодействовать, так надо тебя понимать? Эх, десятилетку закончил, а ничего путного из тебя не получилось. Даже счетовод не вышел из тебя,

и туда же... А у меня, хотя и пяти классов нет за плечами, двадцать лет уже народ ходит по струнке.

— Зато что вы знаете о формуле Герона? О законе тяготения Ньютона? О внутреннем строении лягушек и ящериц? О Мухтаре Ауэзове? Абасе? Джамбуле? И где находятся Парагвай, Уругвай? И сколько на земле океанов?

— Ну, замолотил! — Упрай заткнул уши. — Подумаешь, какие великие знания! Кому не известно, что твоему Ньютону на голову свалилось яблоко и он с перепугу проснулся ночью? А у Абая было две жены, так он еще заглядывался на молоденькую сноху, вот он и бегал с места на место... Все это и мы знаем. А насчет того, где находится Уругвай, я не могу сказать, конечно, зато знаю, где находится Бурундай — там живет моя старшая дочь, и в позапрошлом году я ездил туда.

Нуржан схватился за живот. Упрай, глядя на смеющегося парня, махнул рукою.

— Ну и молодежь пошла... Вырождается наше древнее семя.

— Вырождается, ага, — согласился Нуржан. — Сорта плохие пошли.

То ли нечего было ему сказать в ответ, то ли вспомнив о чем-то, Упрай задумчиво смотрел в окно.

Снег сыпал и сыпал. Голоса в конторе смолкли, и настала невыносимая, тоскливая тишина. Но продлилась она недолго.

— Чего мы только не видели, — вздыхая, молвил Упрай, и его смуглое лицо, казалось, совсем потемнело и постарело. — Да! Чего только не видели... И вот довелось остаться в живых да потолковать с дорогими потомками. С преемниками нашими, у которых бредовые слова на устах. Которым, кажется, по сто лет уже... А казалось бы — чего им не хватает? Еда на столе, одеты, обуты. Живи радуйся...

— Ладно, ладно, ага, чего там, не надо унывать, — перебил его Нуржан, улыбаясь. — Поеду я, так и быть.

— Эх, чтоб тебе! — вскинулся Упрай. — Давно бы так! Выходит, даром про тебя в газете писали, что передовой комсомолец. А я, признаться, вначале долго думал, что у тебя такого передового... Но, видно, ошибался я.

— Но у меня будут условия, — сказал Нуржан. — Три условия.

— Выкладывай! — Вскочив с места, управляющий направился к Нуржану. — Надеюсь, они выполнимы.

— Первое: одним из помощников должен быть Аманжан.

— О аллах! Забирай большеротого! Можешь его и оставить там, в Глубинном крае, никто по нем плакать не будет.— И, высказав это, Упрай с довольным видом заржал.

— Вторым помощником беру Бакытжана. Парень он толстый, румяный, будет у нас вместо печки.

— На кой он тебе, этот тюфяк? — удивился Упрай.— Поездка будет нелегкой, там жигиты нужны. Снег видишь какой. Зима суровая. Призрак Снежной девушки, говорят, является на тех дорогах, предвещая голод и джут.

— Ничего! Снежная девушка нам не страшна, ага. Боюсь только, что все это одни выдумки.

— Небось если бы правда была, то жениться бы на ней захотел, а?.. Ну, ладно! Давай выкладывай третье условие.

— Дадите мне, уважаемый, ваш полушубок, шапку эту выдровую и вот эти валенки. Если вернусь целым и невредимым, то все отдам обратно.

Упрай добродушно рассмеялся:

— А может, тебе еще кальсоны мои и рубаху нательную дать? Похоже, парень, ты и на самом деле решил сватать Снежную девушку.

* * *

В контору заглянули Бакытжан с Аманжаном. Обо всем договорившись, все четверо вышли на улицу. Прощаясь с парнями, управляющий сказал:

— Мне жалко вас посылать, но что делать, дорогие? В совхозе соломинки, чтобы поковыряться в зубах, и той нет. Три года засухи! Совсем измучилась скотина. Если еще год протянется такое — ни одной головы не уцелеет. Тогда всем нам, почтенные, придется тоже протягивать ноги...

Снег, казалось, повалил еще сильнее. Порою пушистые хлопья его летели так густо, что за ними ничего не было видно. Белая мгла бесшумно оседала сверху, перекрашивая в белый цвет все, что было на земле. Люди, облепленные снегом, постепенно становились похожими на снеговиков. Вспорхнув у самого лица, пушистая снежинка села на ресницы Нуржана и не растаяла, а затрепетала и рассыпалась, когда он заморгал глазами. Тихо было на дне белого мира, куда медленно опускался его холодный густой осадок.

— Ну, чего стоим? — нетерпеливо воскликнул Аман-

жан. — Пойдем ко мне бузу пить. Как раз поспела буза — шибает в нос.

— Надо идти собираться, — ответил Нуржан.

— А чего там собираться? Заведем трактор, сядем и поедем прямо к Снежной девушке. Слышали, наверное, какие сказки про нее рассказывают?

Упрай давно ушел, и, кроме троих парней, никого не было на улице. Даже псы, обычно путавшиеся под ногами, исчезли куда-то, словно перебили всех до одного. Не слышно было ворон, чье карканье во всякое время дня нарушало деревенскую тишину. Снег, один лишь снег! На земле, в небе. И посреди этого снежного океана медленно идут трое друзей. Когда они уже подходили к дому Аманжана, перед ними возник из белой мглы всадник, едва различимый, словно призрак. Нельзя было разобрать, какова масть лошади, мокрый круп которой был облеплен снегом. Крутые бока ее ходили от запаленного дыхания, из ноздрей валил пар. Верховой привстал на стременах и хрипло крикнул:

— Эй, не видели Упрая?

— Сейчас только домой пошел, — отвечал Нуржан. — А вы куда так спешите?

— Ах, отца его... будь он неладен, — мрачно ругнулся человек.

— Кого это вы так кроете, уважаемый? — полюбопытствовал Аманжан.

— Всех! Чтоб им пусто было! Овцы гибнут! Три дня назад еще трактор просил, чтобы снег расчистили на пастбище, а где он, трактор? Был сейчас у тракториста дома, а он пьяный валяется! Машину снегом завалило, как могилой, и дети устроили там горку! Ребятки, — взмолился чабан, — выручите! Из своего кармана заплачу за работу! Поедьте, а? Наряд вам закрою, что пятьдесят квадратных километров снега расчистили. Что хочешь подпишу вам, ребятки!

— Не можем, ага! Нас самих в Айыртау за сеном гонят, — отвечал за всех Нуржан.

— О аллах! Чего я время только зря теряю?! Пять-шесть овечек сдохло, наверное, пока я здесь с вами... — с отчаянием вскричал всадник, взмахнул камчой, огрел лошадь и умчался в снежном вихре — лишь пар взвился над тем местом, где только что был его разгоряченный конь.

А снег шел и шел.

У Аманжана мать была самой молчаливой женщиной на свете. Никто еще не слышал, чтобы она сказала кому-нибудь, мол, зайдите к нам или как поживаете, — хоть

какое-нибудь приветливое слово. Посмотрит исподлобья, беззвучно пошевелит губами и прочь отойдет. Даже не по себе становилось при встрече с нею. Но, хотя и не водилась ни с кем, удивляла она аул безотказностью в одном деле: вязала всякому, кто только попросит, чулки, шаль или свитер, варежки. И большую часть дня просиживала над вязаньем, забросив все домашние дела. Сын ее, Аманжан, часто ругал ее, считая, что люди пользуются необъяснимой простотой и безотказностью его нелюдими матери, но Ундемес-шешей, Молчунья, не отвечала ему и продолжала заниматься своим любимым делом. И лишь изредка, в минуту полного уединения, она принималась напевать что-то печальное, невнятное и красивое; крупные слезы капали тогда на бесконечное ее вязанье.

Эта женщина была из чужих краев. Приехала она откуда-то со стороны Айыртау, и о ее прошлом никто не знал в ауле. Аманжана она принесла за пазухой, а теперь он вымахал в здорового жигита. Такой, как говорится, пнет железо — и напополам... И правом был не в мать — строптивый, дерзкий. Отец его был неизвестен, носил он материнскую фамилию. Когда Аманжан подрос и смог задать матери очень важный для себя вопрос... «Где отец?» — она лишь коротко ответила: «Погиб на войне...»

Что ж, война многое напутала в мире. Явила людям, что в жизни не так просто определить хорошее и плохое. Многих она обвинила, а многих и оправдала. Многое скрыла в себе и навеки утаила. Так Аманжан, родившийся в сорок шестом году, не мог понять, каким образом отец его погиб на войне, которая кончилась, как известно, в сорок пятом. Но об этом никто особенно не допытывался, ибо подобных несоответствий с рождением детей, отцы которых якобы погибли на фронте, было немало в ауле. Война, как говорится, списывала все.

Молчунья сидела в углу комнаты и пряла шерсть. На приветствие парней, топтавшихся возле порога, стряхивая с себя снег, ответила беззвучным шевелением рта — и ни слова.

— А-а... не глядите на нее, — сказал Аманжан, — она ведь у меня каменная. — И он полез за печь, вытащил деревянный ушат с бузой.

Ундемес-шешей лишь пристально посмотрела на сына. Нуржану было стыдно за грубость и пренебрежение, открыто проявляемые Аманжаном по отношению к матери. Он потупился и стиснул зубы.

И вот, сидя за круглым низеньким столиком, парни пьют хмельную бузу, густую, с хлебным привкусом.

— Хорошо-то как! — говорит Бакытжан, утираясь рукавом. — В животе аж запело от радости. Может, возьмем с собой в дорогу?

— Сказал... Да ведь замерзнет на морозе, — возражает Аманжан.

— Ох, не хочется мне соваться в эту дыру, — признается Бакытжан. — Из-за вас только и согласился. Все же вместе учились десять лет, вместе собак гоняли.

— Да и мне что-то неохота ехать, — подхватывает Аманжан. — А ты, Нуржан, был ведь там осенью... Говорят, люди в тех краях нехорошие.

— Люди неважные, — ответил Нуржан. — Тогда мы чуть не замерзли, никто нас к себе не пускал. Еле до дома добрались... А ехать все равно придется. Согласились ведь...

— Буза твоя мне в башку ударила, — сказал Бакытжан, рыгая.

— Рахмат! — поблагодарил Нуржан. — Теперь пойдем домой, собираться надо. А я как знал — велел своим баньку затопить.

— Позови, как будет готова, — наказал Аманжан. — Перед дорогой не грех и попариться.

Когда уходили гости, хозяйка не ответила на их прощанье, как не отвечала и на приветствие. Словно ничего не слыша, Ундемес-шешей пряла шерсть.

У Нуржана мать тоже была безмужней — осталась с молодых лет вдовой. Двое детей ее — сын и дочь — были совершенно не похожи друг на друга. Нуржан — жигит смуглый, курчавый, черноволосый, а сестра его — белолицая, с серыми глазами. По этому поводу сплетни по аулу ходили разные, и в детстве Нуржана часто дразнили... Он однажды спросил у матери, где его отец, на что получил обычный незамедлительный ответ: «Погиб на войне...» Хотя он, как и многие, тоже родился в сорок шестом году. Так что впоследствии способен был понять, что к рождению ему подобных и к их безотцовщине отношение имели не погибшие солдаты, а те, которые вернулись живыми с фронта.

И у Бакытжана, мать которого получила похоронку еще в годы войны, отцом был, наверное, кто-то из ныне здравствующих и, может быть, хорошо знакомых ему людей аула. Но кто? Проклятая война смогла и таким образом осиротить детей.

Узнав, что сын собирается позвать в баню друзей, мать Нуржана возмутилась сначала:

— Да что у них, матерей своих нет, что ли? Руки у них отсохнут, если затопят баню? Небось сиднем сидит эта Ундемес-шешей, словно младенец на овчине, и делает под себя, ленясь выйти на двор. Знай шерсть теребит, а о сыне ведь не подумает! Бедняга, как он только терпит такую мать? Уж пускай идет да помоемся, жалко ведь парня, — неожиданно завершила она.

И вскоре трое жигитов, забыв о нескончаемом снегопаде, о белых мухах, реющих в холодной мгле, мылись в крошечной бревенчатой баньке, вскрикивая, покрикивая от блаженства. Натирали друг другу спины, весело болтали, смеялись. Начали париться, взяв по березовому венику; плеснули на раскаленные камни воду из ковша и, когда обжигающий пар взметнулся к потолку, принялись яростно нахлестываться мокрыми вениками. Самым стойким оказался Аманжан, и когда двое его приятелей с криком «ойбай» отступили к двери и припали головами к порогу, детина вновь плеснул воды на горячие камни и стал что есть силы лупить веником по своему горячему телу. Нуржан и Бакытжан, распластавшись у раскрытой двери на полу, хватали ртами холодный воздух, словно рыбы, вынутые из воды.

— Ух, здоров париться! — крикнул Бакытжан. — И брат его Жанузак такой же. Наденет рукавицу — и давай хлестаться. По пять часов из бани не вылезает... раз пятнадцать за это время пить попросит. Дети его, все десять штук, попеременно бегают от дома к бане, таскают холодный айран.

— Эй, чего раскисли! — заорал на них Аманжан с полка. — Вот как плесну кипятком на голые задницы!

— От тебя, черт, всего жди! — опасливо проговорил Нуржан, споласкивая холодной водою лицо. — Ну как, прошла чесотка? Можно хоть дверь пошире раскрыть?

— Обожди! — задыхаясь, хрипел Аманжан, неистово шлепая себя березовым веником; тело его было в багровых рубцах и пятнах, словно ошпаренное.

Пахучий, перехватывающий дыхание пар рвался из горячей бани наружу. Низенькая алтайская банька, срубленная из лучшего леса, была гордостью и утехой каждого дома в ауле. Не только мылись в бане, но и недуги свои лечили, простуду из тела изгоняли. Дров хватало, топи сколько влезет, раскаляй хоть добела камни! Воду приносили ведрами, грели ее в огромном котле, вмазанном в печь... Бросали в кипящую воду веточку арчи, чтобы

всласть побаниться в духовитом целебном пару. Верили старики в целебные свойства смолистой арчи, а Жанузак, старший брат Аманжана, пользовал от простуды ее растертую кору, сворачивал из нее самокрутку и выкуривал. Люди шутили по этому поводу: стоит, мол, чихнуть Жанузаку, как он хватается за свой арчовый порошок...

— Уа! Хорошо-то как, братцы! — заорал Аманжан, спрыгнув с высокого полка.

Он окатился холодной водою и, налетев на Бакытжана, притулившегося у раскрытой двери, с размаху шлепнул его по влажному задку. Тот с жеребьим визгом отскочил в сторону.

— Ты что, одурел, дьявол?

— Эх! Курдюк у тебя симпатичный!

— Я вот тебе, акри...

— Извиняюсь! — И Аманжан расхохотался. — Приглашаю вас вечером в кино! Бесплатно проведу!

И Бакытжан, громадный жигит, вмиг успокоился и даже просиял от такого оборота дела. Почесывая распаренный зад, на котором четко отпечатались след пятерни, парень с удовлетворенным видом вновь шлепнулся на свое место у банного порога.

Эти трое парней, безотцовщина, чьи безвестные папаши «погибли на фронте», были надежными работниками в совхозе. Исполняли все, на что нарядят их Упрай или бригадир. А зарабатывали, однако, неважно, и не потому, что сами были виноваты в этом. Три года подряд свирепствовала засуха, совхоз работал в убыток. Скот хирел, погибал, себестоимость одного навильняка сена доходила до рубля. Зимы были суровые, корма приходилось завозить издалека — даже с целинных краев. При таких условиях иной работник вообще ничего не мог заработать и к концу месяца кланчил у жены на табачок — из тех денег, что получала она от государства как пособие за многодетность. Невесело шутили при этом: «Рожай, жена, пока можешь. Выручай — от совхоза толку мало, вся надежда на сельсовет». И женщины не подводили: в семьях было по семь, по восемь детей... По сравнению с другими трое молодых неженатых жигитов зарабатывали все же неплохо.

А снег валил и валил — рыхлыми, крупными хлопьями. И непохоже было, что небо может проясниться вскоре. Стало ясно: если снегопад продлится еще хотя бы сутки, то джута не миновать.

Возле клуба крутилась одна беспечная детвора, взрослых не было. Над входом горела тусклая лампа, вокруг которой густо роились снежинки. Чуть в стороне от света и выше чернела непроглядная тьма. Те из мальчишек, что не смогли добыть пятачка на кино, барахтались в сугробе у дверей клуба и, словно развеселившиеся щенята, запрокидывали головы и хватали ртом летящие пушинки снега.

Когда Нуржан вошел в клуб, два приятеля его уже сидели на скамье, крикнули ему издали: «Проходи! Билеты уже взяли!» В зале взрослых было совсем мало: только Жанузак да Кайыр-уста сидели в сторонке, завернувшись в овчинные тулупы. Но эти не пропускали ни одной картины. Впереди, под самой сценой, кипели пацаны, подбрасывали шапки, запихивали друг другу за шиворот снежки.

— Эй, шакалята, потише вы! — шумнул на них Жанузак, но те и внимания не обратили на него.

В холодный клуб ввалилось облако морозного воздуха, и вошли три девушки. То были молоденькие учительницы, направленные в аул после окончания института. Они отработывали уже второй год и, разумеется, были постарше троих жигитов, которые во все глаза уставились на них. Не одарив вниманием парней, учительницы стряхнули снег с пуховых шалей, горделиво помедлили у входа и потом заняли места перед молодыми людьми.

— Как поживаете, старшенькие? — поклонился к ним Аманжан.

— А здоров ли младшенький? — насмешливо протянула одна из девушек, та, что была постройнее и повыше своих подруг.

На этом разговор оборвался, началось кино, и восемь взрослых да с десяток мальчишек уставились на экран, где раскручивался индийский фильм. В оконном стекле, затянутом инеем, кто-то снаружи продул круглую дырочку — засверкал в ней черный глаз. Дело обычное — мальчишки, которым не удалось выклянчить денег у родителей, смотрели кино с улицы, через окно. Так бывало и зимой, и летом. Когда-то и трое жигитов прибегали к подобному способу. Аманжан, раззадорившись, прикрыл шапкой дырочку в окне, и Нуржан немедленно его изругал:

— Оставь! Не стыдно? Сам же был таким.

Аманжан тогда поклонился впереди дерзко ткнул пальцем в спину той, высоконожкой, что отвечала на его приветствие.

— Оу, наставницы и воспитательницы! — произнес он с

деланным смирением.— Дайте своему ученику пять копеек! Неужели вам не жалко его?

Учительницы не шелохнулись, не то не желая, не то опасаясь отвечать этому своенравному жигиту...

А за стенами сельского клуба, где шел индийский фильм, бесшумно продолжался снегопад, какого не бывало в этих краях за последние шестьдесят лет.

* * *

В эту ночь Нуржан долго не мог уснуть. Отлежал себе все бока, не выдержал, встал и, набросив полушубок, вышел из дома. И увидел, что снег наконец-то перестал сыпать. Еще не веря этому и подумав, что, может быть, он ошибся в темноте, Нуржан поднял голову, но на запрокинутое лицо не упало ни одной снежинки. Обрадовавшись, парень пробормотал: «Опомнилась погодка-то», словно старик, разговаривающий сам с собой. Вернувшись в дом, он снова лег в постель, но заснуть так и не смог. В голову лезло всякое. Из горницы доносилось спокойное посапыванье спящих матери и сестры. И никаких других звуков. Полная тишина, глубокая ночь... Только дрема коснулась его затяжелевших век, как тихо скрипнула дверь и в дом вошла девушка в белоснежной одежде. В комнате стало светло как днем. Глаза у девушки, прислонившейся спиной к косяку, светились, словно язычки пламени горящих свечей. Совершенно необъяснимо для себя Нуржан не удивился и не испугался. Не мог он сказать и себе точно, явь перед ним или сон. Шевельнуть даже пальцем был не в силах, лежал будто связанный, и язык точно сковало во рту — не выговорить ни слова. Крупный пот выступил на его лбу. Он знал, что не спит и не видит все это во сне: вот белая девушка стоит перед ним, а вот слышно и похрапыванье матери, которая спит в соседней комнате... Но кто это и откуда она — сияющая в своем белом одеянии? Сердце у него заколотилось и подскочило к горлу — внезапная догадка осенила его. Да это же Снежная девушка! Та, о которой шепчутся по всем углам в ауле. «Она пришла, а я лежу перед нею, — подумал он, — у нее глаза горят, как свечи, а я двинуться с места не могу. Позор! Ведь подумают, что я испугался. Какой стыд! Осрамился-то как!» И вдруг она шепотом: «Нуржан! Нур-жа-ан! Уходи отсюда. Совсем уходи из этого аула. Тебе будет плохо здесь. Ты не будешь счастлив и свободен. Уходи. Хочешь, пойдем со мною... Да, со мною». Но он не мог двинуть ни рукой, ни ногой. О, так

осрамиться!.. Наконец он с трудом перевел дыхание, отер ладонью пот со лба. Вокруг была ночь, темень. Уже с улицы доносился голос Снежной девушки. И слышимое было непонятно: не то звучала песня, полная жалобы и печали, не то плакала и стонала ночная гостья, покинув дом Нуржана.

* * *

Белый-белый снег кругом, белоснежный простор, мертвый, красивый мир, пронизанный лютым холодом, каменные глыбы на перевалах, мохнатые от изморози, гребенчатые острия отрогов, бегущих куда-то вдаль, словно в застывшей погоде друг за другом... Пышные снежные увалы, громоздящиеся один выше другого, без пятнышка жизни, отрешенные, далекие от шума великого человеческого мира. Еще недавно жизнь была здесь ключом, клокотала из благодатных недр земных, а теперь земля укрыта белым сверкающим одеялом и беспamięтно спит, погрузившись в смертный покой, словно пресытившись живым, жизненным, жизнью. Так человек, изведав все радости бренного существования, невольно ищет покоя, забвения и отдохновения. Но в час, когда всходило, ликуя, величественное солнце, весь скованный холодом мир вспыхивал искрами и сверкал, тогда казалось, что Мать-Земля, прячущая в своей холодной груди все печали мира, просыпается, вновь исполняется надежды на будущее и вздрагивает под девятью одеялами ледяного праха. Но вот угрюмые тучи, словно позавидовав красоте дня, беспросветно обложили небо и закрыли солнце; пропал изрезанный край гористой земли, проглоченный серой мутью; и вокруг только снег — этот леденящий душу, нескончаемый, утомительный снег; от него еще острее и беспросветнее кажется одиночество человека; его сердце сжимается, оно сразу стареет на целый век; и, оглядывая сизоватую вечернюю пустыню снежной страны, вдруг почувствует путник великую скорбь и печаль по самому себе, и захочется ему жарких слез над снежной могилой своих надежд, в которой вместе с ними похоронены вся любовь и все отвращение к непостижимому миру добра и зла... Трактор, ревуший мотором, одиноко чернел на снежной равнине, словно жук, ползущий по громадной белой скатерти — праздничному дастархану.

Уже второй день, как покинули они человеческое селение; уже видна издали примета, говорившая, что цель путешествия близка: воп у подножия той белой горы находится сено, заготовленное еще летом; на тракторных саних нужно

перевезти сено в совхоз, и это должны сделать три жигита — Нуржан и двое его помощников.

Сейчас Нуржан ведет трактор, временами оглядывается на сани; мертвенный холод железа чувствуется сквозь подошвы валенок; втянув голову в поднятый воротник короткого полушубка, он неотрывно, жадно смотрит вокруг; но смотреть, в сущности, не на что — один белый снег да безмолвие. Трактор вспарывает гусеницами снег и ровным ходом идет по прямой как струна линии. О чем думают друзья, сидящие возле него? Нуржан не знает, но видит, как их тусклые лица выражают уныние, скорбь и какую-то беспомощную покорность. Словно чувствуют себя обреченными, пустившись в безвозвратное путешествие. Ну а о чем думает он сам, Нуржан? Скорее всего о жизни этой бескрайней снежной страны, о земле, стонущей под игом холода, под тяжким гнетом снегов, конечно же о детстве, которое прошло, промчалось, исчезло вдали. И почему-то хочется сейчас остаться совсем одному, затеряться в этих диких просторах, и шагать, шагать по снегу, отпечатывая в нем белые следы черными валенками, и уйти в царство вечного безмолвия, в беспредельную стужу, и не вернуться больше назад. Пусть ему будет горько в одиночестве, пусть он уснет, замерзнет под снегом и его труп съедят волки, голодные звери студеного края, но ему хочется отправиться в этот недобрый, гибельный путь, ибо печальное безмолвие гор и долин отражало скорбь земли, частью которой был он сам, и если земле его так тяжело в своем сиротстве, то пусть его душа сольется с ее душою в час печали и скорби. И тогда, может быть, выйдет навстречу Снежная девушка, которая и позвала его в этот путь.

Трактор полз вверх по склону Айыртау, одной из многих гор великого Алтая; день клонился к вечеру; небо постепенно очистилось от мрачных туч. Трое жигитов сидели в кабине трактора; не разговаривая, с хмурыми лицами, каждый думал о чем-то своем. Может быть, думы у них были об одном и том же — скажем, о смысле их многотрудной жизни, о том, что все в ней сводится к тому вроде бы, чтобы как-нибудь просуществовать, раз ты появился на свет, — и от этих размышлений становилось грустно. А может быть, то была грусть трех юных душ, едва распустившихся, словно три майские березки, и шелест листы — неслышный шелест несуществующей листы — бережил сердца жигитов, затерянных среди снегов и гор, тревожил отзвуком протяжной, невнятной песни. И эта песня-плач, этот лепет листы бере-

зы в ветреный день, эта невысказанная грусть-тоска звенят в душе у каждого, а вокруг лишь снег да снег, нигде глазу отдохнуть, и грохочет, лязгает трактор, и царит лютый холод над миром. Но вот и сумерки сгустились, исчезли белые дали, проглоченные мглой, и небо украсилось звездочками. Словно пошла веселая огненная потеха в небе — звезды перемигивались, то разгорались ярко, то исчезали. Молча любовались жигиты ночным небом, по-прежнему не разговаривая, точно испытывая вражду друг к другу. Свет включенных фар осветил во мгле длинный коридор, уходящий в неведомое; с темно-синего неба брызнул звездный дождь.

* * *

Холод, поднимавшийся снизу от железного пола, стал отдаваться в висках ломотою и тихим звоном. Нуржан, вздрагивая от холода, с отвращением смотрел на новые и новые однообразные гребни перевалов, возникающие перед ним в свете фар. Он видел не раз эту зимнюю пустыню, не раз и преодолевал ее, но никогда еще не было ему так тяжело на душе, как теперь. Он вдруг понял, что мир тоже одинок, так же беспомощен, как и человек. И не было в природе хозяина, устанавливающего надежный порядок. Мир обретался сам по себе — заброшенный и случайный. И в этот безразличный мир кинулся он по своему молодому безрассудству, отправился в опасный путь, отринув покой и тепло обычного существования. Все, что толкало его на этот путь, теперь, среди бескрайних снегов, казалось пустым и никчемным. Иная действительность раскрывалась здесь в снежном плену. Они, три человека, оказались узниками холодной тюрьмы, где нет печи и не разводят огня; и ничего теперь нельзя было изменить. Единственная надежда была связана с могучим «ДТ-54», который с густым ревом мчался вперед, ломая твердый наст и светом фар раздвигая надвое стену тьмы. Уже второй день трактор был домом, верным кораблем для трех жигитов. Вчера они переночевали в ауле Фадиha, а сегодня должны заночевать на перевале Конкая.

Месяц еще не вышел, и небо сбрызнуто лишь светом звезд, но под ним таинственно и жутковато светились снежные гребни гор. И вскоре — столь же потусторонне и злое — засветился одинокий огонь на дальней высоте. Тяжелый «ДТ-54» изо всех сил карабкался к этому огню, и рев машины, казалось, нарастает лавиною по мере того, как сгущается ночь и ширится тишина. Взгляды троих жигитов не

отрываются от этой одинокой яркой искры света — звезды, упавшей на горный перевал.

Вот наконец «ДТ-54» влез на перевал, повел лучами фар — и впереди обозначился бревенчатый домик, заваленный снегом. Дернувшись, машина остановилась. Смолк лязг гусениц. Нуржан сбросил газ и вопросительно посмотрел на товарищей. Но те сидели, сами не зная, что делать. Из дома никто не выходил. Трактор мирно урчал на малых оборотах, но шум мотора всё же мешал говорить спокойно, и Нуржан крикнул на ухо Аманжану:

— Надо в дом зайти! Может, пустят переночевать!

— Чего орешь? — отшатнувшись, свирепо ответил Аманжан. — Оглушил совсем, акри!

Напротив них сидел, завернувшись в шубу, Бакытжан; но, кажется, он спал и не слышал ничего. А в доме по-прежнему было тихо, лишь из сарайчика, где, видимо, содержалась скотина, доносились перханье и блеянье овец да слышно было, как пофыркивает лошадь. Аманжан ковырнул пальцем в ухе и заявил:

— Я оглох. Из-за тебя.

— Ничего. Зато после будешь слышать лучше, — рассмеявшись, отвечал Нуржан.

Они подули на руки, потеряли уши, застывшие на морозе.

— Может, отрезать мне ухо и слопать его, — сказал Аманжан, — если в этом доме есть кто-нибудь живой... Жрать-то тебе, наверное, хочется?

— А лампа почему горит? — возразил Нуржан.

— Это не лампа горит, а глаз дьявола.

— Ладно. Мы на перевале Конкая. Нам ведь вчера в Фадихе говорили, что здесь зимует старик. Он и должен быть в этом доме.

— Ну иди ищи его. Может, и Снежную девку встретишь.

Нуржан собирался выпрыгнуть из кабины — и вдруг замер, вспомнив свое ночное видение. Он вовсе забыл о нем и совершенно неожиданно вспомнил сейчас, в эту минуту... Белое платье... Протяжная, печальная песня...

— Она ушла и запела, — пробормотал Нуржан.

— Кто ушла? — уставился на него Аманжан, схватившись за рычаги трактора.

— А голос был какой!.. И песня... Я слышу ее и сейчас.

Аманжан схватил его за плечи и силою усадил на место. Тот приподнялся было, но Аманжан вновь усадил его.

— Сиди! Ты что, бредишь или тронулся малость? Заладил как сумасшедший: песня, песня!..

— Я правду говорю, Аманжан, — тихо отвечал жигит. — Я видел ее... словно в сказке побывал. Помнишь кино «Одиссей»?

— Чего не помнить, если я платил тогда двадцать копеек! — рассмеявшись, сказал Аманжан. — Так ведь было, а?

— А помнишь тот самый звук, от которого мороз по коже продирает? Помнишь?.. Так вот, песня была почти такая же... Слушай! — вскрикнул он, подняв чумазую руку. — Слушай, если ты и на самом деле не оглох!

Но не мог знать жигит, что слышать этот голос дано лишь ему одному. Толстяк Бакытжан храпел, и никакие Снежные девушки, голоса и песни, забота о том, где переночевать да где обогреться, не волновали его. Аманжан почему-то рассердился на мирно спящего увальня и пнул его в бок мерзлым носком валенка.

— Вставай! — заорал он. — Вставай, будь ты проклят!

Но Бакытжан лишь всхрапнул, пробормотал что-то под нос и не проснулся.

— Вот уж колода, — усмехнулся Нуржан, глядя на него. — Такой долго проживет на свете, а? Эй, голубчик!

— Да кончайте вы, я слышал, акри! — сказал Бакытжан, открыв глаза и потягиваясь.

— Что ты слышал, ну?

— А то... Снежную девушку слышал! Да! И какой у нее голос, могу сказать. Аж плакать хочется от него, акри! Вот какой голос!

Они сидели в кабине, выглядывая сквозь заиндеветшие окошки; трактор мерно постукивал мотором; трактор грохотал возле самого крыльца, а во дворе никто не показывался, словно и впрямь в доме все вымерли. Не могло быть, чтобы живая душа не заинтересовалась таким необычным гостем, как грохочущий трактор у порога, здесь, на перевале, ночью...

А между тем мороз крепчал — или без тряски и грохота езды он попросту стал заметнее? Жигиты вскоре продрогли, застучали зубами в такт мотору. Но бревенчатая хижина, придавленная огромной шапкой снега, не хотела ничего знать о них и хранила молчание, тускло мерцая светом окошка.

— Что-то страшно стало, акри,— сказал Бакытжан и с головою завернулся в шубу.

Когда здоровенный Бакытжан, дурачась, сжался в комок у ног Аманжана, он опять пнул приятеля валенком в бок.

— Эй, заткнись ты со своим «акри»! — набросился он на толстяка.— Лучше сбегай посмотри, кто там в доме. Иди постучи в окно.

— Сам иди, герой! — отказался Бакытжан.— А меня не трогай! Мне жить не надоело, а запасной жизни у меня нет.

— Ладно! Пойдем все вместе,— вмешался в их спор Нуржан.— Если там есть кто-нибудь живой, то объявится.

И они не торопясь, нехотя покинули насиженное место и полезли из трактора.

— Мотор заглушить? — спросил заинтересованно Бакытжан, надеясь, что в этом случае он может еще задержаться в кабине...

— Не нужно,— отвечал Нуржан,— пусть поработает. Посмотрим, может, придется еще вернуться ни с чем.

Аманжан выпихнул толстяка и сам спрыгнул следом на землю. Там, где они высадились, снегу было выше колена. К дому направились гуськом, след в след, и Бакытжан, ковылявший сзади, остановился и заскреб в затылке.

— Не нравится мне чего-то этот домик,— сказал он.— Ишь притаился, как пес, готовый укусить... Нет, ребятки, вы как хотите, а я не пойду, лучше подожду вас в тракторе.

— Придержи язык! — обернувшись, насмешливо прикрикнул на него Аманжан.— Нужен ты кому-то! Для чего волку железка...

Возле домика они нерешительно остановились. По-прежнему ничего, кроме постукивания мотора, не было слышно. Взошла над рваными зубцами Айыртау луна, слабая тень легла от избушки на снег. Во дворе не было даже собаки — и дом без собаки, одиноко торчавший на горном перевале, производил совсем уж тягостное впечатление.словно бесприютный сирота, изгнанный людьми... Станный, таинственный дом, заброшенный в дикий первозданный край, куда, кажется, не ступала еще нога человека. В наше время, когда люди уже выбрались в космос, встречается еще, оказывается, такое на земле; жилище отшельника... хижина охотника.

Бакытжан попятился бормоча:

— Страшно, черт... Я боюсь... боюсь.

— А ты не бойся, парень! — вдруг прозвучал вблизи низкий рыкающий голос.

Жигиты так и присели от страха. Бакытжан вцепился в Нуржана. Словно из-под земли, перед ними возник рослый старик, лохматый, сивобородый. Он был в белом исподнем — в рубаше и кальсонах. Волосы и борода развевались на ветру. Босые ноги утопали в снегу. При свете месяца, залившим двор молочным сиянием, старик казался призраком, духом ночи, возникшим из лунного света. И вид босого старца, стоявшего в одном нижнем белье на снегу, был фантастичен и ужасен.

— Ассалаумагалеюкум! — в три голоса испуганно приветствовали его жигиты.

Старик приблизился к ним, утопая босыми ногами в снегу, и внимательно, сурово уставился на парней.

— Ну, здравствуйте! — рявкнул он, произнеся приветствие по-русски. — Откуда, незваные гости?

Лишь теперь жигиты уверовали, что перед ними не дух и не призрак, восставший из могилы, а обычный человек с головою, с руками и ногами. И Бакытжан, душа которого едва не покинула тело, набрался смелости и спросил робко:

— Аксакал, вы русский человек или казах?

Старик странно усмехнулся и, не ответив на вопрос, сам спросил, нарочно коверкая язык.

— Твоя куда идет? — произнес опять по-русски.

Жигиты, несмотря на необычное поведение хозяина, теперь почувствовали себя гораздо увереннее. Аманжан выступил вперед и с достоинством произнес:

— Отец, может быть, разрешите нам в дом войти? Там и поговорим обо всем. А то здесь холодно...

— Ладно, — ответил старик. — Заходите.

И он направился через двор, загребая снег босыми ногами. Бакытжан впритруску засеменил вслед за ним. Аманжан придержал Нуржана и тихо сказал:

— Не надо глушить трактор... Какой-то он чудной, этот старик. Босиком бегает по снегу... Чего-то я все же боюсь.

— О, длинный, ты тоже, оказывается, можешь бояться! — рассмеялся Нуржан и, не слушая его, влез на трактор, выключил мотор, затем отвернул пробку радиатора и спустил горячую воду в снег.

— Ну, смотри, не говори потом, что я не предупреждал, — мрачно пробормотал Аманжан. — Чует мое сердце неладное... вот увидишь. — И он скрылся в избушке.

Нуржан остался один во дворе. Когда смолкло могучее

урчание трактора, весь горный подлунный мир словно вздохнул с облегчением и мгновенно погрузился в предвечернюю тишину. Снежная ночь, посеребренная луною, раскинулась на горных увалах, словно нагая красавица, охваченная глубоким молодым сном и сонно выставившая всему миру на погляд свою потаенную прелесть. Месяц и земля, одетая в подвенечный наряд, наконец сошлись в ночном свидании, и настал час тихих страстных вздохов любви. Так бы мог сказать Нуржан, зачарованный ночной тишиною, наставшей после того, как смолк трактор; таковы были чувства молодого жигита, душа которого была смущена далеким призывом Снежной девушки. Ему захотелось лечь лицом в белый снег, закрыть глаза и еще сосредоточеннее вслушаться в холодное безмолвие. И вдруг явственно прозвучало в нем:

Я замерзла в холодном снегу.
Здесь цветок превратился во льдинку.
Но тепло я в себе берегу,
Горяча еще жизни кровинка...

Кто-то невидимый нашептывал эти слова Нуржану, и он остановился, позабыв, где он и что с ним, застыл на месте, словно ледяное изваяние, и лицо у него побледнело на свирепом морозе — таким его, бледным и неподвижным, увидел Аманжан, выглянув из дверей избышки.

— Ты что, богу молишься, что ли? — крикнул Аманжан. — Заходи скорее!

Изба старика была в один сруб, парашена в южную сторону темными сенями. К двери, которую еле нашарил руками Нуржан, вместо ручки была прибита ремешная петля. Когда он вошел, все скрылось в клубах пара, шибанувшего до противоположной от входа стены. В избышке жарко натоплено, с мороза это особенно заметно. Теплая вонь отдавала затхлостью и гнилью. Стены не были обшиты, из пазов сруба свешивался мох конопатки; всюду висели и валялись звериные шкуры; прибиты к бревну оленье рога, из досок срублены нары, над которыми висели набитый патронташ, двустволка, бинокль и прочее охотничье снаряжение. Справа от входа громоздился деревянный сундук, на котором синим пламенем мерцала керосинка; над сундуком тянулась грубая полка, заставленная кое-какой посудой. А слева — дышавшая огнем железная печурка, бока которой малиново светились. Возле печки стояла низкая деревянная лавка, на ней и расположились Аманжан с Бакытжаном, словно двое обвиняемых на скамье подсудимых.

Будто не замечая ночных гостей, старик заученно обиходил: совал дрова в печь, подливал керосину в лампу, ставил чайник на печку. И лишь негромкий шум его работы нарушал тишину. Наконец Аманжан не выдержал — нетерпение было в крови этого жигита.

— Ата! — громко позвал он. — Попить у вас найдется? Попить бы, я говорю.

Старик и ухом не повел. Развалясь на нарах, достал патронташ и стал проверять патроны, вынимая их из гнезд. Пустые откладывал в сторону.

— Эй, пить хочу! — сердито крикнул Аманжан.

— Ну, чего орешь? Я не глухой, — спокойно отвечал старик. — То замерз, а то пить ему подавай. Иди вон за дверь да снегу похватай, коли пить хочешь. Его много, снежку-то...

Опять настала тишина. Жигиты сидели одетые, ибо никто им не предложил раздеться, и вскоре им стало нестерпимо душно. А хозяин занялся набивкой пистонов в пустые гильзы — и столь деловито, словно никаких гостей в доме не было. Закипел чайник, забрякала на пару крышка. Не вынося больше жары, парни принялись снимать шубы, не дожидаясь приглашения. Бакытжан, способный спать и на морозе, здесь, в тепле, совершенно расклеился и стал ронять голову на грудь. Но на все это хозяин ровным счетом никакого внимания не обращал. И тогда Нуржану пришлось начать унизительный разговор:

— Отец, мы устали с дороги. Можно спать ляжем?

— Спите, — ответил старик.

— А куда нам ложиться? — вскочив со скамьи, крикнул Аманжан. — Куда, можете сказать сами? Или за язык надо вас тянуть, аксакал?

Старик спокойно взглянул на него.

— Ты чего расфыркался, милейший? — усмешливо осведомился он. — Не нравится у меня — вот бог, а вот порог, ступай и прикрой дверь с той стороны. Небось не за моим сеном едешь. Так что приткнись, где сидишь, и спи себе. Пуховой перины для тебя не припас еще.

Аманжан яростно пробормотал, обернувшись к Нуржану: «Вот же старый пес!»

— Ну ты! Болтай у меня! — прикрикнул на парня старик. — Благодарю бога и за это. — Он упруго, словно молодой, спрыгнул с нар; достал откуда-то ситцевый мешочек и, взяв оттуда щепотку чаю, бросил в кипящий чайник.

Жигиты растерялись. Молча смотрели на то, как хозяин поставил на широкий сосновый пенёк, заменявший, очевидно,

стол, одну пиалу, одну ложку, ломоть хлеба, кусок холодной дичины, молоко в чашке и принялся прихлебывать забеленный молоком чай, не подумав даже пригласить к столу гостей. Самый жадный до еды, Бакытжан, заснул и не видел всего этого; зато друзья его, не евшие со вчерашнего вечера, глотали слюнки и дрожали от ярости.

Аманжан (*не выдержав*). Эй! А нас не пригласите ужинать? С утра не жрамши...

Старик. А ты куда ехал? К отцу на именины? Надо было харчей захватить.

Аманжан. Казахи говорят, что еда путника лежит на дороге.

Старик. Пусть казахи говорят, а я не казах! Так что гоните по пятерке за ночлег! Пять рублей за душу. Ну?

Аманжан (*присвистнув*). Ойбай! Где вы видели казах, который с гостя деньги берет? Пять рублей! Подумать только!

Старик. Я вам, кажись, по-казахски сказал, что я не казах. Не поняли, что ли? Я вообще никто, я сам по себе. Так что гоните денежки.

Нуржан (*вскакивая с места*). Пусть вы не казах и не русский, но ведь вы же человек! Откуда у нас деньги? Ведь за сеном в горы едем! Уж вы извините, аксакал, но у нас и копейки нет за душою. Все наше — на нас. Поехали, понадевшись на добрых людей, на обычаи нашего края.

Казалось, после таких слов должно пронять любого человека.

Аманжал. Можешь потрясти нас, как мешок, — и г... не вытряхнешь, аксакал! Потому что с самого утра в животе у нас пусто!

Старик (*Нуржану*). В таком разе скидывай пимы! Новенькие, никак?

Парни разинули рты. Чего-чего, а такого они не ожидали. Бакытжан, к своему счастью, ничего не слышал, ничего не видел — он храпел, приткнувшись головою к бревенчатой стене.

— Во дает! — воскликнул Аманжан, вновь присвистнув. — Ну и аппетит у старого кобеля! — И тотчас понял, что сказал лишнее.

— Ублюдок! — взревел старик, глаза которого полыхнули огнем. — Прикуси язык, а то живо укорочу!

Аманжан, казалось, только и ждал этого. Он вскочил и кинулся на хозяина словно барс.

— Я тебе покажу, кто ублюдок!

Не сдвинувшись с места, старик перехватил летящий в его голову здоровенный кулак жигита, рывком завернул ему руку и, не суетясь, ткнул того в висок. Неуклюжий, но страшный удар отбросил парня в сторону и опрокинул на спящего Бакытжана. Тот спросонья испуганно завопил:

— Ойбай! Что случилось, акри? Чего спать не даете?

Нуржан, растерявшись в первое мгновение, опомнился и вскочил на ноги, однако старик опередил его — схватил ружье и наставил на парня.

— Ну-ка скидывай пимы! — приказал он, люто уставясь в глаза Нуржану. — Не то сделаю из тебя покойника!

— Аксакал, а в чем же я буду трактор гнать? — стараясь говорить вежливо, осторожно отвечал Нуржан. — К тому же это не мои валенки...

— Вижу, что чужие. Разве у голодранца могут быть такие? Наверное, стащил у кого-нибудь. Теперь они будут мои, а тебе я дам... Не бойся, босиком не оставлю.

И, продолжая целиться в них, старик отступил к сундуку, пошарил за ним и выбросил один за другим два стоптанных валенка — один черный, другой грязно-белый.

— Бери! В этих не замерзнешь! — крикнул он.

Нуржану пришлось снять свои и, тоже по одному, кинуть под ноги старику. Но этим обменом дело не завершилось...

— Чего тебе еще надо от нас, уважаемый аксакал? — со злой вежливостью спросил Аманжан, пришедший в себя после могучего удара старика.

— А надо твои часы! — сверкнув глазами, объявил старик. — Давай их сюда!

Аманжан захохотал, злобно искривив лицо. Затем резко выбросил перед собою руки, показывая два кукиша сразу:

— На! Выкуси!

Старик ощерился и наставил дуло прямо в лоб Аманжану. Бакытжан взвизгнул, как заяц, и метнулся к другу, в страхе за него забыв о нацеленном ружье. Толстяк упал в ноги Аманжану, схватил его за руки и даже пытался поцеловать их.

— Отдай! Отдай ему, акри! — вопил он беспамятно. — Аманжан, отдай часы — не дороже ведь головы, черт с ними! Домой вернемся — я тебе свои подарю, акри!

— Ладно, отдавай, — сказал и Нуржан, решив отступить перед безумцем, который целился в людей, словно в мишени...

— Эх и храбрецы мы! — скрипнув зубами, пробормотал Аманжан, сорвал с руки часы и швырнул старику — тот

ловко перехватил их на лету, словно собака мясо. — А еще говорят, мол, на кой волку железка. Понадобилась, видно. — И крикнул сердито Нуржану: — Говорил я тебе, чтобы трактор не глушить... Вот и сиди теперь перед ним, как птенец перед змеем. Это ведь не человек, а дракон, и душа у него черная, конкайская... тьфу!

Ружье дрогнуло в руке у старика, он опустил его и, выпрямившись, внимательно уставился на Аманжана.

— Кто тебе говорил... про «конкайскую душу», сынок? — спросил он, прищурившись. — От кого ты слышал эти слова?

— Мать родная мне говорила! Что был такой злодей по имени Конкай! Самую подлую душу она называла конкайской, понятно тебе?..

— Как зовут ее? — угрюмо спросил старик.

— А никак! Тебе незачем знать.

— Ну, добро... А чудно все же... — И он покачал головой. — Вот ты злобишься. А не пусти я вас — замерзли бы ведь, как дерьмо на морозе... Что, не так, скажешь?

Аманжан нервно тер руками лицо, дрожал всем телом. О, если бы не ружье, он не сидел бы сейчас, сложив руки на коленях. Он разнес бы в клочья этого скверного старика. Нетерпеливо и свирепо посматривал жигит на него, а тот спокойно — на парня.

Глубокая ночь. Тишина. Нуржану опять послышалось:

Я замерзла в холодном снегу...

— Ата! — громко позвал он, и собственный голос казался ему чужим. — Скажите нам, кто вы?

Толстяк Бакытжан, которому вновь удалось задремать, вздрогнул при звуках голоса и очнулся. Старик сидел на низких нарах, не отвечая. И Аманжан, с ненавистью глядя на него, повторил вопрос:

— Ну?! Кто ты, спрашивают...

Бакытжан разобрался, что опасности нет никакой, и промолвил, зевая:

— А-а... Да никто, сказал же. Человек-икс...

Старик поднялся с нар, повесил на место ружье и, спокойно подойдя к печке, подбросил дров. Затем, словно вспомнив о чем-то, вышел из дома — все так же босиком, в одной рубашке и кальсонах. Казалось, что ему совершенно безразлично, зима на дворе или лето, он словно не знал, что значит холод, слабость, болезнь...

Он долго не возвращался. Трое жигитов молча переглянулись, растерянные, озадаченные. Что бы это значило? По-

чему не захватил ружье, а оставил, можно сказать, в их руках? Вот оно... висит на стене.

— Ой! Может быть, он решил нас покормить? — предположил Бакытжан.

— Черта с два! — крикнул Аманжан и пнул приятеля в ногу, которую тот вытянул поперек всей комнаты. — Убери свои ноги, воняет от них! Мышь, говорят, не залезет в нору, пока на хвост себе не нагадит.

— Ясно... Говорят еще: не догнав зайца, гончая хочет зло сорвать на журавле, — отвечал Бакытжан. — Старый дед побил тебя, а ты хочешь отыграться на мне, акри.

— Довольно! — вмешался Нуржан. — Лучше подумайте, что делать дальше.

— Хвост поджать и сидеть! — Бакытжан сердито покосился на Аманжана; тот — на него.

— У, заячья душа! — вскинулся Аманжан. — Надо же, аллах наказал меня — отправил в дорогу с такими, как вы, милейшие! Позор какой! Трое молодых жигитов не могут справиться с одним полудохлым стариком.

— Эй! Такой старик, знаешь, любого из нас за пояс заткнет! У него мощность — сто лошадиных сил.

— Убить! Зарыть его поганные кости в снег — и баста!

— Из-за какого-то старого оборванца в тюрьму садиться? Не-ет! — запротестовал Бакытжан. — Лучше не наступать змее на хвост, вот вам мой совет, братцы!

— Поймите, это враг! Чужой для нашей жизни человек! Таких надо уничтожать. За него нам премию должны дать! — И с этими словами Аманжан подскочил к нарам и сорвал со стены ружье.

— Если всякого убивать, кто нам не по душе, — сказал Нуржан, — то скоро никого на земле не останется.

— О алла! — вскричал вдруг Бакытжан. — Вы посмотрите только на него! До чего похож! — И он, забыв все свои страхи, восторженно прищелкнул языком и показал на Аманжана.

— На кого похож? — удивился Аманжан.

— Да на нашего деда-хозяина!

— И правда! — Нуржан рассмеялся.

— Ну вылитый дед! В молодости, наверное, точно такой был! — Бакытжан изумленно покачал головой.

Аманжан, поначалу улыбавшийся, думая, что друзья шутят, вдруг вспыхнул и подскочил к ним, сжимая ружье в руках.

— Ах, так! — рывкнул он. — Давайте будем разбираться,

кто на кого похож... Вот ты, например! — Он ткнул ружьем в Бакытжана. — Знаешь, на кого ты сам похож?

— На кого это?.. — взвился Бакытжан, чувствуя, к чему клонит дело.

— Да ты... Ты... Тебя наш Упрай словно проглотил и выплюнул! Копия! Вот на кого ты похож, понял?

Из глаз Бакытжана мгновенно хлынули слезы. Не ожидал он, что самые обидные для него слова, из-за которых страдал все свое детство, услышит от лучшего друга. Именно от него! А ведь бывало, что мальчишки донекали Бакытжана, ковыряли болячку, называя его «сын начальника», и он кидался в драку, и рядом с ним дрались Аманжан с Нуржаном... верные друзья.

— Ну, рахмат, — проговорил Бакытжан, скрипнув зубами. — Нашел мне наконец папашку. Спасибо! — И он бросился грудью на ружье, направленное в его сторону.

Нуржан подставил ему ножку, и толстяк растянулся на полу. А ружье могло и выстрелить!

— Хватит! — прикрикнул на них Нуржан. — А еще клятву давали в бане: «Умрем, а друг друга не оставим в беде». Так говорили, кажется, милейшие? И руки жали. А теперь будто петухи наскакиваете друг на друга! А из-за чего? Из-за того, в чем каждый из нас не лучше другого и не хуже. И никто в этом не виноват — ни мы сами, ни наши матери...

— Украдкой нас родили, — мрачно добавил Аманжан, вздохнув.

И тут заскрипела и стукнула в сенях дверь. Ребята переглянулись. Только теперь дошло до них, где находятся они и что с ними. Вспомнили про хозяина дома — самого жестокого человека, какого только приходилось им встречать. Дверь в избу раскрылась, и вошел старик с охапкой дров, спокойно проплепал босыми ногами к печке, с грохотом бросил у стены промерзлые, покрытые снегом поленья. Открыл дверку печки, пощуровал кочергою в топке, подбросил дров. Став на четвереньки, принялся дуть на огонь, смешно шевеля борою...

Аманжан, внимательно следивший за каждым движением старика, пришел в бешенство от этого вызывающе хладнокровного поведения своего врага. Парень вскинул ружье и, громко щелкнув, взвел курок, но хозяин и тут остался невозмутимым. А двое друзей Аманжана оцепенели, сидя на скамейке.

— Чего целишься зря? Ружье не заряжено, — спокойно прогудел наконец старик и направился к посудной полке. —

Хочешь убить меня, так возьми патроны. Они над изголовьем висят. Заряди и стреляй себе... Эх! — добавил он после. — Да уж куда тебе, батыр. Не сможешь! Разве что со страху дружков своих пристрелишь.

— Ладно, попробую! — вскрикнул Аманжан, хватая со стены патронташ. — По зверю не приходилось стрелять, а вот тебя уложить попробую! — И он быстро зарядил ружье, вскинул его к плечу, прицелился...

Но и тут старик не смутился. Глядя в лицо парню, усмехнулся злобно.

— Брось, дурак! — придя в себя, крикнул Нуржан. — Сейчас же брось!

— Не лезь! А то и тебя прикончу! — хрипло зарычал на него парень, бледный, с налившимися кровью глазами. — Сиди и не прыгай

— Ай, сынок, ты бы сначала зайцев пострелял, — издеваясь, молвил старик.

Ни тени страха не было на его суровом лице.

— Отец, не дразни его! — крикнул, предупредил Бакытжан. — А то ведь он пальнет, он такой!

Старик задрал полу длинной рубахи, достал засунутую за край подштанников трубку, табакерку и принялся ладить курево. Казалось, он нарочно испытывает чужое терпение и похвально своим хладнокровием.

— Аманжан... Аманжан, опомнись, — тихо произнес Нуржан, не зная, что предпринять. — Ты в человека хочешь стрелять...

— Нет, в гада! — прохрипел Аманжан; пена запузырилась на его губах. — Он хуже фашиста! Читай отходную молитву, старый черт!

Но что-то слишком долго он целился, словно мишень находилась за сотню шагов от него, а не рядом. Между тем хозяин преспокойно раскуривал трубку, достал из печки раскаленный уголек.

Чего греха таить — хотел, на самом деле хотел Аманжан пристрелить старика, да вот отчего-то потемнело у него в глазах и палец, лежавший на спуске, словно окаменел, когда парень собирался нажать на него. А старый хозяин то и дело бросал равнодушные взгляды в сторону жигита, который целился в него. И наконец ружье задрожало в руках Аманжана, затем, отброшенное им, грохнулось на пол. Грянул выстрел. Пуля, попав в дверь, распахнула ее силою своего удара. В избу ворвался холодный воздух. Старик закрыл дверь и накинул ременную петлю на гвоздь.

— Не могу! — закричал Аманжан, припадая на корточки и стуча кулаком по колену. — Не могу убить его! Я знаю этого человека! Где-то я видел эту рожу! Аллах, почему я не могу убить его?!

Быстрел оглушил и, казалось, раскидал всех по сторонам. Бакытжан, сжавшись в комок, всхлипывал в углу. Старик сидел на сундуке и попыхивал трубкой... И скоро в избушке настала тишина — странная тишина, рожденная грохотом выстрела.

— Аксакал, скажите нам, кто вы? — осмелился нарушить эту тишину Нуржан.

— Я Конкай! — резко, без промедления ответил старик, словно ждал этого вопроса.

— Тот самый Конкай? Но он, я слышал, уже давно умер... Лет пятьдесят, говорят, назад! — удивленно воскликнул Нуржан.

— Конкай никогда не умрет! — горделиво сверкая глазами, отвечал старик. — И огонь в очаге этого дома никогда не погаснет! До меня здесь был Конкай, на его место пришел я, а на мое место придет следующий Конкай! И сейчас он находится, может быть, среди вас! Потому что Конкай сидит у каждого в его печенках, в его мозгу и в сердце. Конкай знает: бери себе все, что тебе нравится, и ничего не бойся! Конкай — это: я хочу, а на вас на всех мне наплевать! И он сидит в каждом, в каждом, да только не всякий хочет в этом признаться. Вот ты — Конкай, — вскочив с места, старик метнулся к Нуржану и ткнул ему в грудь пальцем. — И ты тоже! — тонко взвизгнул он и указал на Аманжана. — И ты Конкай! — показал он на Бакытжана. — У каждого из вас душа тоже конкайская! Молоко на губах не обсохло, а уже норовите погубить человека. Да куда еще вам! Я здесь, на перевале, пятьдесят лет живу один, и никто, греясь у моего огня, не смел мне слова поперек сказать. Потому как я — хозяин здесь! Меня даже начальство из района, из области не трогает. А вы что? Захотели верх надо мной взять?

Он метнулся к сундуку, убрал с него все вещи и, откинув крышку, стал выбрасывать на пол охапки ценных шкурок — норковых, соболиных, выдровых, волчьих, медвежьих.

— А это вы видали? — приговаривал старик, выбрасывая все новые и новые вороха мехов.

Жигиты онемели; Бакытжан медленно на коленях пополз к сундуку и стал ощупывать шкурки, Аманжан покачал головой и сказал:

— Вот так богатеи!

— А ты думал? Пока все это имеется у меня, ни бог, ни начальство не страшны. — И старик любовно погладил лоснящуюся маралью шкурку. — Знайте же, молокососы, что шапки на головах всех начальников и воротники на шубах их жен — это от меня, из этого сундука. Да если бы я придушил всех вас троих, как кутят, а потом захотел бы оправдаться — этих шкур, думаю, хватило бы, чтоб спасти мою собственную. Или вы не знаете, что смерть тоже можно купить?

— Вы хотите сказать, отец, что можно тебе, значит... — начал, заикаясь, Бакытжан. — Или мне, скажем, если я тебя...

— Я хочу сказать, что, когда в прошлом веке сын кокчетавского султана Залькары, Алибек, совершил убийство, его старший брат отправил в русскую столицу сорок вороньих иноходцев в подарок белому царю. И что же? Младший брат его был избавлен от каторги. Так-то! В те времена подношения брали открыто, не таясь, не то что в наши дни...

— А вы у нас, дедушка... вы тоже открыто взяли... подношения? — вдруг, перебивая старика, брякнул Бакытжан.

— Чего — у вас? — гневно выпрямился старик. — Сопляк ты и есть, и нечего с тобою разговаривать. Да разве подарка я от вас добивался, дуралей? Я взял свое! Плату за постой. А как же иначе? В городе небось выложили бы денежки за гостиницу. А здесь, в горах, где можно сдохнуть от холода, я вам даю приют и ночлег — и вы за это не хотите платить? Вам жалко стало дрянные пимы и часы — так возьмите их обратно! Тьфу! Хотел я испытать, что вы за люди, а вы оказались мелкими душонками, барахольщиками! — С этим он, вскочив с места, достал откуда-то часы, валенки и швырнул все это обратно гостям: затем принялся убирать свои сокровища в сундук.

— Добро вернулось к хозяину — слава! — усмехаясь, почувствуя себя несколько смущенным, проговорил Аманжан, надевая часы на руку.

Нуржан тоже смутился и призадумался. Нерешительно глядя в спину Конкаю, произнес тихо:

— Аксакал, возьмите валенки... если они нравятся вам. А я надену ваши старые... Я сразу отдал бы... только они не мои, поэтому... Так что берите, аксакал.

— Ладно, не надо мне, спасибо, — отвечал старик, перейдя от сундука к парам и готовя себе постель. — И вы ложитесь, где стоите. Подушек и одеял у меня нету, так что не обессудьте. Зато тепло в избе... — Голос его уже не был враждебным и жестоким, Конкай заметно смягчился; укрывшись шкурой, он выставил одну голову и, двигая бородою,

заговорил:— Удивляюсь я на вас и на людей ваших. Чего вы в покое меня не оставите? Я ведь не ищущу вас, чего вы-то меня ищете? Значит, Конкай вам нужен, хоть вы Конкаю не нужны. Я ведь что? Хочу жить сам по себе, без вас. У меня мой угол, мое становье — и не трогай меня! Я Конкай! Я сам себе царь, и хотя царство у меня небольшое, я здесь не раб, а хозяин. Я полвека стерегу свое царство и тому, кто попытается отнять его у меня, погасить этот очаг или нарушить мой покой,— глаза его расширились как у безумного,— врагу своему я и пули не пожалею. Буду с ним насмерть биться... Ну а теперь подбросьте дров в печку и гасите коптилку! Довольно болтать, спать пора!

И старик, как зверь, свернулся клубком на своем ложе. Теперь, лежащий, он не казался столь громоздким, мощным и неодолимым... Это был обыкновенный усталый старик — сиротливый и даже жалкий...

Аманжан с Бакытжаном улеглись на полу. Нуржан вышел из дома. Заметил, что Плеяды далеко переместились в сторону. Небо было чистое. Стужа стояла лютая. Почти белая, озябшая луна пристально смотрела вниз, будто собиралась прыгнуть на землю. Жизнь словно вымерла, и луна, казалось, как мулла в белой чалме, собирается читать отходную молитву по усопшим... Можно было только диву даваться, что человек прожил в этой дикости и тоске целых пятьдесят лет. Без людей, без книг, без всего того, что создал человеческий гений. Старик Конкай словно взялся доказать своей жизнью, как человек может снова уйти вспять, назад, к первобытной дикости. И посмеяться над самим понятием «человеческий гений»... И Нуржан вспомнил, как один его приятель, некто Орынбай, работавший в совхозе учетчиком, однажды рассказывал ему о старике, живущем в горах, совершившем много злых дел, не имеющем даже паспорта, но которого тем не менее никто не мог тронуть, потому что он пользовался покровительством начальства из района и даже из области. Этот старик, по словам Орынбая, мог излечить от любой болезни, пользуя своими чудодейственными спадобьями, и к тому же поставлял кому надо меха самых ценных зверей. Должно быть, догадался теперь Нуржан, речь шла о Конкае...

Заскрипела дверь, и во двор вышел, отхаркиваясь и сплевывая на снег, хозяин, подозрительно уставился на парня.

— Ты чего? На луну любишься? — проворчал Конкай.

— Решил свежим воздухом подышать, аксакал, — ответил Нуржан.

— Ну, так иди теперь спать, — приказал старик и, согнувшись, вошел в сарай.

Проходя мимо раскрытого сарая, Нуржан заглянул туда и заметил ход, ведущий вниз, — очевидно, в погреб. Склонившись над дыроу, он увидел огонек коптилки и в ее тусклом свете — старика, который, припав к бочке, что-то пил прямо из отверстия в ее боку.

Наутро парней разбудил сам Конкай. Ребята выскочили на улицу и увидели, что на ослепительном снегу стоит их «ДТ-54», целехонький, не съели его волки. Чтобы завести мотор, понадобилась горячая вода, и хозяин дров не пожалел — нагрели на печке ведро воды, залили радиатор. Долго им возиться не пришлось, трактор завелся легко, и, уже собираясь тронуться в путь, Нуржан спросил у старика, как им лучше проехать к тому месту Глубинного края, где было заготовлено сено.

— У вас две дороги, — отвечал старик, почесывая бок. — Одна хоть и длинная, зато верная. А другая короткая, но не близкая. Вот и выбирайте сами. Первая идет вокруг всей Айыртау, по ней ехать и ехать... А по второй можно добаться за три часа — это напрямик через перевал Большого Конкай. Обратно с сеном, конечно, лучше ехать по кружной дороге. А туда, я думаю, можете махнуть и через перевал. Трактор сильный, а вы жигиты молодые, здоровые — справитесь, я думаю.

— Послушаемся вашего совета, аксакал, — сказал Нуржан и вскочил на гусеницу.

— Глядите сами, — бормотал старик, — вам решать, соколки... А нам, дожившим до возраста пророка, советы давать молодым...

— С пустым брюхом отправляешь гостей, старик! — крикнул ему Аманжан. — Но ничего, еще встретимся, все же попьем чайку у тебя. Если на обратном пути не заглянем, жди нас в гости летом.

— Научись к тому времени с ружьем обращаться, сынок, — насмешливо отвечал старик. — Как бы опять тебе не осрамиться, коли надумаешь стрелять в меня.

— Боюсь, дед, ты к тому времени ноги протянешь и протухнешь совсем.

— Один аллах знает, кому из нас суждено раньше умереть, — диковато сверкнув глазами, молвил старик.

— Ладно! Будьте здоровы, отец! — крикнул Нуржан и перевел рычаг, трогая трактор с места.

— Прощай! — крикнул и Бакытжан, радуясь тому, что живым-здоровым вырвался из этого негостеприимного дома.

Аманжан прощаться не стал. Бледный, он молча сидел рядом с Нуржаном.

Конкай долго смотрел вслед удалявшемуся трактору и, когда тот скрылся за ближайшим гребнем, пробормотал себе под нос: «Да примет вас земля, аллах велик», — и молитвенно провел ладонями по лицу и бороде. «Из всех троих этот серьезный тракторист опаснее всех, — думал он, — а двое других, видать, олухи. Но ничего — все равно никто из них не вернется, и некому будет разносить по всему свету молву о богатствах Конкай...» Вскоре старик был уже в погребе. Здесь он спрячет все, что накопил за полсотни лет одинокой звериной жизни. Здесь и умрет... В час, когда почувствует приближение смерти, он опустится на заранее приготовленное ледяное ложе, потянет за особый рычажок, который будет под рукою, — и сверху обрушится песок, натасканный им заранее... Так скроются под землей все богатства Конкай и он сам. И никто не найдет, никто... ни один человек на свете. А пока что он не станет нажимать на рычажок. Он будет еще долго жить на свете. Маралий корень, золотой корень, женьшень, мясо оленя и кровь из его рога, медвежатина, чистый воздух, вольная жизнь без начальников — вот что продлит его дни на земле. Старик откупорил бочку и, жадно припав к ней, стал смаковать прекрасно настоявшееся пиво.

* * *

Нуржану в Глубинном крае приходилось бывать. Сюда совхоз «Алтайский» отправлял косцов на заготовку сена. Засуха погнала людей от выжженных долин в горы, на сочные альпийские луга, там и косили; совхозу достались участки возле реки Хатунь, природной границы между Казахстаном и Россией. Хатунь река быстрая, с напористым течением берет начало у ледников Музтау. Покосы совхоза «Алтайского» располагались на территории уже соседнего района, но Глубинный край, названный так недаром, был никем не поделен, и туда люди отправлялись только по крайней нужде, вызванной засухой. Верхами на луга можно было добраться не менее, чем за три полных дневных перехода. И уже два года подряд совхоз отправлял на Хатунь своих людей. Летом можно было еще подобраться на машинах, объезжая горы, по случайным дорогам. И целый месяц косцы жили в шалашах, тут же рядом ставили стога. К зиме, когда земля подмерзала,

заготовленное сено перевозили в совхоз... В прошлую осень Нуржан с другими рабочими ездил в Глубинный край на грузовиках, чтобы вывезти драгоценное сено; однако внезапно пошли дожди, угрожая затопить грязью все дороги, и машины поспешно убрались назад, а сено так и осталось невывезенным. Теперь отправили троих парней на «ДТ-54» с прицепными саями по неизведанным зимним дорогам.

Когда долго едешь на тракторе, постепенно глоснешь и перестаешь слышать что-то, кроме однообразного грохота и лязга. Глаза слезятся от белизны снежных просторов. Скупое солнце, редко выглядывая из-за гор, бросает на истомленных путников холодный безрадостный свет. Трое парней едут молча, как и вчера, весь день. Давно уже остался позади перевал Конкая, и уж недалеко, видно, стога, до которых, по словам старика, они должны доехать часа за три-четыре. Но вот уже снова клонится короткий зимний день к вечеру, а знакомого отрога Айыртау все еще не видно. Стужа постепенно прохватывает голодных усталых жигитов, и они дрожат, зуб на зуб не попадает. Хмурые, отчужденные глаза их избегают смотреть друг на друга, и выглядят они будто после смертельной ссоры. У Аманжана, который теперь ведет трактор, лицо покрылось темной щетиной, осунулось и посинело, как остывшее желе. Словно автомат, он двигает руками, переводя рычаги. Бакытжан сидит рядом с ним, втянув голову в воротник куцего полушубка, — точно жалкое подобие того веселого и добродушного парня, каким его знали все. Круглое, смуглое и румяное лицо его теперь неузнаваемо мрачно, бледно и как будто стало длиннее. На лица жигитов, каждому из которых чуть больше двадцати лет, холод и лишения тяжкого пути словно наложили черты преждевременной старости. Огонь молодой, яркой жизни постепенно угасает в их потупленных очах.

В железном ящике кабины было, казалось, гораздо холоднее, чем снаружи. К стенкам невозможно притронуться голой рукою — мигом прилипают пальцы к студеному металлу. То незначительное тепло, что шло от горячего мотора, мгновенно просачивалось, вылетало сквозь щели в полу, и в кабине время от времени мелькали призрачные клубы пара, сразу же схватываемые и невидимо уничтожаемые лютым холодом...

Но сильнее холода угнетала парней тяжелая, им самим непонятная отчужденность, которая возникла между ними в этот третий день их долгого путешествия. Не выдержав молчания, Аманжан стал беспорядочно дергать рычагами, то при-

бавляя, то сбрасывая газ, — и вдруг, словно помешанный, откинулся назад и страшно завонил:

— Ау-а-а!!

Дважды он прокричал таким образом, пугая друзей, и затем стих, сгорбившись над рычагами. Громадные заснеженные холмы, припавшие к земле словно белые медведи, откликнулись на крик угрюмым безмолвием. Бешено взревел трактор, подгоняемый неистовой рукою водителя.

— Стой! — крикнул Нуржан. — Ну-ка останови!

И со всего хода «ДТ-54» остановился, уткнувшись в сугроб; трое в кабине качнулись вперед, затем — назад.

— Чего ты орешь? Эй, Аманжан!

Точно не слыша того, что ему кричат, уставился Аманжан неподвижными, налитыми кровью глазами на дальние холмы. Щетина на впалых щеках его была покрыта инеем и потому казалась седой. Вид его был ужасен. Неподвижные глаза расширены и безумны. Нос с горбинкой торчал словно на мертвом, деревянном лице со сжатыми побелевшими губами. Нуржан впервые видел своего друга, которого знал с детства, таким страшным, неузнаваемо страшным и несчастным... Посидев некоторое время в молчании, он постепенно пришел к себе и хрипло молвил, обращаясь к Нуржану:

— Ты что-то сказал?..

— Чего заорал, говорю?

— Когда?..

Бакытжан с натугою, будто бы через силу, засмеялся. Засмеялся и Нуржан, а вскоре к ним присоединился и сам Аманжан... И вот уже сидели они, корчась от смеха, и с силою хлопали друг друга по плечам, по спинам руками, черными от масла и копоти. И внезапный беспричинный смех вмиг рассеял сгустившуюся до предела отчужденность. Словно бы чуть-чуть теплее стало в кабине, и молодые души, застывшие было, точно молоко, подернутое пленкой, вновь оттаяли. Они смеялись, забыв обо всем, и не было в эту минуту для них ни безжизненных просторов вокруг, ни окаянной безвестности.

Долго еще после этого выпытывали друзья Аманжана, почему он закричал, но тот не ответил, и наконец они оставили его в покое. Путешествие продолжалось. И постепенно холод снова стал сковывать тела и души молодых людей. И тогда Нуржан, поняв всю опасность молчания, попытался нарушить его пением. Он затянул какую-то песенку, но просевший на морозе голос звучал слабо, затухая, казалось, под самым носом у него и не достигая ушей приятелей, вновь впа-

давших в тусклое оцепенение... А вокруг было белым-бело, сверкало и уходило в бескрайние дали снежный покров, и рыхло громоздилось вверху серое небо, и меж тучами, выглядывая из-за плеч горных кряжей, мелькал ослепший бледный лик солнца.

Трактор шел напрямик по снежной целине, в направлении, указанном стариком Конкаем. И хотя путь проходил по бездорожью, пока ни разу не съехали в яму, заваленную снегом, и не врезались в скрытый под сугробом валун. Если обойдется благополучно, они когда-нибудь все равно доберутся до одинокого зимовья, недалеко от которого находятся совхозные стога. Нагрузят они душистым зеленым сеном тракторные сани и поедут назад — быстро, без задержек назад, домой... Там ждут не дождутся их те, которых они любят, да, любят. И хорошо бы, если б у трактора выросли крылья. Но разве подымут крылья, какие бы они ни были, эту тяжеленную железную махину! Ах, не умеем мы летать, не умеем...

Нуржан и сам не мог бы сказать себе, о чем он поет. Грустная мелодия, что изливалась из него, словно размывала своей теплотой холодный комок души, в которой стылой наледью росло оцепенение. И он пел, чтобы растопить душевный лед. Но, видать, не сегодня он стал намерзать, и не вчера, и даже не в прошлом году, а гораздо раньше. Может быть, началось это тогда, когда он благополучно вернулся из армии, отслужив свой срок в Европе, в Восточной Германии. Все вроде было хорошо — он снова на родине, работает трактористом... Но тайная тоска, желание чего-то неизвестного, овладевшее им еще там, на чужбине, не отпускала его сердце. Ему словно было тесно среди этих бескрайних просторов... он казался сам себе лишним здесь. А может быть, он просто не поспевал за жизнью, за быстрым ее полетом, потому что крепко был привязан к ежедневным делам и заботам. Некогда было ему даже спокойно присесть и подумать, что же с ним происходит... Усталость какая-то, что ли, — а какие его годы? И некого было винить — только себя, свой беспокойный характер. Ведь он все свое детство с буйными играми, всю школьную юность свою провел весело, беспечно, бывало, радовался неумемно, бывало, и плакал, — но что бы то ни было, все это время прожил с ожиданием чего-то неизвестного, большого, необычного. Так и проходило время, год за годом, он ждал, что закончит школу-десятилетку и настанет, придет неизвестное; потом надеялся, что пойдет в армию, отслужит — и тогда... Он пьянел от этой надежды, словно младенец, упившийся материнского молока. И вот уже все позади — и шко-

ла, и армия. Теперь мечта его и надежда в том, чтобы скорее добраться до знакомого отрога Айыртау и погрузить на тракторные сани совхозное сено...

Трактор ползет по белому-белому снегу, будто одинокая, без весел и паруса, лодка по морю... Плывет трактор по снежному морю. Только выхлопной газ узенькой струйкой взвивается вверх и бесследно растворяется в воздухе... Некогда мать Нуржана сказала ему: «Не гонись ни за кем и не убегай ни от кого. На этом свете все ходят по кругу: и преследуемый, и преследователь — все одно впереди». Разгадку материнских слов он постиг лишь сейчас, в этих снегах. Бесполезно гнаться за чем-то, что словно тень ускользает от тебя. А может быть, когда ты отвернешься и пойдешь прочь, оно как раз и приблизится к тебе. А что, что это может быть? Есть ли хоть одна душа на свете, которая может предугадать, в чем самое высшее счастье, вершина, зенит человеческого существования? И, может быть, то, чего он так самозабвенно ждал, постигнет он лишь в тот миг, когда навеки закроет свои глаза... Кто знает. А пока... пока можно наблюдать за всем тем, что происходит вокруг, и спрашивать у себя: «Ну, угадай, что это было?»

Белый-белый снег... Сверкая на солнце, он слепит глаза. Долго, томительно вползает трактор по длинному увалу и наконец переваливает через одну гору... а там, о боже, ждет следующая гора, словно насмешливо призывает, манит: попробуй одолей и меня. И не видно конца этим долгим подъемам и спускам, одиноким заснеженным вершинам белых холмов. Трое жигитов уже начали подозревать, что заблудились, — не могло быть, что до летнего стана косцов, где стояли стога, так далеко.

— Ну-ка притормози! — попросил Нуржан водителя. — Давай отдохнем немного. И потолковать надо...

И снова «ДТ-54» стоял, уткнувшись носом в сугроб. Мотор его стучал, словно могучее бесперебойное сердце. Бакытжан, дремавший рядом с Аманжаном, очнулся от дремоты и помутневшими глазами посмотрел на одного приятеля, на другого.

— Приехали? — спросил он, впрочем, без всякого оживления или радости в голосе.

Уничтожающе посмотрев на толстяка, Аманжан зло ответил:

— Ага. К черту приехали.

— А где это мы? — выпрямившись, заозирался Бакытжан. — И чего стоим здесь, ребята?

— Стоим, потому что не знаем, куда ехать, понял? — теряя терпение, заорал на Бакытжана Аманжан. — Вон посмотри и скажи нам, где мы сейчас находимся. Одни горы проклятые кругом — белые зады выставили на нас, дразнятся, издеваются. Хотя бы сучок какой торчал из снега...

Он уже давно подумывал, что старик Конкай показал им неверную дорогу и они заблудились. Однако видя, что друзья его молчат, Аманжан тоже молчал до этой минуты... Теперь и он, и толстощекий Бакытжан — оба выжидающе усталились на Нуржана. Он был старшим, командиром, но теперь и он подавленно молчал. Трактор стоял в ложбине, и потому из него ничего не видно было, кроме дальних вершин, над которыми низко висело уходящее солнце.

Хотя бы заблудшая сосенка или случайный пенек показались бы! Все белым-бело, глазу не за что зацепиться. Глубинный край хранил свою тайну, окутавшись снежным саваном. Мертвое, безлесое, бездушное пространство!

— Поедем дальше, — молвил наконец Нуржан. — Будем двигаться в том же направлении.

— Ну, давай, — сразу же согласился Бакытжан, но тут же поспешно добавил: — Только, чур, ты будешь виноват, если заблудимся. — И затем вновь пристроился подремать.

Нуржан сам повел трактор. Взяв рычаги в руки, он погнал взревший трактор по склону горы — казалось, прямо к небу. Аманжан пересел на железный ящик и, сникший после недавнего иступления, хранил угрюмое молчание. Мощный «ДТ-54» с трудом тащил за собою рубленые из цельных бревен сани-волокуши. Сине-черные клубы дыма с ревом вылетали из выхлопной трубы. Снизу долгий изволок увала смотрелся отлогим, но выше, ближе к вершине, стало очевидно, что склон все же очень крут. Нуржан, упрямо гнавший трактор прямо в лоб перевалу, теперь решил взбираться зигзагами — и позади них потянулся двойной извилистый след на ровном снегу. Но вершина перевала, казалось, отодвигалась все дальше. Нуржан поминутно оглядывался, беспокоясь, не оторвались бы сани. Низкие широкие, они вспахивали сугробы, порою нагребали перед собою целую лавину снега и, словно досадуя на образовавшуюся преграду, вдруг встряхивались и круто взмывали вверх, преодолевая препятствие.

Внизу, в ложине, уже синела густая тень, но ближе к перевалу солнце светило вовсю, слепило глаза, и окружающие горы как бы стали ниже. И среди нагорного безмолвия рокот трактора отдавался эхом, словно надрывный старческий ка-

шель. Как будто кашляла могучая гора — ледяное дыхание ее волнами обдавало путников. Это пронизывающий ветер, дующий с севера, набросился на них у вершины перевала.

Наконец оседлали перевал — и трое жигитов с надеждою посмотрели вперед, высунувшись из кабины трактора. Но они не увидели того, чего ждали с нетерпением. Перед ними была еще одна безжизненная гора, такая же высокая и крутая, как та, на которую они только что взобрались. И так же злорадно манила она: ну-ка попробуйте одолеть меня. Парни присвистнули, как по команде, и спрятались обратно в кабину. Теперь убедились они окончательно, что заблудились в горах. И это было страшно. Карабкаясь на тракторе к гребню перевала, они еще надеялись увидеть если не райский сад перед собою, то хотя бы заброшенное зимовье или хоть деревце. А увидели все тот же безжизненный белый мир без единого темного пятнышка. И этот мир распахнул им свои ледяные объятия.

— Ну так где? — нетерпеливо спросил Аманжан.

— А я знаю, где?... — устало отвечал Нуржан. — Летом как-нибудь нашел бы. А сейчас попробуй найди — все горы похожи одна на другую, как яйца.

— Значит, это яйца от одной несушки, — безрадостно пошутил Аманжан, доставая из кармана измятую пачку «Примы». — Поэтому и не различишь их... А ты ноги подбери, акри, чего расселся как у себя дома! — крикнул он и поддал заledenевшим носком валенка по ноге Бакытжана, и тот послушно, словно испуганный ребенок, подобрал ногу. — Ну, что будем делать?

— Что делать... Надо дальше ехать, не стоять же на месте, — ответил Нуржан, поеживаясь.

— Посмотрим, как ты ехать будешь, когда горячее кончится, — буркнул Аманжан, глубоко затягиваясь сигаретой.

«ДТ-54» дернулся и, наклонившись вперед, пошел с горы, на которую с трудом взобрался с другой стороны. На спуске склон был неровным, в ямах, в расщелинах, торчали в снегу валуны, и стальные гусеницы, налетая на них, злобно грызли камень, поднимая невообразимый лязг и скрежет. И Нуржан повел трактор осторожнее, убавил скорость, внимательно смотрел вперед. Спустившись на полгоры, он, спохватившись, оглянулся — и не увидел прицепных саней сзади. Не в силах поверить своим глазам, он еще какое-то время гнал трактор, затем резко затормозил и сбросил газ. Выскочив на гусеницу, внимательно осмотрел рыхленный след. И далеко, метров за двести позади, увидел торчавшие из сугроба

сани. Аманжан, выскочивший на гусеницу с другой стороны трактора, тоже увидел их. Бакытжан не двинулся с места.

— А! Будьте вы прокляты! — вскрикнул Нуржан.

— Поворачивай назад! — сказал Аманжан.

— Сам знаю. Только сможем ли подняться? Уж больно круто.

— Давай поворачивай! Рискнем! Делать больше нечего, тросом все равно их не зацепишь.

— Будь они прокляты!

Оба уселись на свои места — и трактор, вспахивая гусеницами снег, развернулся на месте. Пополз вверх, но не проехал и десяти шагов, как его снова — уже самопроизвольно — развернуло в обратную сторону. Крутизна была велика. Снова и снова ребята поворачивали трактор и гнали его вверх по склону, но гусеницы проскальзывали на месте, трактор дрожал, не в силах продвинуться хотя бы на метр, и вдруг его снова резко разворачивало. За рычаги садились попеременно то Аманжан, то Нуржан; трактор ревел, как рассерженный верблюд, долбил гусеницами мерзлую землю, скреб камни, рвался вперед — но все было напрасно.

— А что, если спуститься, объехать гору и с той стороны снова по своему следу подняться? — предложил Аманжан. — Сверху спуститься к саниам...

— Это дело, акри! — впервые за все время суматохи отозвался Бакытжан, до этого безучастно сидевший на своем месте. — Башка у тебя работает, однако.

— Проснулся? Уж лучше бы дрых, — огрызнулся Аманжан. — Не знаю только, нет ли там, под горою, болота, — продолжал он. — Вон смотрите, пар идет. Должно быть, там теплые родники бьют, а от них всегда грязь получается. Сверху лежит снег, а под снегом болото...

Но осуществить задуманное они не успели. Солнце давно скрылось за вершинами. В долинах тени сгустились до непроходимой мглы. Усилился ветер, словно предвестник суровой ночи. В его порывах чудились молодым людям то жалобные стоны, то плач. В небе проклюнула первая робкая звездочка. Восточные склоны гор стали заметнее, выделившись из общей мглы, — всходила яркая луна. Жестокий январский мороз, замораживающий плевком на лету, давал знать о себе. Стоило теперь подумать не о возвращении тракторных саней, а о спасении собственной жизни. Лютая, хищная ночь надвигалась со всех сторон, а согреться было нечем. Ни хвостинки вокруг, чтобы развести костер, — лишь гладкие, словно обритые, холмы белых увалов. Хоть волком вой, хоть

плачь, словно беспомощный ребенок! Впервые в жизни каждый из них увидел, что мир может быть таким холодным, беспощадным и жестоким. Робость охватила их. Молча сидели они, не пытаясь больше сделать что-нибудь. И лишь трактор, вздрагивая на месте, продолжал стучать мотором... Долго вслушиваться в звук мотора — и почудится, что это тоже плач, бесконечный плач, и чьи-то слезы будто падают в снег, падают в снег и свертываются ледяными бусинками, и уходит тепло из маленького, встревоженного тела, и выстывает сердце, теряя волю к жизни, — и вот уже неверный, покалывающий зрачки свет наплывает на тебя, и вместе с ним волнами тепла и неги наплывает сладостный сон...

— А-а-у-а-а-а! — завопил снова Аманжан и вскочил с места. Головою ударился о крышу кабины. Дикими, светящимися в темноте глазами смотрел на приятелей, которые тоже вскочили с мест вместе с ним. Неожиданный крик напугал их, но они не стали ругать Аманжана и даже ни о чем не спросили у него. И Аманжан, придя в себя, улыбнулся. — Ух, черт, язык прикусил, — произнес он спокойно. — Давайте думать, что будем дальше делать.

— Вы думайте, уважаемые мирзы, а я уж после за вами поплечусь, — отвечал Бакытжан, моментально успокоившись и уже потягиваясь и готовясь зевнуть.

— Ты что, дурень, с ночного вернулся, что ли? — палбросился на толстяка Аманжан. — Все бы тебе дрыхнуть, акри! Не хочешь даже позаботиться о своей судьбе. Или ты не человек, а пес, бегущий за караваном?

И снова замолкли надолго. Над белой вершиной горы тяжело, словно бы пыхтя от усилий, взошла полная луна. Серый, волчий мир зимней ночи залило молочным сиянием, прелесть которого не в силах передать человеческое слово. И одновременно с бесшумной лунной вспышкой где-то вдали, за ледяными звонами звезд, из потаенного угла ночного мира прозвучало что-то странное, тягучее, словно долгий плач. Все трое с замершими сердцами прислушивались к загадочному голосу ночных просторов. Затем вылезли, один за другим, из кабины трактора. Луна встретила их своим щедрым светом.

— Все напрасно, ребята, — вздохнув глубоко, сказал Аманжан. — Только на луну любоваться... А она все равно не такая красивая, как там, на джайляу, — вдруг некстати завершил он.

И двое его друзей, хотя и не поняли, к чему это он, не

стали ни о чем у него расспрашивать. Все трое, застыв возле трактора, словно изваяние, молча смотрели на луну.

— Кто его знает, ребята, увидим ли, нет еще раз такую красоту, — с чувством произнес Бакытжан. — Эх, ребята, подумаем о наших матерях! — закончил он и всхлипнул.

— Чего это о матерях вспомнил? — удивился Аманжан.

— А о ком же больше? — со слезами в голосе выкрикнул Бакытжан. — О ком, если мы все трое не можем сказать, кто наши отцы? Мы — дети войны, вот кто такие мы! И нет у нас никого больше, кроме матерей; только мать одна и скажет: «Жеребеночек мой, не замерз там в горах?..» — Бакытжан разволновался не на шутку. — Ах, как красиво крутом! — громко выражал он свое восхищение. — Я ведь правду говорю, ребята? Точно в сказке, правда? — выкрикивал он. — Эх, запрятать бы в белые саночки белого коня и прокатиться по этим горам!

Никогда не видевший своего сонного приятеля в столь необычном возбуждении, Нуржан удивленно воскликнул:

— Оу, вот ты какой, оказывается!.. Не ожидал...

— Мудрец сказал: лицо человека ширма, за которой прячется его душа, — отвечал Бакытжан.

Аманжан. Чепуху сказал твой мудрец. Один аксакал сказал: человек — это мешок дерьма. Все напрасно, говорю вам. И сегодня нас обманывают, а завтра мы... Когда мы были маленькими, этого не понимали. Все казалось лучше тогда. Эх, молодыми были... лето было... луна была другая.

Бакытжан. А сейчас что, постарели, что ли?

Аманжан. Да, постарели! Тащим как проклятые пустые сани по этим снегам. Мы старики, только бороды нет...

Нуржан. Давно это было... не помню уже, когда это мы были маленькими. Распрощались, как говорится, с детством... И все стало правда совсем не таким, как было тогда, раньше. Совсем по-другому стало, ребята. Противным стало... многое.

Бакытжан. Холодно! Холодно очень! *(Вскидывает руки, подставляя ладони лунному свету.)*

Аманжан. Холодно в жизни... будь она проклята!

Бакытжан *(испуганно)*. Эй, на жизнь обижаться грешно! Нельзя!

Нуржан. Надо глушить мотор.

Бакытжан. Ты что? Зачем это?

Аманжан. Сдохнуть можно от твоих глупых вопросов, акри!

Бакытжан. Наша жизнь — это сплошной вопрос, почтенный!..

Нуржан. Кончится горячее — и крышка нам. Не беремся из этой собачьей дыры. Околеем тут, понятно?

Бакытжан. А я о чем думаю? Вот вы всегда орете на меня, когда я о чем-нибудь спрашиваю, вопить начинаете, будто горячих углей вам за шиворот насыпали. А чего орете? Слова не даете сказать... Я, может быть, не меньше вашего понимаю. Ну, выключим мотор, радиатор замерзнет и лопнет, тогда что — не крышка нам будет, умники?

Бакытжан готов был спорить до победы, но друзья даже не отвечали ему. Им давно ясно было то, о чем с торжествующим видом говорил Бакытжан. Воду из радиатора придется, конечно, слить... Но как же тогда завтра они смогут завести мотор? Где взять горячей воды, чтобы залить радиатор?

— Ура! — заорал вдруг Бакытжан, хлопая меховыми рукавицами по бокам, и чуть не упал. — Ура! Вон, огонь горит! Видите!

Вдали, среди гор, что-то и на самом деле мерцало словно искорка: не то далекий огонек жилья, не то проглянувшая меж горных вершин звезда.

— Конечно, огонь, как же, — буркнул сердито Аманжан. — Повесили казан над очагом и ждут тебя, балда.

И снова наступило долгое молчание. В тишине мягко рокотал трактор. Вокруг раскинулось сверкающее под луною и звездами царство смерти. Неисчислимые стаи небесных светил, словно посмеиваясь над бедою ничтожных существ, перемигивались между собой. И впервые Нуржан испытал в душе неприязнь, почти ненависть к веселому перемигиванию звезд, к молочному сиянию надснежной луны. Страх и вялая слабость проникали в сердце жигита. Он крепился, чтобы ничего не заметили его друзья. Впервые испытал Нуржан отчаяние голодного, долго мучившегося на морозе человека. Он думал о тепле, о горячем бульоне и жадно сглатывал слюну... Он вспомнил, как бригадир Иса, вернувшийся с фронта без одного уха, любил поругивать молодежь. «Бездельники! Вы спросите у нас, чего мы только не видали, чего не испытали! — орал Иса. — С врагом сражались! Мерзли на ветру, валялись на сырой земле. А у вас что? Каждый день только одно веселье на уме?» Да, теперь бы его сюда, этого корноухого бригадира. Пусть бы посмотрел, какое такое веселье...

— Ты старший у нас, — сказал Нуржану Аманжан, — тебе и решать.

— Надо глушить, — ответил Нуржан.

— Э, делайте что хотите, — отмахнулся Бакытжан. — Сейчас бы пожрать! Ух, кишки внутри все перемерзли.

Нуржан влез в кабину и перевел вниз до отказа рукоятку. Ошеломляющая тишина ударила по ушам, словно оглушила их, и рассеялась по лунным просторам, залитым млечным сиянием. Оборвался последний звук, словно последний вздох жизни, — исчез из этого мира настойчивый и упорный голос трактора, дотоле единственно заявлявший о том, что не все мертво на земле. Но вот черный железный конь закрыл глаза и стих. И пришел страх, пришел великий холод.

Аманжан, проваливаясь в снегу, обошел трактор, открыл краник радиатора. Вода с шипением полилась в снег, за клубился густой теплый пар. Сняв рукавицы, парни подставляли озябшие руки под горячую струю.

— Ух, как тепло! — с довольным видом проговорил Бакытжан. — Сейчас бы чайку попить, чтобы лед в кишках оттаял.

— А чего же не пьешь? — ехидно поддел Аманжан. — Что у тебя, что у «ДТ» — желудки у вас одинаковые.

— Смейся, смейся! Вот посмотрим, как ты завтра смеяться будешь...

— Ты доживи сначала до этого завтра!

— Ничего, ребята, что-нибудь придумаем, — попытался успокоить друзей Нуржан.

Они снова влезли в кабину, сунули отогревшиеся руки за пазуху, чтобы подольше сохранить тепло. Спасительным домом, единственным островком надежды среди мертвых просторов был теперь для них неподвижный и тихий «ДТ-54».

Бакытжан, дремавший всю дорогу, теперь вдруг оживился, словно угроза лютой ночи пробудила его сонную душу. Парень болтал без умолку. Казалось, он хочет бросить вызов надвигающейся беде, которой все равно не миновать. Широко разведя руки, он с нелепой восторженностью произнес:

— Вокруг нас великий снежный океан! Наш «ДТ» — корабль, а мы трое — отважные путешественники! Три батыра, которые вышли на врага...

— Три вонючих жука на белом дастархане! — злобно перебил его Аманжан. — Лучше скажи: три мухи, попавшие в сеть пауку. Нечего, балда, корчить из себя черт-те что!

Замолчали. Издали... вновь издали донесся еле слышимый голос: не то плач, не то песнь. Но, похоже, услышал его один Нуржан — он и встрепнулся, выпрямился и стал внимательно прислушиваться.

— Мать дома поужинала, наверное, и уже легла спать, —

грустно произнес Бакытжан и вздохнул. — И чего это я с вами связался, акри! Заморочили мне голову: поедем да поедем, раз-два — и обернемся. Испугались Упрая, как будто он головы нам поотрывал бы, если б не поехали. Эх, сейчас полеживали бы дома возле печки, да горячий бульон прихлебывали, да пот утирали. А теперь вот мерзни как собака. Один снег кругом. Мороз — сорок градусов... — И Бакытжан обиженно скривился, губы у него задрожали, он всхлипнул, словно ребенок. — Знал бы, на два шага от дома не отошел бы...

— Это все из-за старого хрыча! Проклятый Конкай! Вот кто во всем виноват... Ох, я бы сейчас с ним потолковал. Говорил же я, что не надо верить ему. А теперь вот и сиди здесь, околевая из-за него. Отца его так и разэтак, — ругнулся Аманжан. — Взял бы да и растоптал всех трактором — и его, и вас, дураков.

— Эй, горячего не хватит! — пошутил Бакытжан, улыбувшись сквозь слезы.

— Горючее — ерунда. Все ерунда! Я подыхать не хочу, я лучше всех выматерю и поору напоследок. Эй! Такие-разэтакие! Мне холодно, вы слышите? Дайте огня! Дайте еды, я жрать хочу! Я замерзаю, понятно вам, такие-разэтакие? — И он прислушался, как будто ожидал услышать ответ, затем погрозил в пространство кулаком и снова взвыл: — У-а-а-у! Гады! Не отвечаете? Вам тепло сейчас, хорошо возле печки? Эй, бригадир, ну-ка скажи снова: «Ах, чего мы только не видали, чего не испытали!» Ух, отца твоего так и разэтак! — И огромным стылым кулаком он ударил по стенке кабины, едва не пробил насквозь железо. Ярость душила жигита, бесильная темная ярость.

— Вот умру я, а никто и песочком не присыплет, — вздыхая, сетовал Бакытжан. — Разнесчастный я, бедолага!

— Ну, хватит ныть! — рассердился Нуржан. — Чего сопли распустили раньше времени?

— А ты, товарищ старший тракторист, не кричи на нас. Мы тебе не пленники, а ты не охранник. Если воображаешь себя нашим начальником, — кричал Аманжан, — то прикажи освободить нас из этой тюрьмы! — И он снова с силою ударил кулаком по стенке кабины.

— А пу вас, акри! Зря только разбудили меня, — заворчал Бакытжан. — Не мешайте спать, черти. Ухожу от вас в сонное царство. Привет кому-нибудь передать? Нет? Ну, тогда чао!

— Не дури! Спятил, что ли? Спать на таком морозе! —

сказал Нуржан. — Не вздумайте! Давайте лучше выйдем и с подветренной стороны балаган из снега пристроим. Все же под снегом будет теплее, чем здесь.

— А лежать на снегу, что ли? — засомневался Бакытжан, привыкший до мелочей обдумывать вопрос об удобствах...

— Перетащим туда сиденье от трактора.

— Ну, как хотите, — махнул рукою Бакытжан. — Я на все согласен.

— Так пойдем скорее рыть снег, чего сидеть зря! — сердито крикнул Аманжан и первым полез из трактора.

Один за другим, словно парашютисты из самолета, прыгнули на прозрачный снег жигиты. Ежась под студеным ветром, рубили топором слежавшийся плотный снег, вынимали прямоугольные пласты и клали стенки с подветренной стороны трактора. Сооружение росло на глазах и работа захватила парней. Они развеселились, постепенно согрелись, и даже пот прошиб на лбу под лохматыми шапками. Правда, зато руки мерзли отчаянно. Вскоре снежный домик был готов, из кабины трактора вытащили сиденье и спинку, пропахшие маслом, и устроили ложе. Парни совсем повеселели и, позабыв о недавнем унынии, принялись хохотать, толкать друг друга в снег, бороться.

— Неплохое гнездышко получилось, — с довольным видом пробасил Аманжан. — Сюда бы побольше жратвы — и зимовать можно.

Пристроились все втроем, тесно сомкнувшись рядышком. Нуржан еще раз предупредил:

— Ребята, только не спать!

— Ойбай, а для чего же тогда дом строили? — возмутился Бакытжан.

— А для того, дурачок, чтоб ты не околел на морозе, — беззлобно отвечал ему Аманжан, закуривая сигарету.

— И здесь можно околеть, если уснем, — все тревожился Нуржан.

— Эй, чего куришь, акри! — шутливо накиннулся Бакытжан на Аманжана. — Еще пожар устроишь, сгорит домик!

— Поговори у меня, — пригрозил тот. — От огня домик не сгорит, а вот если ты еще разок трахнешь, как из пушки, то он развалится, это точно!

— Какая там пушка! — уныло отвечал Бакытжан, ворочаясь на месте. — В животе пусто, газу маловато! Откуда ему взяться — как расческе у лысого...

Постепенно стихли разговоры в снежном домике. Каждый

незаметно погрузился в свои думы, отстранившись от друзей, от зимней ночи... И опять вдали... где-то вдали простонал чей-то высокий невнятный голос, то ли плача, то ли жалуясь в тоскливой песне. Может быть, голодные волки? На сей раз услышал этот голос лунной ночи и Бакытжан, испугался, но попробовал испуг свой перебить шуткой.

— Уй! Хи-хи! — попытался он рассмеяться, но безуспешно. — Как бы, ребята, волки не прибежали и трактор наш не слопали! — сказал он с наигранным весельем.

— Не бойсь! — хватая его за бок, прогудел Аманжан. — Ты у нас самый жирненький, тебя и скушают первого. У, бурдюк с маслом!

Оробевший Бакытжан, и так-то опасавшийся хмурого своего приятеля, на этот раз хотел промолчать, но не сдержал сердца и ехидно отвечал:

— Пока толстый похудеет, худой сдохнет, знаешь это? А волки, между прочим, не будут разбираться, кто худой, кто жирный. На бульон им и ты сгодишься, почтеннейший.

Нуржан старался думать о том о сем, чтобы только не задремать. Предательский сон незаметно подбирался к глазам, и парень кулаком тер их. Каждая мысль, на которой он старался сосредоточиться, убегала, словно мышшь, и Нуржан удивлялся: когда не надо, мысли так и лезут роем, а теперь, когда ему нужно думать и думать, чтобы не заснуть, не удержишь в голове ни одну... Он пробовал вспоминать время — два года службы, — которое провел в Германии, и ничего не приходило на память, кроме ночного караула, когда тоже спать хочется, а тебе еще стоять и стоять на часах, выпучив глаза и вытянувшись по строевой стойке... Нет, было невозможно бороться со сном подобным способом, и Нуржан попросил у приятеля закурить. Однако с непривычки он при первой же затяжке поперхнулся и долго кашлял...

— Только не спать, ребята! — прохрипел он, отдышавшись. — Ни в коем случае, слышите? Давайте лучше высокочим и побегаем, а? И сон прогоним, и немного согреемся.

— И то дело, — согласился Аманжан и, решительно ткнув горящий окуроч в снег, метнулся, пригнувшись, к выходу.

— А я не хочу! — запротивился было Бакытжан, но его ребята выволокли из снежной юрты за ноги, бросили в сугроб и, навалившись, стали щекотать под мышками. Разбросав приятелей, Бакытжан с диким хохотом умчался далеко в сторону.

Ночные горы светились округлыми боками, тихие, торжественные... Мороз крепчал. И снова откуда-то из-за Айыртау

донеслось... Песня Снежной девушки? Волчий вой? И Аманжан, обернувшись в ту сторону, откуда доносились звуки, охотно завыл по-волчьи. Ночь не откликнулась даже эхом — словно замерший беззвучно зверь, подавившийся костью. Надснежный мир, посеребренный луною, казался покинутым всеми людьми, и осталось их всего трое... владельцев всего этого великоления. Они кричали, были по-волчьи, смеялись, нарушая мертвый покой морозной тишины. Словно вопреки покорству земли, надевшей белый саван, парни хотели возвестить всему миру, что человек еще жив, что он будет бороться за себя, что смерть не настигнет их на рассвете грядущего дня.

— Драка пужна, — сказал Аманжан. — Хорошая драка, вот что я вам скажу. Я уж из сил выбился, а все еще не согрелся. Так дело не пойдет. Надо нам подраться. — И он скрипнул зубами, хлопнул руками в меховых рукавицах.

— Эй, я не буду, акри, играйте без меня! — отказался сразу же Бакытжан и отбежал в сторону.

— С тобой разве справишься? — сказал Нуржан Аманжану.

— А вы вдвоем налетайте! — задорно отвечал тот. — Ну, подходите! Ур-ра! Драка начинается!

Подбежал Бакытжан:

— Ну если двое на одного, это можно! Начинай, Нуржан! А я потом свой прием покажу!

Нуржан (*смеясь*). Какой прием?

Бакытжан. Нападу сзади, вот какой!

Нуржан. Ладно! А я люблю драться лицом к лицу!

Аманжан (*поднимая руку*). Стойте, вы! Разве это драка? Кто же начинает драться с улыбкой на лице? Нет, так не годится, не настоящая это драка. А потом — я знаю, как вы собираетесь нападать! Сейчас стану спиной к трактору и буду поодиночке щелкать вас, как котят. Нет уж! Я так не хочу. Давайте лучше обложим друг друга матом! Может быть, разозлимся тогда? Будем от души ругаться, ребята, все равно нас никто не услышит. Может быть, последний раз в жизни придется ругаться...

Нуржан. Э, нет, почтенные! Я ругаться не мастак.

Бакытжан. Давайте попробуем начать драку, как собаки!

Аманжан. Как это — как собаки?

Бакытжан. А рыть лапами землю! Ну-ка рой! Рой и гавкай!

Аманжан (*грозно*). Р-р-р! Ав-ав!

Бакытжан. Ав-ав-ав! Молодец! Из тебя, парень, получилась бы неплохая овчарка. Но довольно! Хватит тебе снег из-под себя кидать. Лучше, ребятишки, попробуем, как делали раньше баи! Наши казахские баи устраивали состязания, кто кого переругает. Бросали плетки в круг и начинали ругаться. Вот и мы — бросим в круг варежки!

Аманжан. Идет! Ругаться так ругаться!

Бакытжан (*подбоченившись*). Начинаю! Буду за двоих стараться. Эй, Аманжан, держись, не реви только, как бешеный верблюд, а сначала выслушай меня. Твою огромную, как собачья плошка, пасть... твоих овец в хлеву... твою пустую башку... твои волосы, торчащие, как у ежа... всего тебя туда и сюда, и так и разэтак... Фу! Я сказал, а теперь ты давай. Трудно, оказывается, ни за что ни про что ругать человека. Даже вспотел...

Аманжан (*прокашлявшись*). Ну, ляуки, теперь ты держись... Эй, Бакытжан! Ряшку твою, которую ты налопал, и шею твою бычьёю... все поколения твоего рода... все добро твое я дважды, трижды... На рукавицу, шпаль теперь ты.

Нуржан (*смеясь*). Ну, здорово! Так даже баи не умели ругаться.

Бакытжан. А ты что, решил судьей быть на состязании? В таком случае великий Нуреке, повелитель наш, вы должны сказать: ребята, перед вами все прежние баи — ничто!

Нуржан. Оу, вы современные мастера сквернословия! От вашей ругани невольно запрыгаешь, как муравей на горячей сковородке.

Бакытжан (*воодушевляясь*). Эй, Аманжан! Ты говорил, кажется, что «ДТ» устарел? Так вот, трактор не арба, а сани есть сани, не веришь — сбегай посмотри. Нуржан с ума пока не сошел, а до хорошего умом не дошел, он тракторист, а не директор, и если ты желаешь ругаться, то вот тебе: чашку твою, из которой ты пьешь, и мать твою рядом с коровами...

— Чего-о? — глаза Аманжана сверкнули, как у волка. — Отца как хочешь ругай, а мать не тр-рогай! — зарычал он.

И, бросившись на коренастого Бакытжана, он сильным ударом в плечо свалил того в сугроб. Драка, похоже, все же

началась. Бакытжан с воплем вскочил и, поискав вокруг себя какое-нибудь оружие для нападения, ничего, кроме снега, не нашел.

— Отца, говоришь? — взвизгнул он. — Так я твоего отца... и так и этак, понял? Я с тобою понарошке, а ты взаправду, да? Сволочуга!

Цапнув пригоршню снега, он бросил его в лицо Аманжану, затем подскочил к нему и хотел пнуть в живот, но тот ловко увернулся и, схватив противника за ногу, опрокинул его в снег. Дело приняло дурной оборот, и Нуржан вынужден был срочно вмешаться.

— Перестаньте! Озверели, что ли?! — кричал он, пытаюсь разнять драчунов.

Разгоряченный Аманжан не раздумывая наотмашь ударил его по голове. Из глаз Нуржана посыпались искры, он едва устоял на ногах. Тяжелая была рука у Аманжана. Нуржан топтался на месте, не зная, что делать. Но тут увидел, как озверевший парень пинает и пинает товарища, хищно согнувшись над ним, мечется вокруг него, словно дьявольская тень, а тот только стонет и беспомощно барахтается в снегу.

И, вновь подскочив к ним, Нуржан заорал:

— Опомнись, фашист чертов!

— Кто фашист? Я тебе покажу фашиста! Все равно не жить на свете! Никто из нас не уйдет отсюда живым... Все равно подыхать. Так получай же! — и Аманжан снова набросился на Нуржана.

Надо было защищаться уже всерьез. Аманжан, буян и забияка, в гневе способен был сокрушить все вокруг себя, и была бы сейчас в руке у него сабля, он изрубил бы на мелкие куски своих старых друзей. Дикая кровь порою разбушует в человеке, и он жаждет биться насмерть. После второго жестокого удара, полученного от приятеля, Нуржан тоже потерял голову. Дрожь от ярости, бросился он на Аманжана и приемом, выученным в армии, ударил того сначала в живот, а затем, когда противник согнулся пополам, — ребром ладони по загривку. Здоровенный жигит не сразу свалился, его водило из стороны в сторону, но он все еще был на ногах, — тогда Нуржан пинком поверг его на землю и принялся отделывать задубевшими на морозе валенками...

А вскоре, когда они все втроем снова лежали рядышком в снежном домике, Нуржану было смертельно стыдно за се-

бя... Спать уже не хотелось. Никто не разговаривал. Каждый про себя по-своему переживал случившееся.

А вокруг них по-прежнему стыл под луною белый-белый мир. Давно прошумевшие бураны насыпали снежные холмики, затем выцербили их края — и повсюду остались острокопечные торосы. Ледяным смертным холодом веяло от них... Жизни нет, нет жизни нигде вокруг, белый мир далек от шума и гула хлопотливых обитателей земли. С головою накрывшись снежным одеялом, дух лунной ночи дремлет в непостижимой тишине... И в ней растворялись беззвучно и невидимо думы и грезы троих молодых жигитов, застигнутых безжалостной и равнодушной стихией. Не только о том они думали, удивляясь самим себе, почему вдруг разъярились и схватились, не об ударах сожалели — о тех, которые нанесли, и о тех, которые получили.

Исподволь, незаметно перенеслись их думы от жестоких испытаний этого дня к иным, более далеким дням, часам и минутам...

* * *

Никогда Нуржан не испытывал чего-нибудь такого, что осталось бы для него чудесным, сладостным воспоминанием. Никогда... ничего. Самые обычные дела, заботы о повседневном существовании наполняли все дни его жизни. Дни, похожие один на другой, неяркие и неинтересные. Ни на одну девушку еще не взглянул хмельными глазами влюбленного. О чем же ему вспоминать теперь, в эту неуютную ночь? Неласковый нрав родной матушки-земли, холодное дыхание ее осени и лютая зимняя стужа ему хорошо известны. Не первый раз ему приходится мерзнуть и голодать... Прошлой осенью они ехали на грузовиках большаком вокруг Айыртау. Их было десять человек, здоровенных жигитов, они целый день нагружали сено на машины, а к вечеру, когда отправили пятую машину, пошел дождь. Грузовик, на котором они хотели вернуться, увяз по самые борта, пришлось бросить его на дороге и топать по грязи пешком. До ближайшего села Огневки было километров десять, парни добирались до него под холодным дождем, то и дело проваливаясь по пояс в топкую глиняную жижу. Налетел еще и ветер с градом, посек им мокрые лица. Парни, одетые в одни ватные телогрейки, промокли насквозь и всю дорогу проклинали дырявое небо, холод, грязную дорогу, свое начальство, отправившее их за сеном на край света. А тут еще навалилась вскоре темнота, настала беспросветная осенняя ночь, дождь усилился,

и жигиты уже не чаяли когда-нибудь добраться до жилья. Наконец впереди сверкнули огни аула, до которого им пришлось еще долго брести по грязи. Сапоги у них были полны воды, за шиворот натекало, и снова в темноте обрушился на них град — парни дрожали, лязгая зубами, ругались и громко клялись никогда больше не заглядывать в чертов Глубинный край, пусть хоть золото посулят величиною с лошадиную голову...

Наконец добрались до узенького моста, перекинутого через речушку на краю аула. Ощупью перебрались через мостик, причем Нуржану не повезло, и он свалился в воду... Шум при этом произвел он изрядный, утки, ночевавшие в кустах прибрежного тальника, испуганно взмыли вверх. Кайкен и Акай еле вытянули его на берег. Негде было присесть, чтобы хотя бы вылить грязь и воду из сапог. И вновь осыпав проклятиями непогоду и начальство, трое приотставших жигитов поплелись по темной улице Огневки.

Они так и не встретили тех семерых, которые ушли вперед. Должно быть, уже пристроились куда-нибудь... Стали сами стучаться то в одни, то в другие ворота. И всюду безуспешно! Все село почти обошли, а нигде, ни в одном доме даже дверь не приоткрылась. То ли воров боялись, то ли наплевать было людям на чужую беду. И молодые ребята — Кайкен, Акай и Нуржан — были подавлены проявлением столь жестокого и постыдного равнодушия жителей этого глухого села. Наконец, неуверенно постучав в дверь небольшого, стоявшего на отшибе домика, они услышали долгожданный человеческий голос. «Кто там?» — спросила из сеней женщина и, не дожидаясь ответа, открыла дверь. Увидев троих парней, вид у которых был довольно плачевный, хозяйка испуганно воскликнула: «Вам чего надо?» Акай, самый бойкий из троих, торопливо, умоляюще заговорил: «Хозяйка, ради бога, пустите переночевать! Рабочие мы, из Карагайского района. Машина в дороге застряла, пешком идем, хозяйка! Пустите обогреться, хоть у порога посидеть!» Из дома послышался мужской голос. Женщина ушла, видимо, посоветоваться с хозяином, вскоре вернулась и широко распахнула дверь: «Входите!»

«Входите!» Это слово прозвучало для Нуржана как сладкая музыка. «Входите!» — голос человеческого внимания, доброты и доверия. Услышишь такое — и, кажется, умирать можно спокойно.

В маленьком домике было тепло и уютно, как в гнездышке; две комнатки были чисто прибраны. Когда молодые люди вошли, в ноздри им ударил густой, маслянистый дух борща — и голодные ребята вмиг повеселели. Перешагнув через порог, они смущенно затоптались на месте, и тогда белокурый сероглазый человек, сидевший на широкой лавке у стены, сказал им по-казахски:

— Проходите, гости, не стесняйтесь! Снимайте одежду и повесьте у печки, пусть сушится. Проходите!

Неудобно было после этого столбом торчать возле двери, и Акай, как человек более опытный и старший, первым вышел в сени; там, выкручивая вдвоем, выжали мокрые телогрейки, разулись и выжали портянки; после этого прошли в комнату, к печке, и развесили на веревке сырую одежду. Хозяин все это время молча внимательно следил за ними, затем дал знак жене, веля ей подавать еду на стол. Из горницы выставились две-три детские головки, вытаращили глаза, но отец прикрикнул:

— Ну-ка спать! Людей не видели, что ли?

Когда перед голодными, озябшими парнями хозяйка поставила по тарелке горячего, исходящего паром борща, каждый из них почувствовал себя заново рожденным. Сопя, жмурясь от удовольствия, в минуту проглотили огненный борщ, умаяли куски теплого, пахучего, недавно вынутого из печи хлеба... Переменчива человеческая душа! Только что молодые жигиты готовы были проклясть мир и со злобой отречься от него, а теперь, получив кров и еду от людей, чей род и чье племя готовы были проклясть навеки, повеселели и сидели на лавке довольные, оживленные, словно воробьи на ветке. Теперь, согревшись и насытившись, могли они внимательнее присмотреться к гостеприимным хозяевам. Взглянули они на хозяина, по-прежнему сидевшего на лавке... и глазам не поверили. Никто из жигитов, правда, не выдал своего удивления, но каждый из них на мгновение замер, затаил дыхание... Незаметно, безмолвно переглянулись ребята. У русского, ясноглазого хозяина не было обеих ног, на лавке покоились короткие обрубки. Должно быть, все же заметив неловкость и смущение гостей, хозяин заговорил сам:

— Гитлер мои ноги забрал, ребятки. Он, проклятый! Восьмого мая, в предпоследний день войны, подорвался я на mine.

Произнес он это спокойно, буднично — так говорят, когда

сообщают, какая нынче погода на улице. Фамилия хозяина, инвалида войны, была Ретивых.

— Я был в Германии,— сказал тогда Нуржан.— Служил там в армии.

— Ну и как, поправился тамошний народ?

— Живут чисто, люди аккуратные, точные, не то что мы. Деловитые люди.

— Из такого народа выходили и гении всякие, и злодеи великие, черт бы их подрал,— молвил хозяин.— Ладно, ложитесь спать, устали небось. Ох, нынешняя засуха дорого обходится людям.

— Говорят, в последние годы климат заметно меняется,— решил поддержать разговор Акай, только что клевавший носом.

— Не только погода, сынок. Люди меняются, бога забывают,— тихо молвил хозяин.— Совсем другим народ становится.

— Увидели мы сегодня, каким он стал, ваш народ,— усмехнувшись, сказал Акай.— Если бы не вы, до утра под дождем мокли бы. Чураются людей ваши кержаки.

— В нашем селе не одни кержаки живут,— был ответ.— У нас и казахов много...— Но, видимо не желая обижать гостей, перевел разговор на другое: — Добро и зло у человека не в крови или в нации, а в его душе,— говорил он ласково.— Чем больше богатеет человек, чем больше добра заимеет, чем лучше живет — тем скорее забывает он о главном, о душе своей, ребятки. И как знать — не будь я калекой, а будь при своих при двух, то, может быть, тоже сейчас был бы как они и не пустил вас ночевать... Как ты думаешь, Маша? — обратился он весело к жене.

Его жена, миловидная, полная женщина, хлопотавшая в отгороженной кухоньке, отозвалась под веселый перестук посуды:

— А что? В молодости и ты шибко гордым был, ох голову и задира! Самому царю, поди, не стал бы кланяться. Был за тобою такой грех, ей-богу, не вру. И меня-то не очень жалел. А за девками сколько бегал? Спасибо, Гитлер ноги укоротил, а то бы...

Все рассмеялись. Полусонный Кайкен разлепил свои узкие глаза и хотя ничего не понял, но тоже счел нужным улыбнуться...

Нуржан в ту ночь долго не мог уснуть. В закрытых глазах возникал хозяин, уродливо укороченный, сидящий на

лавке в позе Будды. Подумалось, что сытый народ, такой, как в этом ауле, давно утратил бы совесть, не будь среди него таких людей, как инвалид Ретивых... Подумалось, что люди рождаются на земле не для того, чтобы угождать только себе, но, очевидно, друг для друга. Еще подумалось, что людям, недолго копошащимся на земле, живется не так уж легко и радостно, горя у них хоть отбавляй. И почему-то вспомнилась восьмидесятилетняя бабка — как в прошлом году она упала с крыльца и сломала ногу, а когда за нею прибыла «скорая помощь» из района, старуха приказала внуку: «Эй, Нуржан, ну-ка поправь мне палец на ноге, а то он подвернулся как-то не так», — и сама же рассмеялась своей шутке. Сила духа старой бабушки поразила тогда Нуржана, и он мысленно пожелал себе, чтобы и ему была дарована такая сила... Шел дождь, не переставая стучал по крыше, хлестал мокрыми струями в окно, беспокоя внезапным шумом людей, погруженных в сон. Шум дождя порою напоминал Нуржану о каком-то давнем событии, которого вспомнить невозможно, и от этого так грустно становилось ему, и грусть парила над ним, лежащим в ночи, словно невидимая птица. И шелест крыльев у этой птицы — словно тоскливый шепот, плач заставанной невесты. Но вот упорхнула прочь ночная птица — грусть, на прощание брызнула на него живой водою из клюва... исчезла, не слышно ее... а вот снова что-то зашелестело. Может быть, опять она? Нет, улетела навсегда, далеко, безвозвратно, — может быть, разбилась о скалу в ущелье и погибла...

Это затерянное в горах человеческое поселение не ведало шумных радостей большого мира. Люди жили там своей загадочной жизнью, у них были свои праздники, свое горе, неведомое другим. На большой карте нет этого поселка, но у маленькой деревни, для которой не нашлось и точки на географической карте, несомненно были какие-то свои большие мечты.

Наутро, вволю напившись чаю в гостеприимном доме и поблагодарив хозяев, парни ушли. Ушли — и тут же столкнулись еще с одним испытанием жизни. Те семеро, что вчера ночью бросили и не стали даже искать их, сегодня утром уехали, оказывается, на тракторной тележке! Трактор с прицепом как раз направлялся вниз с перевала. Больше попутного транспорта пока не предвиделось. Трое незадачливых жигитов побегали туда-сюда, но все было напрасно. Огневка, видно, не хотела отпускать их. Село это являлось бригадой колхоза Кайынды, центр которого был внизу, у

подножия гор. Всю зиму, оказывается, не было никакого сообщения между Огневкой и остальным миром, даже с конторой колхоза. Но земля тамошняя была замечательная, черная, урожаи всегда хороши, трава на пастбищах и покосах обильна. Если польют дожди — овец не выгоняли из-за грязи и распутицы; зимою глубокий снег перекрывает все пути; весна там наступает поздно, а осень — рано. Колхозная работа в Огневке выполнялась вдали от начальственного ока кое-как, — похоже, на огневских давно махнули рукою: пусть живут, как могут. С севера земли бригады замыкала река Хатунь, с юга — река Бухтарма, и огромные, тучные угодья оставались без особой пользы. Огневка сама тоже была равнодушна к новостям большого света, жители ее были замкнутые, неразговорчивые люди, каждый смотрел бирюком. Пришло бы откуда-нибудь войско, заняло всю деревню, везде у ворот выставили бы часовых — огневские и головы не подняли бы, чтобы посмотреть, что творится на улице. Когда с ними здоровались проезжие и прохожие люди, огневчане никогда не отвечали и, словно глухие, проходили мимо. Безразличие и равнодушие их было поразительным. Казалось, грянет над макушкой гром, треснет небо пополам, а им хоть бы что — и ухом не поведут. И ведь не скажешь, что потому характеры людей таковы, что сам край суров. Зимой и осенью, конечно, было весело там, но зато нет ничего прекраснее весеннего и летнего времени в Глубинном крае! Разве что в прекрасном сне почудится такая красота.

Трое парней зашли в контору, где в крохотной комнатухе, мгlistой от табачного дыма, сидели несколько человек. Едва повернув головы, чтобы взглянуть на прибывших, колхозники продолжали стучать костяшками домино. Постояв некоторое время у порога, молодые люди так и не дождались внимания к себе, и Акай, нетерпеливо перебросив торбу со спины под мышки, спросил:

— Кто у вас начальник?

Игра продолжалась, никто и не собирался отвечать. Тогда Акай повторил вопрос, возвысив голос:

— Начальник есть в этой шараге?

Длинный сухожилий мужик хмуро взглянул на него и нехотя произнес:

— Чего орешь? Тут нет начальства... и глухих нет, ясно?

Другой, жирный широколицый казах, объяснил пришель-

цам, что бригадира нет, уехал вниз утренним трактором.

— А вам он зачем? — спросил он.

— Уехать отсюда... хоть на чем-нибудь, уважаемый, — вежливо ответил за всех Нуржан.

— Вечером еще два трактора вниз отправятся, на них и поедете, — сообщил казах. — Наверное, возьмут вас...

До вечера парни шатались по селу, и никто не подошел к ним. Увидели козлобородого старичка казаха, выгребавшего навоз из конюшни, кинулись было к нему, как к отцу родному: «Ассалаумагалеikum, аксакал!» — а тот только дико вытаращился на них, ничего не ответил. «Когда-то, — вспомнил потом Акай, — в село пришли несколько казахов, и нанялись они в работники к богатым кержакам. Наверное, это один из потомков тех казахов».

Вечером они кое-как уехали. Пьяные трактористы не хотели везти их даром, требовали денег на бутылку. Денег у ребят не было, но в торбе Акай, которую он так берег в эти дни, случайно или не случайно оказалось килограмма три шерсти. Ею и расплатились с трактористами. В кабине для жигитов места не оказалось, пришлось им ехать в грязном прицепе.

* * *

И вот опять Нуржан в Глубинном крае...

Боясь, что ребята могут уснуть, он приподнялся с места и прислушался к их дыханию. Потрогал их за носы — каждый отмахнулся, не издав ни звука. Знать, не прошла еще обида после внезапной драки. Но это уже не очень беспокоило Нуржана. Все же не без пользы была потасовка — хоть сон разогнали. И он вновь улегся на место, стих и, глядя над собою в темноту, предался воспоминаниям. На этот раз он вспомнил о событии, происшедшем весной того года, когда он вернулся из армии домой. Закрыв глаза, он представлял...

Вот как это было.

Чудесная весна: все вокруг голубое, белое и зеленое... (И ни этого холода не было, ни бескрайних снегов, ни замерзших товарищей рядом, ни волчьего воя из ночи.) И он был один... Неужели один? Да, бездонным было над ним небо и недостижимым горизонт. Погруженный в свои мысли, он тогда не заметил, как склонилось низко солнце, усаживаясь в свое огненное гнездо... «И откуда мне было знать, — думал

теперь Нуржан, — что я навсегда запомню этот вечер, что из всех дней, сгоревших, улетевших без следа, именно этот день станет для меня памятным и я буду тосковать по нем, как тосковал и в тот вечер, лежа на старом остожье, где оставалось немного сена...» Думы — они бесконечны, как небо, как облака в нем; но чего они стоят, если можно хотя бы взглянуть на закат солнца, на свежую краску юной весны; посмотришь в такую пору, вернувшись издалека, на свой привычный аул — и не узнаешь его, и в восторге готов расцеловать каждую веточку на дереве, каждый степной цветок, только что распустившийся, каждый листок на молоденькой березе; обнять, прижать к себе маленького верблюжонка, переступающего слабыми ножками, жеребенка со звездочкой на лбу, приникшего к материнскому паху; жадно припасть к горному роднику, гремящему в камнях; провожать взглядом, полным счастья, летящих гусей, которые тоже вернулись на родину; вдохнуть широко, всей грудью сладкий как мед воздух весенней степи — и в сердце само собою родится песня... «Я лежал на ворохе старого сена, и низкое солнце светило мне в глаза, положило на землю длинные-длинные тени, вызолотило округлые вершины холмов, едва покрытых нежной травкой, сгустило, как кровь, струи родника, бросило алый отблеск на крутые рога бредущих по дороге коров... Шла лицом к заходящему солнцу девушка по степи, и в глазах ее также мерцал огненный отблеск зари, шла девушка, не замечая меня, словно плывущий по золотому плесу лебедь, все дальше уходила от аула, от всех любопытствующих глаз и что-то напевала тихим, нежным голосом. Казалось, песней хотела она выразить свою спокойную уверенность и девичью гордость: да, я хороша, я чудо из чудес, я красавица... Вдруг остановилась она возле родника, и я глубже зарылся в сено, чтобы красавица меня не увидела, чтобы не спугнуть ее. Нагнувшись к роднику, она зачерпнула рукою воду, блеснувшую словно тяжелая ртуть, и стала похожа на золотистого кеклика, пьющего из ручья. Платье, сшитое из тонкой ткани, было узко на ней; казалось, вздохни она поглубже — и разорвется оно на тесно охваченной волнующейся груди. На лбу и на шее черные волосы выются колечками, стан тонок и гибок, как прут тальника, качающегося под ветром... Я лежал затаившись, не смея шевельнуться, и, глядя на девушку, задумчиво сидящую у родника, думал: может быть, это и есть моя любовь, которую я искал повсюду, ждал каждый день, надеясь, что завтра, может быть, завтра придет она ко мне... Мне стало даже страшно,

что вот уже случилось это, пришло, пришло наконец, и я испуганно закрыл глаза — но и тогда она не исчезла: в своем голубом платье светилась передо мною в бархатных сумерках; только вдруг взмахнула крыльями — оказались у нее крылья, как у ангела, — и взмыла вверх... Я открыл глаза и увидел, что рядом с моим ангелом стоит парень и, положив ей на плечо руку, что-то говорит с наглым видом. Девушка не хотела, по-видимому, соглашаться с тем, о чем говорил ей парень, но он рывком потянул ее, заставил подняться на ноги и увел в сгустившуюся темноту... Я не решился пойти за ними, хотя и стало мне так грустно, что казалось, сердце разорвется в груди; я лег на спину и стал считать звезды, но их столько уже высыпало в темно-синем небе, что считать было бессмысленно, и я только смотрел, как они мигают, срываются и падают, летят вниз струйками огненного дождя... Ни одна из них не упала мне на грудь, в которой так быстро вспыхнула и сгорела любовь. Я лежал и смотрел в небо, и в поздрах моих стоял запах сопревшего теплого сена...» Аул стихал, постепенно погружаясь в сон, и где-то прозвучал знакомый голос матери: «Нуржа-ан! Иди домой!»

* * *

И Аманжан лежал, тоже захваченный воспоминанием. В темноте глаза его были широко открыты. Понятнее запахнув полы замасленного полушубка, он думал о том, что произошло летом на джайляу... когда звезды были совсем не такими, как в эту зимнюю ночь.

...Заканчивалась вечерняя дойка кобыл; жеребят отвязали и подпустили к маткам; табун, кружась и разворачиваясь, постепенно удалялся к сосняку. То и дело раздавалось визгливое, свирепое ржание дерущихся жеребцов — косяки еще не разделились. Усталые табунщики, сидевшие у своих четырехкрылых юрт, поднимались и издали зычно кричали на драчунов: «Ай! Уй!»

«Мы привязали лошадей к дереву и пошли к юрте, — вспоминал Аманжан. — Дерево стояло с задней стороны юрты. Хозяин попался добрый, приветливо нас встретил. Из юрты доносился шум — сливали саумал, звякали посудой. Стало темно, табун вдалеке еще можно было различить, но костры стали уже намного ярче. Над горой, что была похожа на лежащего верблюда, в небо словно вбили серебряный гвоздь — взошла звезда Чабана. В темноте табуны ушли совсем, не слышно стало фыркания, хrapа коней, лишь изда-

ли доносился иногда визг сцепившихся жеребцов. Я слышал теперь, как в юрте глухо пришепывают мешалкой — взбивают кумыс... Где-то вдаль девичий голос прокричал: «Жолдаяк! Жолдаяк!» — призывал, видимо, собаку. Я стал думать, что этот Жолдаяк, наверное, любимчик хозяйки, баловень, ее забава, а сама она, должно быть, тихая и славная девушка и все мечтает, когда одна... Хозяин-табунщик, стоявший рядом с нами, заложив руки за спину, ласково усмехнулся и сообщил: «А это наша Акбилек. От чабанов, должно, идет». После этого мы прошли в юрту. Высокая и красивая женщина, сбивавшая в сабе кумыс, приветливо поздоровалась с нами и стала разливать его по чашкам. Мы пили желтый густой кумыс с капельками масла, плававшими сверху. Глаза наши засияли от удовольствия. После двух-трех чашек и в голову ударило, все так славно стало вокруг, душа зародовалась. А хозяин оказался любитель поговорить, шпарил без передышки, и вот послышалось мне сквозь его говор, что кто-то подъехал на коне, да с песнею, смолк возле самой юрты... вошел в юрту. И я увидел тоненькую фигурку у дверей... расстегнутую телогрейку, узкие брюки, белый ворот кофты, красный платочек на голове — в одно мгновение заметил все это. Затем я рассмотрел лицо, освещенное десятилинейной лампой, и не знаю, то ли кумыс ударил мне в голову, но показалось мне, что это она, та самая, которую я всегда искал... Может быть, я смотрел на нее слишком пристально... не знаю, глаза наши встретились всего на секунду, но за это время, показалось мне, мы сумели понять друг друга... всего лишь за мгновение, пока другие не успели и дух перевести. Если бы знать в ту минуту, что не дано мне еще раз увидеть это лицо, не похожее ни на какие другие лица, боже... Отец сказал ей: «Акбилек, выпей кумыс и поезжай, дочка, заверни табун к Ешкиолгену». Она не стала пить кумыс, тут же повернулась и вышла. А мне долго казалось, что она все еще стоит у порога, держа руки в карманах телогрейки... Исчезла, словно сверкнувшая молния, ранила меня в сердце... и почему-то жаль мне стало ее, себя, все живое на земле... Почему-то жаль... Кумыс утратил для меня вкус, голова моя кружилась, кружилась. «Акбилек не поступила учиться, теперь вот отцу помогает», — сказала жена табунщика. Не поступила учиться... Зачем это ей? Ведь если бы поступила и жила где-нибудь в городе и я увидел бы ее не на пороге юрты, в которой пахло кислым кумысом, а где-нибудь в парке, на танцах, то не узнал бы свою мечту, ангела своего. И будь она одета не в телогрейку и брюки, а в самое яркое

сверкающее платье, то не показалась бы мне такой прекрасной. А теперь я знал, был уверен, что такая родится раз в сто лет, да, всего лишь раз в сто лет, — Акбилек, краса несравненная, творение щедрой природы. И что сделать, чтобы такая красота не пропала, не погибла в этих горах, став добычей зверей и птиц, чтобы не посягнул на нее недостойный; как быть, если тебе жаль ее, а ты беспомощен, слаб и нет смелости безрассудно кинуться со скалы в озеро... и еще будешь потом сваливать все на судьбу: мол, не дала нам соединиться на этом свете... Табун, наверное, был уже далеко, и лошади, пройдя сосновый лес, уже повернули к Ешкиолгену... Издали донеслась песня, протяжная, звонкая в ночной тишине. И потом, когда мы отправились дальше, два моих спутника тихо разговаривали между собою, а я все слышал. «Говорят, зоотехник наш заглядывается на дочь табунщика», — сказал один. «О алла! Разве у этой собаки нет жены и детей?» — ответил другой. «Двое детей у него, как же», — говорил первый, вздыхая. И оба они вздохнули... Я поглядел в небо, где звезды, словно огни громадного города, мигали и загорались, и не было им числа. Вот пролетела звезда, канула вниз где-то в стороне Ешкиолгена. Начался звездный ливень. Я весь раскрылся навстречу огненным струям звездопада, подставил ладони — но ни одна из звездочек не упала мне на грудь, не прожгла ее насквозь. И я задрожал, как от озноба, хотя была теплая, тихая летняя ночь, и вдали смолкла песня, пронзительно взвизгивали жеребцы, буйно ржали... ох как они ржали! Эхо долго гремело в горах. «Зоотехник, — думал я. — Что это за человек? Акбилек, неужели тебе не суждено быть счастливой?» И в ярости я безжалостно исхлестал камчою своего коня...

А теперь я лежу здесь, среди снегов, и мне становится все теплее и теплее. Где ты, дочь табунщика? Не заблудилась в горах, не покинула... не ушла из родного мира?.. Вон горит, распускается огненный цветок... огонь в нашем очаге, Акбилек. Ты взбалтываешь в чашке кумыс и подаешь мне... До чего же тепло, просто жарко... Какое блаженство!»

* * *

Поначалу Бакытжан долго не мог успокоиться: ему раньше и во сне не приснилось бы, что Аманжан может ударить его. Думал, что тот шутит, и вовсе не приготовился к защите... Бакытжан жалел, страшно жалел теперь, что вер-

нулся в аул, а не остался в городе. Да, напрасно не остался там... Была теплая городская осень. Народу тьма, сует туда-сюда по парку. Ну а танцплощадка среди этого людского моря — словно корабль, севший на мель. Полным-полно молодежи на этом корабле! Только войдешь в широкие ворота парка, как тут же подхватит тебя людской водоворот, потащит в сторону. Сотни девушек, парней, лица, незнакомые глаза — голова начинает кружиться, кажется, что вот-вот сойдешь с ума от всей этой нестроты, но с ума все-таки не сходишь, а в приподнятом настроении прогуливаешься в толпе, где все так же возбуждены, как и ты, и тебе хочется уже говорить, спорить о чем угодно, с кем угодно... Сияние множества электрических огней завораживает, музыка — под звонкое «ча-ча» медных тарелок — бьет в уши; девушки и парни разодеты в пух и прах; летят желтые листья, уходящее лето ведет за собою ласковую, робкую осень, время летит быстрее, чем листья осени, и молодежь спешит порадоваться своему недолгому, горячему счастью. Сверкают огни, и в глазах людей вспыхивают их отражения; лица становятся бледнее и бледнее, словно гасит их грустное напоминание о неминуемой осени. Но кто-то, громко смеясь, пытается поймать летящий по воздуху тополиный лист, не дать ему упасть на землю. И, глядя на это веселье, невольно подумаешь: а ведь слукавило лето, сбежало от серых туч, холодного ветра и укрылось на этом уютном острове электрического света, музыки, молодого веселья! Под каждым деревом гремит здоровый смех парней, стоящих кружками, все они в светлых брюках, опоясаны широкими ремнями; курят, хохочут, болтают — и в грубые мужские голоса вплескивается звонкий девичий смех. Электрических огней так много, что за ними не видно звезд в небе, про них забыли здесь... Народу, однако, не так уж много — только кажется, что не счесть людей, но это поначалу, когда войдешь в парк; обойдешь танцплощадку и выходишь на прежнее место, снова обойдешь — и кружишься, кружишься в толпе, и с каждым новым кругом все больше замечаешь лиц, замеченных и как бы знакомых, и вскоре кажется, что ты уже всех знаешь в лицо...

«Я приехал в город, чтобы поступать учиться, — вспоминал Бакытжан, — пробыл там всего два дня, мало кого зная еще, мало что понимая, все старался приглядываться к другим. Танцплощадку обошел уже два раза, танцевать не стал: а вдруг пригласишь ненароком чью-нибудь девчонку, за которую еще и схлопочешь по морде от этих невоспитанных

городских парней... После того как я сделал по парку уже кругов десять кряду, занятие это мне наскучило, а по другим не видать было, что надоело кружить, и я заметил, что гуляют-то они не в одиночку, как я, а парами или компаниями, и среди всех я заметил одну девушку, которая тоже прогуливалась одна, в руке у нее был зонтик в чехле, никто почему-то не обращал на нее внимания, хотя была она красотка, можно сказать, и очень заметно выделялась в толпе — а таких ведь и девушки не обойдут ревнивым взглядом, и парни не оставляют без внимания. Светлолицая, какая-то особенная, для меня она была случайно попавшей в нашу толпу принцессой, но почему-то никто даже украдкой не косился в ее сторону, хотя личико у нее, освещенное огнями парка, было просто прекрасным, и походка была прелесть, и фигурка точеная, и в глазах сияли золотые огоньки, и длинные ресницы были загнуты вверх — ангел бы не сравнился с нею. В людском потоке она была словно лебедь, одиноко плывущий по волнам, и лишь человек, которому за какую-то страшную вину нет прощения или которого захватило горе, мог бы пребывать в таком одиночестве. Ведь такому ни к чему забавы нашего мира, — словно раненная в сердце, потерявшая друга лебедушка, плыла она в потоке вечерней толпы. Может, какой-нибудь тайный изъян у нее, скрытый от посторонних глаз, приходило мне в голову... но нет, не может этого быть, просто она настолько лучше, чем все вокруг, что не может найти себе пару, нет никого, кто мог бы стать рядом с подобной красотой. Она неприступна, как высокий утес, каждый из нас вызывает у нее лишь презрение; парни видят ее, конечно, но они не осмеливаются хватать выше своих возможностей, им не хочется напрасных усилий — вот и делают вид, что не видят вершины над собой. Вот тогда я, несчастный, и загорелся: знать, нет во всем городе смельчака, который решился бы покорить эту высоту, пойти на смертельный риск ради этой живой богини, и... может быть, мне стоит рискнуть, ведь девушки интересуются чужими парнями, вот и подойти... подцепить ее на крючок, а эти длинногровые вокруг пусть лопнут от зависти. Набравшись духу, я подлетел к ней и очень тонко, словно кавалер, сказал со всей учтивостью: «Сестреночка, а сестреночка! Почему одна ходите? Вас волки не съедят?» — откуда только слова такие взялись... А она не ответила, даже не оглянулась на меня, чтобы хоть убедиться: человек ей что-то сказал или собака пробрехала, — нет, продолжала себе гулять как ни в чем не бывало, не спеша, о чем-то печально задумавшись. «Се-

стреночка, а сестреночка! Как зовут? Давайте знакомиться!» — решил я действовать дальше, но опять в ответ не услышал ни звука, не удостоился взгляда: смотрела по-прежнему моя принцесса куда-то вдаль, наверное в другое, неземное, царство. Три круга я прошел за нею словно привязанный, и все напрасно; мне стало стыдно, мне стало страшно, как собачонке, оказавшейся среди чужой стаи, надежды мои рухнули с небес на землю, я чувствовал себя поганеньким перед гордой девушкой, следовало повернуться и быстренько уйти, смыться, то есть сделать то, что подсказывал разум. Вместо этого я продолжал молча идти рядом с нею. Народ, до сих пор занятый самим собою, болтовней и разными шуточками, вдруг стал обращать на нас внимание, парни и девушки начали поглядывать в нашу сторону, перемигиваться, да посмеиваться, да пошучивать, но я гордо выпрямился и подумал: «Ах, вы... Пускай она мне слова не сказала, но я иду рядом с самой красивой девушкой! Ну-ка, кто из вас такой же смелый?» — и посмотрел на всех насмешливо, с вызовом. Когда мы с девушкой стали пятый раз обходить танцплощадку, красавица наконец процедила сквозь зубы: «Зря стараешься...» — и голосок у нее был ледяной. Но я воспрянул духом, сразу повеселел и сказал ей торопливо: «Ну, хоть взгляните на меня разок! Не позорьте меня перед людьми». Но гордячка больше и рта не раскрыла, и мы опять как заведенные стали ходить по кругу, причем показалось мне, что хождение это вовсе не надоело ей, а как бы даже наоборот... Скоро я заметил, что народ начал расходиться, загадочная молчунья тоже направилась к выходу из парка; я, значит, опять-таки вместе с нею, топаю рядышком, а где-то за углом раздался хохот, не знаю, над нами ли смеялись, но мне было наплевать: пускай завидуют, если сами не могли дотянуться... Я ни на шаг не отставал от девушки; она после двух сказанных слов и рта не хотела раскрывать, шла, запрокинув голову, смотрела в небо, а я тоже пытался любоваться звездами, хотел подладиться под ее душевное состояние, вздыхать и молчать, но не выдержал и сказал ей то, что накопело у меня в душе: «Сестреночка, звезды, конечно, красивые в небе, а вы тоже красивая и такая же недоступная, как звездочка. И хотя вы чудо, конечно, но все равно когда-нибудь станете чьей-нибудь женой, неужели вы уйдете в сырую землю, уважаемая, так и не найдя себе пару? А может быть, я, которого вы так презираете, как раз именно и есть тот человек? И напрасно тогда вы меня обижаете, ох напрасно! Не пришлось бы вам, дорогая, пожалеть о сегодняшнем

поведении, хотя я и рад, что вы такая строгая и степенная, какими и должны быть наши казахские девушки, — вы молодчина, что держитесь старинных обычаев, как наши матушки и тетушки. Но если вы цветок, уснувший во льду, и надо будет сто лет дышать на лед, чтобы растопить его, я это сделаю, алла-тагала! Только подумайте сами, сестреночка, стоит ли ждать так долго, ведь меня может и не хватить на сто лет, я считаю, вам лучше сейчас выходить за меня, а если, скажем, я вам не очень понравлюсь, то мы можем расписаться и я сразу же уеду в свой аул, мы расстанемся и будем вдали друг от друга скучать, писать письма, а потом встретимся через много лет, хорошо? Соглашайтесь, уважаемая, иначе вы потеряете меня...» — «Нет, это ты меня потеряешь! — вдруг крикнула она. — И не болтай того, чего не будет! Прощай!» Тут я увидел, что мы стоим у дверей какого-то дома, и она скрылась за этой дверью... А я вскоре шел по пустынной улице, и редкие прохожие, такие же одинокие, как я, иногда попадались мне навстречу. Поднялся холодный, сырой ветер и продувал меня насквозь, влетая, как говорится, через ворот и вылетая через штанины. Но небо было чистым, звезды так и сияли — казалось, сейчас они ливнем хлынут вниз, на землю. И я потянулся к ним навстречу, раскинув руки, подставил ладони, но ни одна звезда не упала мне на грудь, в которой так неожиданно вспыхнула любовь... Я шел по темным бесконечным улицам, и все, что составляло мое существо, мою душу и тело, жаждало новой встречи с загадочной принцессой.

А назавтра вечером я снова явился в парк, и первое, что увидел, подойдя к воротам, была машина «скорой помощи». В нее санитары укладывали бесчувственное тело моей бледной незнакомки. «Малика это, — произнес кто-то из толпы, собравшейся возле машины. — Бедная девушка, она так и не избавилась от своей падучей!»

Ах, этот чужой, незнакомый мужской голос будет до самой смерти звучать в моих ушах, словно гул осеннего ветра... Мои глаза закрыты, но я вижу, как ее, неподвижную, бледную, укладывают в машину... Мою принцессу с японским зонтиком. Я хочу уехать вместе с ней, я хочу к ней... они думают, что я все время сплю, валяясь на дне трактора, а я никогда не сплю, потому что смотрю на нее, и вот она снова передо мною... она машет мне, зовет к себе, и я пойду к ней... и мне так жарко... жарко... О, какое блаженство! Какое тепло!»

Напрасным был для замершей жизни щедрый свет луны, лишенный тепла, и снежный край, прохваченный сорокаградусным морозом, застыл в студеное покое, словно мерзлая глыба. И сама бледная луна оцепенела от холода, провалившись в толщу морозного воздуха. Ночь была безукоризненно красива, чиста и величественна, но и люта беспредельно. Три жигита, молча лежавшие в снежном домике, уйдя в свои воспоминания, постепенно стали погружаться в коварный сон, и вскоре оцепеневшие души их вынесло на зыбкое пограничье между жизнью и смертью. Теперь спасти их мог только непредвиденный случай.

Под луною на снегу темнел пленник трактор, железо которого, впитав в себя стужу беспощадной ночи, стало белым от инея. И смутно напоминала машина отчаявшегося поседевшего раньше времени человека, бессильно сжимавшего кулаки. Казалось, кругом все вымерло, убитое морозом, — ни зверя, ни птицы во всей громадной округе; ни единого живого существа. И стылая белая ночь лишь изредка оглашалась утробным воем смерти, тоскливым и жутким: «У-у-у! У-у-у-у!» Ночь длилась бесконечно, и лежали на ее ледяном дне три замерзающих человека, согретые призрачным жаром предсмертных грез, и смерть-волчица оскалила сверкающие зубы, готовясь сожрать их. Коварное тепло, обволакивающее сердца стынущих жигитов, между тем истаявало, и мелкая дрожь охватила их распростертые тела, и замирала кровь в жилах, и глубже становился сон.

Нуржан удивлялся сквозь этот сон, что его задеревеневшим от холода рукам и ногам вдруг стало тепло, очень тепло, словно укрыли его пуховой периной, и все тело провалилось в волны блаженного жара, защекотало, засвербило в ступнях, в пальцах ног... Словно бы лежит он в белой юрте, и у самого изножья пылает очаг, и пламя, вырвавшись оттуда, лизнуло ему пятки. Он поджал ноги, подтянул колени к самой груди — и неиспытанное блаженство охватило все его существо. Он чувствовал, что погружается в сладкий сон, как в детстве... безмятежный сон младенчества... шестикрылая юрта из белого козьего пуха... Нет, не надо открывать глаз, чтобы не исчезли это блаженство, это тепло... и не оказаться бы снова в холодной темноте снежной пещеры. Мысль эта всколыхнула забытую тревогу и настороженность Нуржана; он вспомнил, что опасно спать, и попытался сбросить сонное оцепенение, но уже не в силах был шевельнуться. И тогда

он, испытав смертельный страх, громко позвал друзей — Аманжана и Бакытжана.

Однако ни звука не слетело с его неподвижных губ. В белую юрту, где лежал Нуржан, вошла Снежная девушка. Она подошла к нему, беспомощно распростертому на торе — кто-то связал ему веревкой руки и ноги... она склонилась к нему, приподняла его голову и зашептала, умоляюще глядя на него: «Вставай, вставай скорее, мой жигит! Солнце уже высоко». Но, как ни пытался, Нуржан не смог шевельнуть и пальцем. Все тело его превратилось в неподвижную, тяжелую глыбу. И тогда он произнес, едва, с неимоверным усилием, шевеля губами:

«Кто ты? Ангел или человек?»

«Ты же знаешь... Я — Снежная девушка», — был ответ.

«Да... Да... Снежная девушка... Ты, красавица... Ты».

«Я...»

«Странно... Но почему только мне... один только я слышал твой голос, твои печальные песни?»

«Поэтому я и пришла к тебе...»

«Долго я ждал тебя... Искал всюду... Поцелуй меня... Какая же ты красивая! Говорят, зимой ты бродишь по снегам, а летом скрываешься под землю. Я не верю этому!»

«Не верь... Но я холодна, холодна как снег».

«И вправду! А почему так?»

«Потому что я не такая, как ты... Меня погубили злые люди».

«Какие? Кто?»

«Такие, как старик Конкай».

«Но разве Конкай можно считать человеком?»

«Как же... Конкай тоже человек. Такие, как он, созданы для того, чтобы обманывать и губить молодых. Это из-за него вы заблудились».

«Да! Но если бы не заблудились, я так и не встретил бы тебя. Значит, Конкай помог — и он, выходит, тоже нужен иногда».

«Когда-то Конкай и меня отправил в снега, и я заблудилась и с тех пор хожу по этим белым увалам... Встань, Нуржан! Я не хочу, чтобы и ты вечно бродил по снегам, оплакивая себя... Иди, Нуржан, догони и приведи обратно своих товарищей!»

«Привести их?.. Откуда?»

«Они направились в подземное царство. Они скоро замерзнут».

«Но как же я уйду? Мне так хотелось с тобою встретиться... Нет, я останусь возле тебя».

«Не надо, Нуржан. И на земле, и под землею влюбленные не должны соединяться!»

«Почему?! Почему?!»

«Любовь и вечная разлука — это одно и то же. Иначе любви вообще не было бы. Соединившись вместе, мы поругались бы с тобою. Козы и Баян тоже. И Ромео с Джульеттой...»

«Как же быть тогда?!» — вскричал Нуржан, едва не плача.

«Вставай! Не падай духом. Вставай, Нуржан, и разбуди своих товарищей. Идите на землю — вы там нужны!»

И Снежная девушка освободила его от пут. Он с трудом привстал на месте — и ударился головою о потолок снежной пещерки. Увидел неподвижно лежавших Аманжана и Бакытжана, которые не шелохнулись даже тогда, когда обрушился низкий потолок, пробитый его головою. Нуржан принялся трепать, бить по щекам, трясти и щипать своих товарищей, и постепенно они начали приходить в себя. Словно бычки после джута, они шатались, приподнявшись на ноги, и тут же снова валились на землю. Нуржан в отчаянии заорал на них:

— Околеете, черти! Встать! Нельзя ложиться! Встать!

Парни с трудом, вздрагивая, поднялись на ноги. Нуржан продолжал тормошить их.

— Делай приседания за мной! — командовал он. — Раз! Два! Раз! Два! — И приятели подчинились ему, стали приседать и вставать, замахали руками... — За мной бегом марш! — скомандовал Нуржан и, проваливаясь по колено в снег, побежал вокруг трактора. — А теперь растирайте лицо и руки снегом! — приказал он после. — А теперь посмеемся! Ну! Начинай! Ха-ха-ха, — судорожно закатился он первым.

— Ха-ха-ха! — дружно подхватили друзья.

— Ха-ха-ха! — разнеслось по снегам...

Они хохотали до хрипоты, кидались друг на друга, возились, бросались снежками, носились взад-вперед и вопили, оглашая мертвую тишину ночи хриплыми голосами... И если бы кто посторонний увидел их в эту минуту, то подумал бы, что в парней вселился бес.

— Ойбай-ау! Хорошо как! — орал Бакытжан, хватая то одного, то другого за руки. — Друзья мои! Ребятки! Да вы

рехнулись, черти! Давайте попляшем! А давайте и вправду плясать, ребята! Пока с ног не свалимся!

И они, взявшись за руки, принялись отплясывать — только снег полетел из-под ног.

— Ребята! Милые! — воскликнул взволнованно Нуржан, когда все немного успокоились. — А теперь давайте обнимемся! Поцелуем друг друга, товарищи! Кто его знает, будет ли еще у нас время для этого. Может быть, это наш последний час, когда мы еще живы и помним, как любим друг друга!

И они со смехом накинулись друг на друга и стали целоваться, будто сто лет не виделись.

Нуржан толкнул Аманжана в снег — и высоченный жигит рухнул в сугроб, словно обессилев. Вскочив на ноги, он захохотал, оскалив зубы, но вдруг замер, вглядываясь куда-то перед собою. В ту же минуту он начал стаскивать с себя одежду. Его друзья сначала решили, что Аманжан придумал новую шутку, и не придали этому значения. Но вот полетели на снег полушубок, пиджак, а когда парень стащил с себя рубаху, друзья схватили его за руки:

— Ты что?!

— Огонь! Ребята, пустите меня к костру, — забормотал Аманжан, пытаюсь вырваться. — У, пропади все пропадом, пустите, я говорю! — Оттолкнув ребят, Аманжан стал приплясывать, кружась на месте. — Жарко! Жарко! Ух, как печет! — вскрикивал он, передергиваясь всем телом, нелепо взмахивая руками. — Горит костерчик, ха-ха-ха! А вы чего стоите? Раздевайтесь скорее!

— Держи его! — крикнул Нуржан. — Он свихнулся от холода! Надо снегом натереть его, может, пройдет!

— Аллах!.. В чем мы провинились перед тобой, — захныкал Бакытжан. — Что же это на свете делается?! О-о!

— Огонь! — вопил Аманжан, указывая на друзей. — Сожги этих черных кошек! Их две... три... сто штук! Миллион! Везде кошки!

— Стой! — заорал Нуржан. — Ты чего это распустился, как баба...

С двух сторон они навалились на Аманжана, кое-как скрутили ополоумевшего парня, связали ему руки за спиной ремнем, которым обычно заводили пускач. Растянув на земле, принялись усердно растирать ему тело.

— Эх, гусяного жиру бы сюда! — пыхтя, бормотал Бакытжан.

— Пустите! — рвался из-под них Аманжан. — Холодно! Вzbесился, что ли! Развяжите руки, черти! Я сам...

Но, так и не выпустив его, друзья растерли снегом обнаженное до пояса тело Аманжана, затем развязали, быстро одели его и помогли подняться на ноги. И тут же стали толкать его то в одну, то в другую сторону, заставляя двигаться...

Так, в борьбе за жизнь, незаметно пролетело несколько часов. Аманжан, кровь которого вновь заиграла в жилах, окончательно пришел в себя и вскоре говорил друзьям, пританцовывая на месте:

— Если бы вы знали, до чего ясно видел я здесь, вот на этом месте, костер! А вот как разделся — этого не помню.

— Уговор! Если кто-то из нас опять свихнется, акри, то снять с него штаны, отшлепать как следует, а потом натирать его снегом, пока шкура не слезет! — кричал Бакытжан, прыгая рядом с приятелем.

— С тебя, пожалуй, шкура не слезет! — отвечал тот. — Она у тебя как у моржа... Ты сдохнешь последним, — дразнил Аманжан толстяка.

Уже на западном небосклоне сверкало созвездие Плеяд. Ночь, эта холодная сладострастница, еще не пресытилась ласками ярого месяца и все льнула нагим сахарным телом к лунному сиянию — бесстыдно являла миру свою обольстительную красоту. Трое парней бегали, прыгали на снегу, стараясь как-нибудь согреться и не поддаться вновь опасным чарам смертельного холода... И любовь, истинная любовь и ослепительное счастье мерещились им в холодной мгле... любовь, к которой тянулась душа каждого из них, как верблюжонок тянется к матери-верблюдице... Им по двадцати лет с небольшим, еще не пожили на свете... еще не держали в руках оружия, идя на врага... Три жигита, три батыра... трое парней, прыгающих на снегу, как бесноватые.

А ночь не хотела кончаться, отпускать их; ночь тянулась, как холодная черная кишка, и батыры начали приуσταвать, хотя согрелись изрядно, до испарины на лбу. Задумав отогреть ноги, скинули валенки, развернули портянки и помогли друг другу натереть задубевшие ступни и бесчувственные пальцы... И вдруг совсем близко завyli волки. Это были они — никаких сомнений уже не оставлось...

— Смотрите! — отчаянно вскрикнул Бакытжан. — Вон собаки!

— Эх, если бы собаки! — отозвался глухо Аманжан. — Это волки. Пришли справить по нас поминки. Так что готовься, читай отходную молитву, парень!

Они сидели чуть повыше оставленных позади саней, наострив уши, большая стая. Выжидали, без всякого страха глядя на людей.

— Спички! — приказал Нуржан, стараясь не выдать своего страха. — Дай спички! — И извлек из кабины трактора замасленную тряпку: хотел облить соляркой, но она, замерзнув, не капала. Ругнувшись, Нуржан попытался зажечь тряпку без солярки, однако масляная грязная ткань чадила, трещала и не загоралась; помахали ею в воздухе — посыпались искры, и только. Но звери снялись с места и чуть отступили. Опять сели в снег и уставились на людей.

— Ладно, к трактору все равно не подойдут, — стал успокаивать себя и других Бакытжан. — Боятся они запаха железа, акри...

— Черта с два! — перебил его Аманжан. — Они тебе и трактор слопают, когда голодные. Весной в черной степи, когда мы сеяли, волки у нас ведро автола сожрали.

— А что, устроим концерт для уважаемых гостей? — предложил Бакытжан. — Попробовать билеты им продать, заработаем, может, немного...

И они с Нуржаном дружно затаили песню, глядя на зверей; и вдруг Бакытжан прервал пение воплем:

— Гляди, гляди! А они ближе пересаживаются! Ой-бай-ау! Мы пропали!

Аманжан, сначала сердито косившийся на друзей, под конец сам развеселился и, сняв рукавицу, взял ее в руку, словно стакан, — сделал вид, что наливает туда из бутылки, — и затем произнес тост.

— Дорогие граждане волки! Уважаемые гости, — проговорил он с важным видом. — Спасибо, что навестили нас, не забыли молодых тружеников полей! Вы проявляете большую заботу о молодом поколении! Большой рахмат! Разве солнце взойшло бы без ваших забот, уважаемые? Вот вы сидите, смотрите на меня, и есть у вас большое желание сожрать нас. Как нам не радоваться, дорогие, как не гордиться, если перед смертью нас навестили такие почетные гости? Ай, большой рахмат! Пью за вас, уважаемые!

А между тем на востоке, за снежными вершинами Кызылкиека, округлыми, как девичья грудь, разгоралась нежная заря, и небо стало светлее. Пока рассвет, поднимая все выше свой яркий полог, окончательно прогонял с небес почную тьму, трое молодцов до хрипоты орали песни, развлекая голодных волков. И странными были слова той песни, которой трактористы завершили свой необычный концерт и встретили свет нового дня.

Н у р ж а н

Вот умру, в землю зарюют меня,
Не будет ли сыра земля?

А м а н ж а н

Белый снег! Голодные волки!
Оу-оу!

Б а к ы т ж а н

Мать моя, спаси!
Твой сыночек замерзает в степи.

Так они орали вразнобой до хрипоты, а после дружно затанули в три голоса:

Мы устали, устали,
Моченьки нет,
Лев, не прыгай напрасно
На лунный свет.
Не садись на коня,
Жигит,
Коли смутное время
Беду сулит.

Солнышко взошло!

И все с криком «ура» стали подбрасывать вверх шапки.

* * *

Первый утренний разговор начался конечно же с вопроса: «Что будем делать?» Все трое обошли холодный заиндевевший трактор, попинали его натруженные гусеницы.

— Поесть бы сейчас,— вздохнув, сказал Бакытжан, на что Аманжан, закуривая, ехидно заметил:

— Свиныя хрюкала: жрать хочу, а ее зарезали...

Нуржан стал наворачивать на проволоку замасленную тряпку, затем бросил.

— Чтобы завести трактор, нужно, наверное, куба два дровишек и три ведра кипятку,— вздохнув, сказал он.

— И в ауле, рядом с домом, насилу заведешь его. А тут... Ох, засели мы, ребята,— по своему обыкновению запыл Бакытжан.

— Ладно, словами горю не поможешь,— мрачно оборвал его Аманжан.— Давайте лучше что-нибудь делать.

И он, сняв рукавицы, голыми ладонями обхватил медные трубки, по которым подавалось масло. Бакытжан, умевший раньше других примечать и плохое и хорошее, вдруг закричал:

— Эй, глядите! Тальник!

Посмотрели, куда он показывал,— и точно, на северном склоне горы, где они заночевали, торчали верхушки кустов, которых они вчера не заметили. Это были первые кустики, которые увидели они здесь, в Глубинном краю, заваленном снегом. Первые пятна темного среди утомительной, нескончаемой белизны. Уже сутки у парней не было и крошки во рту, намерзлись они и пострадались, а сейчас, увидев эти прутики, свидетельства чего-то живого, обрадовались чрезвычайно. И если бы заметили какого-нибудь зверька, то были бы счастливы, словно встретились с давно запропавшим родичем. Сказать правду, даже ночные волки были дороги им среди проклятого однообразия снегов, в мертвом царстве лютого холода.

— Пошли, Баке,— сказал Аманжан, достав из трактора топор.— Хоть ползком, а доберемся до этих кустиков. Нарубим дров для костра.

— Из дому выезжали, были трактористами — грудь колесом,— отвечал Бакытжан.— Потом в плен попали к Конкаю. А ночью концерт показывали волкам, артистами, значит, были. Теперь, видать, приходится быть альпинистами, акри.

— Погоди, парень, вот еще ночь здесь переночуем, так вовсе обезьянами станем,— заверил Аманжан, хлопая приятеля по широкой спине.

— А кем угодно, пожалуйста! — соглашался толстяк.— Все равно человеком быть тяжелее.

— О, так ты еще считаешь себя человеком? Тогда бери топор — и пошли. Человек должен что-нибудь делать! — провозгласил Аманжан и потянул за собой приятеля.

Бакытжану не хотелось лезть на гору, но деваться было некуда, пришлось идти. И они оба поползли по крутому скло-

ну вверх, по обдутому и оглаженному ветрами снегу, твердому как железо. Нуржан посмотрел им вслед, пробормотал: «Бисмилла! Желаю удачи, товарищи», — а сам вернулся к трактору, перевернул вверх дном всю кабину, подбирая необходимый для работы инструмент.

Между тем двое карабкались вверх, и Аманжан, продвигавшийся впереди, вырубал топором ступеньки, словно заправский альпинист, и сверху бросал Бакытжану веревку, за которую тот подтягивался и медленно взбирался к товарищу. Склон в этом месте был таким крутым и гладким, что подниматься приходилось с огромными усилиями, прилепившись всем телом к ледяной стене. Оба жигита вспотели, и наблюдавшему снизу Нуржану видно было, как над ними вьется пар. Вскоре Нуржан завозился с мотором и отвлекся от них — и вдруг заметил, как мимо него стремительно пронесся вниз какой-то большой темный ком. Не успел он сообразить, что это могло быть, как сверху загремело:

— Ух, чтоб тебя... олух, тетеря! Ну и валяйся теперь там, на дне оврага!

Оказалось, Бакытжан печально выпустил из рук аркан, за который его подтягивали вверх, пошатнулся и плюхнулся в снег — и, как только его зад коснулся гладкого наста, парень мигом шмыгнул вниз, словно на салазках. Аманжан не стал даже смотреть, куда в конце концов улетел толстяк, и, выматерив его как следует, один полез к кустам. Лишь крикнул перед этим Нуржану:

— Оу, Нуреке! Не вздумай лезть за ним! Пускай сам выкарабкивается, олух.

И вскоре сверху донеслись частые удары топором. Аманжан добрался-таки до кустов. Нарубив большую охапку сучьев, он с дровами в руках заскользил вниз и мигом очутился в снежной яме, куда наметился еще сверху. Нуржан был поражен ловкостью и смелостью товарища. «Однако,— подумал он,— нет геройства без горячих голов».

Мерзлый сырой тальник не загорался; полили прутья соляркой — кое-как занялись вялым, чадящим пламенем. Костер был устроен позади трактора; в огонь поставили мятое ведро, наполнив его снегом. Но от костра больше было дыму, чем тепла.

— Ничего не получится, — огорченно сказал Аманжан.

— Давай разогреем еще солярки, обольем мой пиджак и запалим. Все равно у меня старый пиджак, не жалко, — предложил Нуржан.

— Надо еще взять у этого олуха безрукавку, — добавил Аманжан. — Она у него под пиджаком... Иначе все равно нам воды не вскипятить.

— Сперва надо его самого вытащить из оврага.

— Ничего, сам вылезет!

— А ну сходи помоги, — попросил Нуржан. — Не ждате же его, сидя на месте.

— Ладно, пойду, но только из-за его безрукавки.

И Аманжан, взяв ломик, заскользил вниз по тому пути, по которому скатился в овраг Бакытжан. Нуржан продолжал возиться с костром. И вдруг он услышал снизу яростные вопли, брань. Показались двое — впереди Бакытжан, за ним, опираясь на лом, поднимался Аманжан. Выбравшись к трактору, он здоровенным подзатыльником свалил толстяка в снег.

— Гад! Вот, полюбуйся на него! — крикнул Аманжан. — Я-то думаю, чего его нет и нет, а он там, подлюга, укрылся и потихоньку курт жрет!

Нуржан удивленно посмотрел на Бакытжана и только теперь заметил, что тот торопливо жует, набив чем-то рот.

— Стыдись, — нахмурившись, сказал ему Нуржан. — А если бы сейчас война была или голод? Эх ты... Волк, говорят, и тот сочувствует своему брату. А ты спрятал горсть курта в карман и думаешь, что один спасешься от беды?

— Нате, жрите, не завидуйте! — взвизгнул Бакытжан и, выхватив из кармана катышки курта, бросил в снег. — И меня разорвите и сожрите! Ну, режьте на куски!

Никто не стал подбирать курт, разбросанный Бакытжаном.

— Ну-ка снимай безрукавку, — только и сказал ему Нуржан.

Толстяк молча стал раздеваться...

Растопив солярку, они облили ею пиджак и ватную безрукавку, подожгли — и наконец разгорелся жаркий огонь. Действия людей, похоже, обретали какой-то смысл. По лицам жигитов побежали живые отблески огня — словно кровь заиграла в этих осунувшихся лицах. Из разогретых медных трубок трактора закапало масло. Картер разогрелся. Вскипятив ведро талой воды, залили охладитель. Объятые наконец пламенем, пошли трещать ветки тальника. И солнце между тем поднялось высоко, и все вокруг озарилось ярким сиянием полудня. Снежные крошки сверкали, слепя глаза.

Бакытжан, стыдясь своего поступка и раскаявшись в душе, работал как одержимый. Ему хотелось — хоть кровь из носу — усердной работой заслужить прощение. Наматывая сыромятный ремешок на заводной диск пускача, он дергал и дергал — пока наконец не затарахтел движок. Вслед за этим ухнул и загрохотал трактор, взревел, отчаянно выплевывая дым, словно давясь кашлем. Нуржан подбавил газу — и раздался громоподобный рев, словно прорвались долго сдерживаемые рыдания ожившего «ДТ»... Вскоре он перешел на ровное, обычное свое гудение, словно затянув привычную песню — и да здравствует жизнь! Да здравствует жизнь! Да здравствует!

Втроем быстро собрали инструменты, ведра, побросали все в кабину, вытащили из снежного балагана сиденье и спинку, водрузили на свои места, сами тоже вскочили в кабину.

Надлежало, спустившись к подножью горы, поехать в обход ее по ложине, с тем чтобы вернуться на свой след. По принятому вчера решению, надо было вновь подняться на вершину, перевалить ее и спуститься к оторвавшимся саянам... Но против такого действия вдруг выступил Аманжан.

— Пока живы, надо двигать к аулу, — решительно сказал он. — А ты как думаешь, жирный?

— Я... Как ты, так и я, — отвечал, потупившись, Бакытжан.

— Ребята... людей стыдно, — возразил Нуржан. — Столько перенесли — и с полдороги возвращаться домой...

Аманжану стало смешно от рассудительности старшего тракториста.

— Пхи-хи-хи! — захихикал Аманжан. — Вот стыдливый нашелся! Беда с тобой... А чего же они не стыдились, когда посылали нас к волкам в зубы? — крикнул он. — Не стыдились нас охмурять — каких только слов не наговорили, чтобы мы, дураки, поехали на свою погибель?! И мы еще должны стыдиться перед ними? Довольно слюнки распускать, сопли размазывать! — уже ревел он. — Едем назад, и точка! Пока солнце держится, успеем через перевал махнуть.

— Не спеши так, дорогой, — спокойно отвечал Нуржан. — Не ты один решаешь. Давайте проголосуем за и против. Предостереги, говорят, вовремя слепого, чтобы нечаянно ребенка не задавил...

— Ух! Прямо как в кино! — восхитился Аманжан и скрипнул зубами. — Может, собрание комсомольское проведем?

— И проведем! Собрание нашей совести!

— Вот что, — сказал Аманжан, — кончай трепаться, старшой. За эти двое суток я, понимаешь, совсем совесть потерял! А занять негде — ни у кого ее нет. Вот так-то.

Нуржан знал, что этот рослый, сильный парень был из тех, кто ни за что не отступится от своего и если заупрямится, то будет стоять на своем, хоть голову ему отрубай. Как самая твердая земля трескается от мороза, так и его может разорвать на части от пробудившегося негодования... И хоть не чужд ему дух товарищества и знает он чувство ответственности, но со вчерашнего дня что-то изменилось в нем... Может быть, повлияла на него встреча с жестоким стариком Конкаем? Кто его знает...

Пар клубами вырывался изо рта парней, стоявших у заведенного трактора. Казалось, что душевное волнение распалило их и им стало жарко, но все трое, не замечая того, мелко дрожали от холода. Злые выкрики Аманжана заставили двух его друзей призадуматься. Было что-то справедливое в его возмущении... но что делать? Если вернуться ни с чем домой, то как оправдаться? И в то же время как быть, если они едва не погибли ночью, промерзли до костей и двое суток уже ничего не ели...

И тут Нуржан опять услышал, как где-то вдали, за снежными холмами, прозвучала не то песнь, не то плач Снежной девушки. Она звала, она тревожила его сердце своей неведомой печалью...

— Вот что я скажу тебе, Аманжан, — вдруг выступил вперед Бакытжан. — Ты всегда обзываешь как хочешь... То ляуки, то обжора, то жирный. Ладно, я такой... А вот ты каким оказался на деле? Других дразнишь, как заведенный патефон, а сам ты кто? Затаился до поры до времени, акри... Там, понимаешь, в совхозе скот дохнет без корма, а ты тут устраиваешь нам...

— В аул без сена возвращаться не будем, — решительно поддержал его Нуржан. — Сейчас спустимся, пообедем гору и сани прицепим. А потом дальше поедем.

— Нет, — столь же решительно отказался Аманжан. — Я не желаю еще двое суток подыхать без еды.

— Можешь оставаться. Поедем без тебя, — сказал Нуржан.

— А! Так вы вот как... Привыкли, когда вас в бараний рог гнут.— Аманжан сплюнул в снег.— Ну вы у меня сейчас попляшете. Если вы решили подохнуть, я вам помогу.— И с этим он выхватил из кармана складной нож; щелкнув, раскрыл его.— Прежде вас укокошу, чем вы меня...

«Аманжан! — хотелось крикнуть Нуржану.— Вот ты какой, оказывается. Вместе росли, вместе учились... Ты зачем это нож... нож-то зачем, Аманжан? Нет, домой лучше не возвращаться. Лучше нам здесь и умереть, вдали от людских глаз...»

— Вы мне все надоели! — кривясь, выкрикнул между тем Аманжан.— Все вы, умники, агитаторы, ляуки... Общество! Человечество! — завершил он выкрик по-русски.— Обществу нужна скотина на мясо, а мы, люди, не нужны, что ли? Пха-ха-ха! Патриоты какие выискались! Плюю на вас! Обществоведение мне и в школе до смерти надоело!

Нуржану казалось, что перед ним кричит, бешено сверкая глазами, не его закадычный друг, с которым он провел немало хороших дней в детстве, а беснуется старик Конкай... Вот он соскочил с гусеницы трактора, на которой стоял, и двинулся к ним, держа нож в руке.

— Эй, а ты грамотный парень, оказывается! — воскликнул Бакытжан, еще не веря серьезности происходящего и стараясь дело свести к шутке.— Всякие слова русские запомнил!

— Не смейся, ты! Сейчас кишки тебе выпущу! И со своим отцом Упраем не успеешь попрощаться, ублюдок!

— А-а! — тонко взвизгнул Бакытжан; какая-то неведомая сила, казалось, подбросила его в воздух; непонятно, куда и каким образом, но он так двинул здоровенного жигита, что тот рухнул на снег словно подрубленный; нож далеко отлетел в сторону.

Гордый, неистовый Аманжан, считавшийся непобедимым, валялся в сугробе, словно тополиное бревно, а Бакытжан мгновенно вскочил на гусеницу «ДТ» и закричал сверху, потрясая кулаками, словно оратор:

— Смеетесь над тихим! Издеваетесь над молчаливым! Я вот как накушался от вас! — И он провел ребром ладони по горлу.— Это я, я плюю на вас! На всяких там Конкаев и волков, которых надо бояться! На собачий холод и голод! И на тебя, Аманжан, плевать хотел! Нуржан, садись в трактор,— повелительно крикнул он старшему.— Поедем за са-

нями. А этот бешеный пес пусть валяется в снегу. Нарушившему клятву — смерть!

— Все равно... прикончу обоих, — кряхтя, корчась на земле, прохрипел Аманжан. — Своими руками порешу, сволочи...

Трактор взревел. Рассерженный Нуржан рванул рычаги.

— Поехали! — крикнул он.

— Поехали! — повторил за ним Бакытжан.

Аманжан остался лежать в снегу. Налитыми кровью глазами, словно волк, попавший в капкан, злобно следил он за удалявшимся трактором. Жажда мести, презрение, ненависть снесли его. Когда трактор, нырнув за бугор, скрылся из виду, парень уткнулся в снег лицом и заплакал. Разрыдался так, что заломило в висках. Слезы падали в снег, сразу же превращаясь в ледяные катышки. Пальцы его распухли от холода, побагровели, и он вытер их об рукава и сунул под мышки. Вытянув шею, посмотрел вниз — трактор бодро удалялся, выстреливая клубы дыма, порою глубоко увязая в снегу, но не замедляя хода. Вскоре он скроется за склоном... Судя по скорости, трактор должен был за какие-нибудь полчаса обогнуть гору и выйти на вчерашний след.

* * *

Как они и надеялись, низина горного подножия не была заболочена, камней больших также не оказалось на пути — и это было хорошим началом. Плотный, слежавшийся снег легко проламывался под гусеницами, подминался под брюхо трактора, и он с ровным гудением бежал вперед. Лица у двух трактористов были суровы, словно шли они в танковый бой; движения их были резки и энергичны, и на душе у каждого не было того вчерашнего чувства нехорошей тоски и отчуждения — деятельная бодрость целиком захватила жигитов. Им предстояло в дело провести то, что они задумали, и это — преодолев всю усталость и отчаяние... после того, как была утрачена всякая надежда... Вот он, тот безрассудный порыв, на который оказываются способными отчаявшиеся люди, рассчитывающие только на собственные силы. Смерть можно преодолеть только подобным порывом...

— А что, Нуржан, правда ли это, — нарушил тишину Бакытжан, — что замерзающий человек чувствует, что ему тепло, даже жарко?

— Да, — отвечал Нуржан, который с сосредоточенным видом вел трактор.

— Мне ночью тоже было жарко... Я, Нуржан, видел, как пришла ко мне девушка... одна девушка и повела меня куда-то. Вовремя ты, выходит, дернул меня за ногу...

— Не замерз без жилетки? — спросил у товарища Нуржан, вспомнив, как они сожгли — один пиджак, а другой — безрукавку.

— Зад дрожит, зато сердце кипит, — ответил Бакытжан. — Слушай, джура, у меня в кармане один куртик заваялся... — добавил он, потупившись. — Погрызем, что ли?

Нуржан, увидев, каким несчастным и кислым стал вид у парня, рассмеялся и сказал:

— Так вытаскивай... Чего мнешься?

Окатыш курта, черный от долгого пребывания в кармане, трактористы грызли по очереди. Обрушивая громоздившуюся до небес тишину заснеженной горы, могучий «ДТ-54» с неимоверным грохотом начал новый подъем на перевал по следам вчерашнего восхождения...

И вот, объехав встрявшие в сугроб сани, «ДТ» остановился, попятился, и Бакытжан, успевший уже на подходе спрыгнуть с трактора, стал знаками подавать команды: ближе... еще ближе... стоп! А там и, подняв тяжелое дышло, попытался соединить его вершину с задком трактора, но не увидел в проушине болта, стал искать его, распиная вокруг снег, а потом крикнул:

— Давай сюда палец гусеничный!

Поймав на лету брошенный Нуржаном стальной палец, продел его в скважины и сверху вбил обухом топора.

— Бисмилла! — крикнул он и взобрался в кабину. — Поехали!

«ДТ-54» ринулся вниз, волоча за собою сани, из-за которых промучились трактористы лишний день. Радовались молодые люди — все же ихняя взяла: с шумом бежал трактор, словно конь, к хвосту которого привязано пустое ведро. Осталось теперь найти стога, погрузить сено и...

Когда они, ликуя, съехали к месту своей почевки, то увидели Аманжана, который по-прежнему лежал в сугробе. Он не шелохнулся, когда трактор стал, чуть не наехав на него гусеницами. И ребята испугались.

— Ойбай-ау! Уж не убил ли ты его? — предположил Нуржан.

— Брось! Кишка тонка у меня, чтобы с одного удара убивать, — отвечал Бакытжан. — Притворяется мужик!

Аманжан лежал под самыми гусеницами не шевелясь и,

словно ничего не слыша, смотрел на далекие белые вершины. Нуржан высунулся из кабины.

— Эй, вставай, чего лежишь! — крикнул он. — Садись давай, и поехали!

Но тот продолжал лежать, вызывая молчание, с серым лицом... Нуржан спрыгнул с трактора и схватил его за руку, потянул.

— Вставай, говорят! Посерчали маленько — и хватит. Не оставлять же тебя на съеденье волкам... А кто виноват, не виноват — после будем разбираться.

Тут и Бакытжан подоспел; Аманжан, словно бы нехотя, словно делая им большое одолжение, поднялся наконец с земли и, отряхиваясь, проворчал:

— Не пропадать же мне из-за дураков... — И с важным видом полез в кабину.

Он уселся на свое обычное место и долго ни с кем не желал разговаривать. Хранил гордое молчание. Но спустя некоторое время заговорил первым, причем грубо и заносчиво.

— Ты, ляуки, — обратился он к Бакытжану. (В другой раз он, может, и пнул бы его по ноге, а теперь только обозвал.) — Ты... Сознайся, кто тебя научил так бить?

Бакытжан, сидевший втянув голову в воротник полушубка, охотно отвечал:

— И сам не знаю... Как кинулся — еще помню, а вот как ударил... убей не помню. Уж очень я рассердился, акри. В жизни не ожидал услышать от тебя такое... Вот моча в голову и ударила...

— Врешь, — говорил Аманжан, тоскливо шаря по карманам в надежде найти курево, которое у него давно кончилось. — Врешь ведь. Тебя вот он научил, — кивнул он на Нуржана. — Вы вместе потихоньку тренировались, чтобы вдвоем отметелить меня.

— Да полно тебе, Аманжан, — с укором произнес Нуржан. — Или мы враги тебе? Или ты враг нам, убил наших отцов? Что мы тебе такого сделали?

— Вот именно! — поддержал товарища Бакытжан.

Белый снег вокруг. Холод, холод. «ДТ-54» мнет гусеницами ровный покров, рвется вдаль, нетерпеливо разбрасывая снежные комья. Вдали... волки воют? Печальная песня звучит?..

— Ура! — воскликнул вдруг Бакытжан и, вскочив, ударился макушкой о потолок кабины. — Ура! Смотрите, человек появился! Вои там он! Человек! Голова у него, две руки,

две ноги! Говорить, наверное, умеет! — кричал парень, несмотря на то что при ударе головою больно прикусил язык.

И на самом деле: на западном склоне Айыртау, далеко-далеко зачернел маленький всадник. И до того его появление обрадовало парней, что у всех троих навернулись на глаза слезы. Сколько пришлось им мучиться на этом жутком морозе, сколько перестрадать в бесконечную ночь, едва не стоившую им жизни, сколько отчаяния пережить среди этих мертвых снегов и льдов, чтобы понять, как дорог им вид человеческий и сам незнакомый человек, которого можно растормошить, обнять, поцеловать...

— Вижу, что человек, — молвил Аманжан, упорно продолжая обшаривать карманы. — Но интересно мне... курит он или нет?.. Затянуться бы еще разок да помереть...

— Аллах тебя знает, — начал дразнить его Бакытжан. — Тебе курить дать, так ты после жрать попросишь. Пожрать дать — ты, пожалуй, бабу потребуешь. — И, произнеся эту беззлобную шутку, Бакытжан все же с настороженностью покосился на Аманжана: как проглотит?..

Но тот лишь смутно усмехнулся и ответил:

— Что ж, может быть, ты и прав, толстый. Человек, знаешь ли, существо не насытное...

Нуржан, управлявший трактором, молча слушал разговор приятелей, вновь дивясь про себя тому, как они оба изменились за минувшие дни. Подъехали поближе и увидели: человек спешил и что-то делает, лошадь мирно жует сено, охапкой наваленное перед нею. Трактор остановился, лошадь перестала есть и, наострив уши, беспокойно фыркнула. Хозяин, отбросив лопату, потянулся взять повод, чтобы лошадь не убежала, испугавшись. Под снегом, который разбрасывал человек, было, оказывается, сено, доброе, свежее, как недавно снесенное яичко, — небольшой стожок. Уже несколько навильников было брошено в развалыни.

Когда трое здоровенных жигитов с криком «Ассалаумагалейкум!» бросились к человеку, старик — ему было лет под шестьдесят — оробел и попятился. Чуть ли не с неба свалились они вместе со своим трактором... не грабители вроде, не подкрававшиеся незаметно разбойники... вот и сани пустые волокут куда-то... Удостоверившись, что перед ним молодые казахские парни, старик сам бросился к ним навстречу и стал трясти каждому по очереди руки, радостно приветствуя их.

— Добро ли ехали, сыночки мои? Откуда? Куда?

— С Карагайского района мы. С Фардихи едем... уже третий день. За сеном, отец, с осени где-то здесь осталось.

— Знаю, знаю! — в ответ. — Сено ваше недалече... Но с Фардихи, сыночки, о зимнюю пору сюда прямой дороги нету... Как же вы ехали?

— В таком случае, аксакал, мы проложили новую дорогу, — отвечал Аманжан.

— А ведь и то правда! — воскликнул старик, вновь беря в руки лопату. — Дело неслыханное. Зимой к нам, сколько помню, никто и не ездил.

— Хозяин дома, где мы ночевали после Фардихи, этот путь нам указал, — рассказывал Нуржан, — мол, через Айыртау напрямик можно. Вот мы и решили напрямик, да чуть не пропали, заблудились...

— Как зовут того, кто дорогу такую вам подсказал? — спросил старик. — Запомнили имя его?

— Как не запомнить, аксакал, — отвечал Нуржан. — Хорошо запомнили. Конкаем зовут. До утра нас в плену, можно сказать, держал.

— Оу! Ай! Будь он проклят! — Старик сердито отбросил в сторону лопату снега. — Все озорует, злодей! Он, этот пес нечестивый, только и занимается тем, что людей губит да путает... Небось и с вас плату взял за ночлег?

— Хотел взять, аксакал, — ответил Бакытжан, который достал лопату с трактора и принялся помогать старику, — да потом не взял...

— Спасибо, сынок!.. Стало быть, аллах вразумил бесноватого... Пристроился, злодей, у самого перевала, на безлюдье, и кровь сосет с проезжих да прохожих. Виданное ли дело! Да пристрелите пса, коли взбесился! Моя бы воля была... А сено ваше чуть в стороне осталось, на запад вы маленько съехали. — Прищурившись, он посмотрел на горы и предложил: — Сегодня уж переночуйте у меня, а завтра я вам скажу, как ехать.

Аманжан, стоявший подбоченившись, спросил у него:

— Дед, а закурить у тебя найдется?

— Нету, мой ясененький. Насыбаю¹ понюхать могу дать.

— Эх! Не дерьмо — плохо, а что дерьма нет — плохо, сказала голодная ворона, — вздохнув, изрек Аманжан и потянулся к табакерке старика.

¹ Н а с ы б а й — жевательный или нюхательный табак.

— Э-э! Э-э, мой ясенький, так не годится! Слышал, говорят: «Мою дочь замуж хошь бери, хошь не бери, а худо о ней не говори», — так отчитывал старик парня за грубость.

— Он у нас особенный, — начал оправдываться за приятеля Бакытжан. — Шутить любит. Так любит, что даже может пошутить с человеком, который в отцы ему годится.

— Ладно, дети мои! Коли добрая шутка — почему бы и не пошутить! Я не в обиде, аллах свидетель... А ты скажи мне лучше, каков мой табачишко? Слезу выбивает?

Аманжан, нюхнувший насыбая, и вправду исходил слезами и чихал беспрерывно. Все рассмеялись.

— Провались... твой насыбай! — прохрипел Аманжан, сплевывая в снег. — Сдохну, а не притронусь больше к нему.

— Отец, — предложил со своей стороны и Нуржан, — чего зря мучить вашу лошадку, давайте мы весь стог разом на наших саних перевезем.

— Не знаю, что и сказать, сыночки... Ведь устали вы, намаялись после такой-то дороги, намерзлись, поди.

— А что нам, молодцам! — успокоил старика Аманжан, которому было несколько неловко за свою грубость; и он первым взялся за вилы.

— Ну-ка, подгоняй трактор! — скомандовал важно Бакытжан. — Нечего время терять.

И трое жигитов с хозяином мигом навалили воз сена на огромные тракторные сани.

* * *

Когда добрались до зимовья старика, уже смеркалось. Сено свалили с саней посреди двора, слили воду из радиатора трактора и направились к дому. Невзрачная бревенчатая избушка об одно оконце показалась измученным парням настоящим дворцом. Это было убогое жилье людей, поселившихся на отшибе, но дух невозмутимого покоя, смирения и тишины исходил от него. Неподалеку темнел еще один домик, в котором, как объяснил старик, жил его помощник. Жирный дым вился над трубами. Отстоявшуюся тишину вечера нарушил зычный рев коровы, ей жалобно откликнулся теленок, запертый в стойке.

Рядом с домами был расположен горячий родник, исхо-

дящий паром, и это придавало особенность пастушескому зимовью. Вокруг источника густо теснились разросшиеся кусты тальника; склон ближней горы был покрыт густым лесом. Отсюда и начиналась большая, нетронутая тайга Горного Алтая... Напрямую к северу от этого зимовья можно было выйти к реке Хатунь, далее простиралась сибирская Россия. Этот край, в отличие от прочих уголков Алтая, не был достаточно населен и освоен — оттого и сохранился в девственной мощи лесов и в зверином богатстве. Прелесть дикой природы здесь еще не была исковеркана нашествием техники, необычайно снежные суровые зимы мешали ее продвижению в глухие края. И жил здешний редкий народ, даже в засуху не испытывая нужды в кормах для скота, потихоньку заготавливал в излюбленных местах сено и по зимнему пути подвозил к своим дворам. Захаживал сюда и случайный народ, охотнички да туристы; бывало, неосторожно пользовался огнем — и тогда случались губительные пожары. Недавно горела северная часть этой округи, едва справились с огнем солдаты, брошенные на тушение пожара. И от всего этого потихоньку таяла заповедная мощь Глубинного края.

— Мы, местные люди, называем это урочище Бекалкой, — рассказывал хозяин за дастарханом. — Наше зимовье — самое дальнее в районе Большого Нарына. За нами дичь, пустыня.

Старая хозяйка, угощавшая гостей, была, видимо, не очень расторопна и аккуратна — не скоро внесла она закоптелый медный самовар, из топки которого еще вымахивал угарный дым. Дастархан, собранный ею, не отличался изобилием, но было подано достаточно масла, сливок, твердого сыра — иримшика — всего того, что делается из молока. Трое парней, изголодавшись на морозе, до седьмого пота пили сытный чай с молоком. Полуобмороженные руки и лица у них нестерпимо раззуделись, усталые головы так и клонились на грудь, и глаза закрывались сами собою.

— Чего только не испытаешь, прежде чем сойдешь в могилу, — вздохнув, молвил задумчиво хозяин. — И все-то делается ради жизни одной. Привыкаешь к своей скотине, ходишь за нею, пока ноги держат, не зная покоя. И сына-то аллах не дал мне, ради которого стоило бы холить добро. Правда, дочка имеется, и ее, конечно, жалко... Застряла здесь с нами, никуда не хочет уходить. Мол, не могу вас оставить одних. Ох, время какое! Живем, чтобы только живу быть, не помереть бы сегодня...

Старика слушал разве что один Нуржан: два приятеля его, разомлев в тепле, уже клевали носами. Железная печурка в углу раскалилась докрасна. Тусклая керосиновая лампа, словно печальная душа бедного жилья, едва преодолевала сумрак избы. У стены стояла единственная деревянная кровать. В изголовье ее, в углу, висела нарядная одежда молодой женщины. Над постелью к стенке прибит был вышитый коврик с голубыми. Заметив, что Нуржан смотрит на коврик, хозяин сообщил с улыбкой:

— Это Алмашжан, дочка... Ее голуби. Она сама, бедная, как птичка в клетке... не может улететь куда ей хочется. Свет велик, а сидеть на одном месте надоедает ведь... Только одно утешение знает, бедная, что книги читает. Все читает и читает, с работой управившись. С десятка коров у нас: зимою, как отелятся, молоко возим вниз, в Огневку. И вся эта работа на ней, на умнице...

Нуржан посочувствовал:

— Трудно, наверное, ей, аксакал. Молодым ведь не правится одиночество...

— Что поделаешь? Не хочет уходить... Мы бы денег собрали, чтобы она могла уехать и училась. Но твердит одно: «На кого вас брошу одних?..» А здесь и сам порою заскучаешь так, что и дурака рад бы повстречать, лишь бы человек рядом был... В тоске живем, без соседей. От такой жизни, боюсь, не стать бы самому как этот Конкай...

— У него другое, — возразил Нуржан. — Конкай одиночество любит, одиночество считает свободой и никого к себе не подпускает. Готов кусаться и пинаться, чтобы только никто не беспокоил его. Сам об этом говорил.

— Брешет! Не свободу он любит, а людей боится. Ему среди них житья нет. Он душегуб... Девушку молоденькую загубил...

— Расскажите, аксакал! — попросил Нуржан.

Оба его товарища уже спали. Старуха обиходила, бегая с улицы в дом и обратно, хлопая дверью. Хозяин, зарядившись насыбаем, принялся рассказывать:

— Страшная история, сынок. Девушка одна восемнадцатилетняя отвозила мать в больницу и на обратном пути попала на перевал Конкай. Спешила она — скотина у нее дома оставалась без присмотра. И тоже, как вы, у Конкай про дорогу короткую стала выпрашивать. А он, крови оленьей напившись, взыграл как зверь и набросился на бедную, обесчестил ее... В одной рубаше, босая, бежала она

среди ночи и заблудилась в снегах. С тех пор ее никто не видел, сынок. То ли замерзла, то ли волки ее съели... Да... Не знаю, как узнали об этом, но люди говорят, что так и было. С тех пор и рассказывают про Снежную девушку. Мол, бродит по горам в белой одежде, босая, с серебряными волосами...

Старуха, вошедшая с охапкою дров, прислушалась к словам мужа, рассердилась на него и заворчала:

— Разболтался, старый... Не даешь отдохнуть ребятам!

— Ладно, байбише,— ответил старик и продолжал: — В прошлую зиму ставил я капканы, в один капкан косуля попала, так ее кто-то выпустил, а кто — неизвестно. Никаких следов человеческих рядом не было, вот такая история...

— Все это похоже на сказку,— сказал Нуржан.— Признаться, отец, я эту Снежную девушку иногда вижу во сне...

— Так и Алмаш моя говорила, что видит! — воскликнул старик.— Подружками, говорит, уже стали во сне... Что-то она завозилась с коровами...

— Эй, старик! Ты кончишь сказки сказывать? Дай покой ребятам! — прикрикнула на хозяина жена, смерив его гневным взглядом, и загремела посудой.

— Ладно, байбише, ладно! Стели постель.— И, повернувшись к Нуржану, сказал: — Одно я все хочу спросить у тебя, сынок... Сколько лет вон тому жигиту?

— Какому?

— А вон тому, долговязому, здоровенному?

— Амажану?.. Да ровесники мы с ним. Двадцать три года каждому.

— А мать у этого жигита жива, нет?

— Жива. Чудная только... Замкнутая. Ее прозвали Ундемес-пешей... А почему вы об этом спрашиваете?

— Знаешь, сынок, я, когда увидел этого парня, даже испугался, ей-богу. Подумать только — до чего похож на Копка! Как будто это он сам, чудом помолодевший... Вот же бывает как, сынок.

— Ну что вы, отец! Мало ли кто на кого похож,— отвечал с улыбкой Нуржан.— Например, вот эти двое говорили мне давеча, что я похож на вас.

— Быть того не может!.. Хотя погоди... Бывал я в вашем ауле, два раза бывал. И один раз ездил я туда э-э... точ-

но — в сорок пятом году! Да. После войны как раз, летом...

— Ох, чтоб тебя перекосило! Ложись же, старый! — уже совсем осатанев, завопила старуха. — Опять начнешь сыновей разыскивать, которых рассеял по свету, в чужие гнезда подкинул!

— Ладно, байбише, будет тебе! Уймись. Дай поговорить с человеком. Лошади и те перефыркиваются, в табун бегут, чтобы, значит, боками друг о дружку потереться... Совсем мы здесь одичали, не знаем, как люди живут... Отшельниками стали, алла-тагала...

— Говорите, ата. Я спать еще не хочу, — сказал Нуржан.

— Спать... На том свете выспимся, а на этом лучше поговорить. Ну, так слушай. Двадцать четыре года назад пропала из кержацкого аула Огневка девушка-казашка. Мы ее разыскивали, не нашли. Тогда зима была тоже суровая, как сейчас... Прошло года два, и все ее забыли. Думали, что сгинула в горах. А потом поползли слухи, что ее видели у Конкая. Мол, прожила она все это время у него, а когда забеременела, он отвез ее в дальний аул и бросил на дороге. Говорили, что Конкай боялся, как бы люди, ненавидевшие его, не извели его самого и весь его корень, поэтому хотел, чтобы потомки его выросли в неизвестности, в людской толчее. Да. Чтобы, значит, целее были... И между прочим, сынок, в те годы, когда исчезла огневская девушка, тоже стали поговаривать о Снежной девушке. Вот с каких пор ходит среди людей эта сказка. А может, и не сказка, кто его знает...

Нуржан посмотрел на спящего Аманжана; тот заворочался и скрипнул зубами, отвернулся лицом к стене.

— Да, интересно все это, — тихо произнес Нуржан.

В доме стоял полумрак, керосиновая лампа то вспыхивала ярче, то едва мерцала. Что-то особенное чувствовал Нуржан в этом уютном бревенчатом домике — в духе его, располагающем к мирной беседе, к туманной невесомости души, к раскрытию сердечных тайн. Заброшенная на самый край света, словно заблудившаяся овечка, маленькая хижина сберегла в своем тепле покой, мир и тишину.

Смуглая старуха приготовила наконец всем постели, и Нуржан стал расталкивать храпевших друзей, поднял их и вытащил за собою на улицу. Луна, выглядывая из-за плеча Айыртау, лукаво и ласково улыбалась им. Но стужа

была свиреной, как и прошлой ночью. Передернувшись от холода, все трое невольно воскликнули: «Ищча-ай!» Двое кинулись обратно в избу, словно гнали за ними собаки, а Нуржан остался постоять во дворе.

Странное, беспокойное волнение испытывал он. Спать уже не хотелось, усталости как не бывало. Решил пройтись до скотного двора. И вдруг буйно заколотилось в груди сердце, он нерешительно приостановился. Обошел трактор, покрытый мохнатым инеем, осмотрел его, прислушиваясь к реву телят, раздававшемуся из сарая. Даль снежной ночи была безжизненна; неподвижно, загадочно темнела тайга на северном склоне горы... Погас тусклый свет в подслеповатом оконце избы — старуха, видимо, задула лампу или кончился керосин...

Нуржан стал думать о завтрашней поездке... Старик говорил, что сено находится недалеко: по ущелью вверх, с обратной стороны горы. Осенью, когда он был в этих местах, ничего не слышал об урочище Бекалка. Тогда по другим дорогам ехали... Наконец Нуржан замерз на ледяном ветру и решил вернуться в дом. Теперь ему казалось невероятным, что они смогли провести ночь в безлюдных горах и не полегли там... Он подошел к избушке и только взялся за дверную скобу, как вновь раздалась эта песня...

Она была такой же протяжной, хватающей за душу, но звучала не вдали, как обычно, а совсем рядом. Печальный девичий голос, вылетев из черных ущелий, наполненных страхом и тоскою, затрепетал звонким жаворонком над снегами, озаренными серебряным светом луны, над вечными вершинами гор. В песне слились надежда и темный страх, это была жалоба человека, познавшего всю печаль жизни, тоскующего по любимой душе, которой можно раскрыть свою. И в тоске своей душа пыталась найти утешение и тихое забвение. Так плач ребенка, начавшийся от горя и страха, постепенно устает в безутешности своей и становится убаюкивающей песней. Охваченный чужой печалью, Нуржан испытал неведомое до этой минуты счастье и волнение. Он замер на месте, не смея шелухнуться; ему казалось, что сделай он хоть шаг — вмиг исчезнет неземная сила этой песни, растекавшаяся, словно волшебное вино, по всему его телу. И он вспомнил образ своих спов — Снежную девушку, приходившую к нему в прошлую гибельную ночь. Это был ее голос, ее песня...

Вернувшись в домик, он тихо лег в постель, рядом с друзьями на полу, и не мог уснуть, взволнованный и ждущий чего-то. Все давно уже спали, сопенье и храп наполняли весь дом. Печь гудела, разбрызгивая искры; сквозь неплотно прикрытую дверку вырывалась полоса света, и в зыбком отблеске пламени то появлялась, то исчезала деревянная кровать, возле которой лежал на полу Нуржан, и вышитые голуби на стене казались живыми. Нуржан думал, где может быть сейчас девушка, Алмашжан, чья кровать пустует, и кто все же пел — она или... та, запредельная... Снежная девушка? Ведь голос, который он слышал во сне, и этот, прозвучавший совсем рядом в темноте ночи, был один и тот же. Возможно ли такое? И он почувствовал, как размывается граница между сном и явью... Алмаш... Снежная девушка, настойчиво толкавшая его в плечо, чтобы он встал, пробудился от смертного сна... Тресчат дрова в печи, старик, проснувшись, бормочет: «Чего-то Алмашжан нынче задержалась...» Алмашжан. Белый снег. Песня доносится из-за ледяных холмов... Старик Конкай — сверкают его глаза, как у волка... Наехать бы трактором на его звериное логово. Только ехать обратно придется кружной дорогой, дом Конкай останется в стороне. Посмотреть бы, какая она, Алмаш, Алмашжан... Завтра встать пораньше и посмотреть.

Тихо стукнула дверь, обитая войлоком; кто-то вошел; шуршит одежда; откуда-то тянет керосиновым чадом; кто-то ест в темноте, тихонько причмокивая губами... Нуржан осторожно выглянул из-под одеяла и в полумгле комнаты, озаренной слабыми отблесками печи, увидел неясную тень человека, снимающего через голову одежду. Тень направилась к кровати, легко и неслышно перешагивая через лежащих на полу; мелькнули белеющие в полумраке полные ноги. Они едва не наступили на голову Нуржану и, отодвинувшись, замерли у кровати. Затем сверкнули серебристыми икрами и исчезли. Скрипнула кровать. Горячее, частое дыхание опалило лицо Нуржана. Он кашлянул, давая знать, что он не спит. Тот, кто лежал совсем рядом, на кровати, тоже не спал и дышал все так же бурно, стараясь сдерживаться, словно борясь с самим собою... И оба долго пролежали так, затаившись, охваченные глубоким волнением... Уже догорели дрова в печи и смолкло гудение пламени. Стало совершенно темно... Вдруг что-то легкое защеботало лицо

жигита. Он протянул руку и прикоснулся к длинным густым волосам. Они упали с кровати и рассыпались по горячему лицу Нуржана. Закрыв глаза, он самозабвенно ласкал, перебирал эти девичьи волосы, и девушка, которую он еще и не видел, не противилась этим робким ласкам. Слово знала, что если скажет хоть слово, то навечно спугнет то чудо необыкновенной чистой радости, возникшей между ними в темноте, в молчании. И сама бережно, ощупью, положила свою руку на лицо жигита. Это была горячая, жесткая, натруженная рука. Нуржан тронул ее — и по ее шелковистым изгибам дотянулся своей рукою до плеча девушки, до ее мягкой шеи. А теплые пальцы вспорхнули по его лбу к жестким волосам жигита, стали нежно перебирать его заскорузлые, пропахшие соляжкой и морозом кудри, словно это было нечто самое драгоценное на свете. Жигит, распаленный могучей страстью, готов был устремиться к ней; она тоже была охвачена тем же пламенем! Загрубевшие пальцы его легко коснулись бровей, ресниц девушки, — о боже, почему они залиты слезами, эти невидимые очи, почему она беззвучно плачет, Алмашжан... или — Снежная девушка? Кто из них?.. Полноокруглая девичья грудь... Жигит впервые касается такого чуда, он в огне, он в слезах. Он долго искал ее — они искали друг друга, пробираясь по снежным долинам, переходя через горные перевалы, и вот они встретились, может, в первый и последний раз. И наступил миг свидания и одновременно прощания навек — кто знает? — поэтому не надо ниспровергать мечту, надо пожалеть друг друга, сберечь чистоту долго тосковавших сердец... Он прижался губами к жарким, ласкавшим его рукам и бережно, благодарно целовал их.

И в темную хмель его блаженства просочился тихий шепот:

— Я знаю, кто ты...

Нуржан. Человек я... Один из смертных. Пустые сани везу за собой...

Девушка. Я узнала тебя. Когда вы с отцом разгружали во дворе сено...

Нуржан. Ты Алмашжан... Твой отец о тебе рассказывал...

Девушка. Я часто вижу тебя во сне.

Нуржан. Меня?.. Это я тебя вижу во сне, Снежная девушка. Я искал тебя!

Девушка. Значит, ты искал Снежную девушку?..

Нуржан. У тебя на глазах слезы... Почему ты плачешь? Устала, замучилась здесь, в снегах...

Девушка. Ты тоже плачешь. Также устал, замучился... Не плачь. Ты нашел то, что искал. Я Снежная девушка. Я стояла под окном и слышала, как ата рассказывал тебе обо мне. Да, это я... Та самая Снежная девушка, о которой все говорят.

Нуржан. Но ведь она... умерла? Она же превратилась в лед. Ты хочешь, чтобы я поверил сказке...

Девушка (*шепотом*). Я не хочу тебя обманывать. Нет. Слушай. Я на самом деле Снежная девушка. В пургу ночью я бежала по снегу босиком, раздетая, и меня нашел в горах старик... хозяин этого дома. У них нет своих детей, и старики оставили меня у себя. Целый год никто не знал, что я прячусь здесь. За это время я узнала, что моя мать умерла в больнице. Кроме нее, у меня не было никого. И я тогда решила навсегда остаться здесь. Да и куда мне возвращаться, зачем? Где теперь мой аул?.. После того, что случилось, я боюсь людей, мой жигит. Я не верю им! Я умираю здесь от тоски и обиды, и пусть будет так. Когда на меня нападает тоска, я надеваю белое платье и убегаю ночью в горы, брожу одна по снегам... пою, плачу. Ата, старик мой, приводит меня обратно... Он нарочно всем рассказывает небылицы о Снежной девушке, чтобы никто не догадался, что это я... Когда ночью по колени в снегу брожу я одна по горам, то жар души немного остывает — и я успокаиваюсь...

Нуржан (*шепотом*). Значит, ты... ты прошлой ночью приходила... разбудила меня, Снежная девушка?

Девушка. Не я, мой жигит, а душа моя, мой призрак, моя тревога. Прошлой ночью мне было так тяжело, я так почему-то затосковала по тебе. Нацепила лыжи и пошла в горы... Ты удивлен? Думаешь, как я могла о тебе думать, если никогда не видела тебя?

Нуржан. А разве... видела?

Девушка (*тихо смеется*). Конечно! Прошлой осенью, когда вывозила сено. Я в кустах спряталась, смотрела на вас. Так я увидела тебя впервые... И с тех пор только и думала о тебе. Я пела для тебя песни. Видела тебя во сне... Это моя тоска привела тебя в наш дом. И вот я снова увидела тебя, мой жигит.

Нуржан. А Снежная девушка?

Девушка. Это я. Это мой призрак, мой двойник.

Когда мне совсем плохо, она отделяется от меня и ходит ночью по снегам... Когда я очень хочу видеть тебя, то отправляю ее в твой аул... Сейчас она, мой дорогой, от радости и от счастья летает в горах и распевает песни.

Нуржан (печально). Да... Да...

Девушка (перебивая). Тише! Послушай, мой жигит... Ты слышишь? Слышишь песню?

Нуржан. Слышу.

Девушка. Это я хожу по снегам и пою.

Наутро, когда он проснулся, кровать рядом была пуста. Чудесный цветок, упавший на него откуда-то с неба, где зарождается звездный дождь, цветок снежного января, исчез куда-то. Видно, Алмаш спозаранок ушла доить коров. Осталась лишь подушка на кровати — мокрая-мокрая от слез.

И снова они завели трактор, чтобы отправиться в свой белый-белый путь.

Править трактором сел Аманжан, а Нуржан занял место на железном ящике. Когда трактор с ревом тронулся с места, Нуржан увидел, как в стекле единственного окна избушки, покрытом инеем, протаяла круглая дырочка и в ней засверкал черный глаз. И странный, внимательный взгляд этого глаза провожал трактор до тех пор, пока не слились темное окно и круглое отверстие во льду в одно темное равнодушное пятнышко.

Нуржану во мраке ночи так и не довелось увидеть лица девушки. Все, что он увидел, так это угасший за обледеневшим окном черный зрак. Но и этого было вполне достаточно — словно утренняя Венера, будет следить за ним с высот Вселенной таинственный взор. И по нему он воссоздаст в своем воображении облик прекрасной девушки, неприкаянно блуждающей среди белых полей и холмов. Ее блистающая, несравненная красота пробудит в душе жигита радость и волю к жизни. И когда он почувствует, как устало никнут его большие теплые руки, привычные к тяжелому труду, когда, не дай бог, хмурая усталость охватит сердце жигита — он вновь услышит зов Снежной девушки и увидит белые-белые просторы ее царства...

Молчат ребята. Опять лица их стали хмурыми, отчужденными, словно готовы жигиты вцепиться друг другу в глотку, опять им целый день ехать по снегу. Нуржану тепло, даже жарко, а два приятеля его дрожат от холода. Ибо они смотрят вперед, на дорогу, по которой надо добраться до сена, а Нуржан, сидящий напротив, смотрит назад, в сторону одинокого зимовья, где живет Алмаш — Снежная девушка. И он снова слышит ее далекую печальную песню — зов затерянной в снегах тоскующей души.

Снежная девушка, чего тебе надо в этом белом-белом мире?..

ТРИ
ПОВЕСТИ

ЧЕЛОВЕК-ОЛЕНЬ

3

земля казахская кончается аулом Аршалы, дальше чужие страны, неведомые края. Здесь родился и вырос жигит, которого народ прозвал Человеком-Оленем. Он не бывал на чужой стороне, но слышал, что Казахстан огромна, как несколько вместе взятых немелких государств, и все же ему представлялось, что, если скакать с востока или с противоположной стороны, скажем из Крыма, голова лошади обязательно упрется в центр мира — в его родной Аршалы. Вне этих мест все для Человека-Оленя туманно, загадочно, невероятно. Слышал он в детстве от старика Асана такое: «Э-э! Да разве найдется еще земля, по которой бы мы не ступали, горы, через которые не перешли... Ведь от Карашоки аж до самого Шубарагаша на конях доскакали и обратно вернулись! Вот уж правду говорят, что, если потянет на чужую еду, ее и попробуешь. Ты только подумай — на Катон-Карагай уже дорога проложена!»

Откуда же мог знать Человек-Олень, что старичок говорит о пути километров в семь-восемь длиною! Воистину каждому своя окрестная горка кажется выше всех чуждальных гор.

В ауле Аршалы около шестидесяти домов, но теперь, если мы попадем туда в бодрый час, нас поразит безжизненность и тишина его улиц. Ни собачьего лая, ни лошадиного ржания, ни голосов женщин — во всем ауле лишь над крышею низенького крайнего дома вьется дым, тянется из трубы тонкой струей, словно нитка слюны из влажной пасти коровы. У остальных пятидесяти девяти домов дымовые отверстия на крышах прикрыты камнями. Пустые дома кажутся мертвыми, а большое человеческое поселение — кладбищем. И тот одинокий домик с дымком из трубы выглядит сторожем этого печального кладбища. Да так оно и есть, пожалуй, хотя аул не вымер, а попросту переехал на другое место — в центральную усадьбу. И единственный живой очаг, из которого идет дым, принадлежит сторожу брошенного поселка и одновременно леснику, хранителю богатств окрестной дремучей тайги.

Итак, сказано уже, что аулом Аршалы кончается казахская земля. Но Человек-Олень слышал, что и дальше, за ее пределами, живут казахи: ушли в те далекие времена, когда даже солнце, как говорится, отвернуло лик свой от народа, и люди бежали, спасая головы, гонимые страхом и темными слухами, кто верхом на лошади, а кто и пешком, богачи и последние бедняки — все уходили за горы, и порою Актан, которого прозвали в ауле Оленем, Зверем, думал с невольной грустью: «Сколько же их там бродит, на чужбине, терпя побои и унижения... Но какое мне дело!» Какое ему дело, считал Актан, пусть даже и находится среди этих изгоев и беженцев его отец. Без него прошла вся жизнь, ни разу не довелось ему услышать отцовского «сынок», а теперь и не надо.

До Аршалы нет дороги, никакая машина туда не проедет, но если идти извилистой тропой вслед за болтливыми струями речки Акбулак, то она сама, словно за руку, приведет вас в заброшенный аул. В зимнюю пору, когда бушуют метели и сугробы заваливают путь, туда, бывало, никто не мог добраться, и до весны аул оказывался отрезанным от внешнего мира. Надоело аульчанам жить так, терпя капризы суровой природы, и, как только разнеслась весть, что мелкие аулы присоединяют к центральной усадьбе, в два дня всем миром народ переселился. Человек-Олень, глядя на это, диву давался: да они до Усть-Каменогорска готовы лететь, подсакивая в седлах от радости. Что за легковесный народ, перекаати-поле, гонимые ветром молвы, — бестолковый народ...

Он не переехал, нет; узнал о том, что требуется охранник брошенному добру, и остался вместе с матерью сторожить Аршалы. Хватило ума понять — хотя и прозвали его Зверем, — что не переменится он в таинственной, непроглядной глубине своей души, как бы ни перемещали его по земле; знал он, что главным и ничем не заменимым для него останется высь небесная над Алтаем, чувство полета и холодная горная вода из речки, которая вполне утолит его жажду. И самым верным шестком для такого ловчего беркута, как он, останется седло на спине серого конька со звездочкой на лбу.

Когда аульчане услышали, что Человек-Олень остается, не переезжает, то не многих это удивило: Зверь, известное дело. И только немая мать Актана, узнав о его решении, тихо покачала головой, выражая краткий укор.

Он всегда поднимался рано. Сегодня густой туман, безмолвный и невнятный, с утра скрыл горы, поглотил громоздящиеся ввысь каменные утесы, покрытые лесом. Мрак тумана так густ, что даже не различить пальцев на вытянутой руке. И дым из трубы поглощает белая мгла. Трудно дышать — так влажен и густ воздух. Не то с неба, не то с деревьев сыпались крупные капли. Актан вышел за дверь, и в лицо его, и на открытую грудь, в распах нательной рубахи, брызнула влага; вскоре его пробрала дрожь, и он вернулся в дом. Входя, услышал стон матери, такой привычный и всегда загадочный: о чем?.. Из-за нее выбрался на край ложа черный кот.

Актан опустился на корточки у железной печи и разжег огонь. Свет пламени, взлетевшего над сухими, давней заготовки дровами, озарил стены комнаты и явил из тьмы осеннего утра признаки человеческого жилья... И так повторяется каждый день — в приуроченное время совершаются привычные дела.

Он завернулся в оленью доху и вновь прилег, глядя на огненный пляс в открытой топке печи. Заснуть не придется больше: уже овладели им думы. Человек-Олень даже не замечал этого, потому что он давно привык к этим думам. Они у него одни и те же: вчера, позавчера, год назад — те же самые...

Каждый день он встает до зари. Выйдет за дверь и, словно волк, обнюхивающий летящий ветер, высматривает погоду. Затем возвращается домой, разжигает печку, наливает воды в чугунок на плите. Потом заворачивается в оленью доху и лежит, смотрит на огонь. Блики пламени пляшут в глазах Оленя, мысли его летят далеко. Порой искра от жарких еловых дров вылетит из печи, упадет на доху, или черный кот, желая погреться, нечаянно заденет раскаленный бок печки — задумавшийся Актан не придет в себя, пока не запершит в горле от запаха паленой шерсти. Мечты овладевают им — от одиночества человек неизменно становится мечтателем, — они неистовы, все неистовее и тоскливее со временем.

Иногда полет его зачарованной души прерывался внезапным храпом, сопением и причмокиванием спящей матери. Или, наоборот, когда слишком долго не подавала она признаков жизни. Тогда он вставал, подходил к ней и, склонившись, слушал в тишине стук материнского сердца. Оно

работало ровно, с щедрой неиссякаемой силой. Никогда Актан не слышал голоса матери. И теперь, когда остались они совсем одни, он понял, что самое трудное для сильного, нормального человека, когда не с кем перемолвиться словом, когда нельзя снять с души груз невысказанных мыслей... И снова он думал об отце... Что с ним, умер ли, бродит где-нибудь под чужим небом?

Может, давно уже обнимает его земля, думал он. Если не умер, то почему ни разу не явился в родные места? А придя в родные места, ведь не смог бы не зайти к себе — даже собака знает свой дом. Он бы прибежал сюда, бормоча: «Жена осталась одна, сын осиротел, аллах, некому позаботиться о них, голодные, наверное, сидят...» Да, так бы непременно было, будь он живой. Разве найдется в мире человек, отец и хозяин, который смог бы разрушить очаг своего дома?

Ходили слухи, что отец жив, ушел в горы. Исчез он из аула не в те смутные времена, когда все уходило и в каждом доме нужна была защита отцовская, — нет, он исчез после Великой Отечественной войны. Тогда многие из старых беженцев уже вернулись назад, без лошадей, с одним седлом на плече, даже те, которые погнали с собою тысячные табуны. Никто из них не вознесся высоко в чужой стране. Чужбина не приняла их... Так мог ли отец, знавший обо всем этом, уйти туда? Долго ждал Актан, надеясь увидеть его однажды среди тех, кто возвращался. Но все напрасно.

Что ж! Бывает и так: человек на чужбине женится, заводит новую семью...

Мать у Актана немая. Аул же не особенно много поведал сыну об отце. Мальчишкой слышал Актан, что отец его был высок ростом, выше всех в ауле, на виске у него темнело большое родимое пятно. Еще узнал он, что отец ходил в огромных сапогах с войлочными голенищами. И это всё. Аул не особенно чтит память о нем. Его никто не искал — искали тех, на кого пришли похоронки; вернее, искали в чужедальних краях их могилы. А найдя, люди утешались тем, что видели последнее прибежище своего близкого. Однако и это утешение было недоступно для Человека-Оленя — его отец не погиб на войне...

Порою Актану чудилось, что отец присутствует в доме, и, вздрогнув, жигит оглядывал темные углы своего деревянного однокомнатного домика. Или покажется ему, что отец прачется в сарае...

Мать, видимо, была чем-то сильно обижена на отца. Когда Актан заговаривал при ней о нем, она качала головой, отворачивалась или уходила, что-то мыча себе под нос.

* * *

Приподнявшись с топчана, он пошевелил горящие дрова в печи. Огонь разгорелся. За окном стало светлее. Мать посапывала — непонятно, спит еще или проснулась и лежит грезит о чем-то. Актан вновь вышел на улицу.

Туман стал редеть, приныкая ближе к земле. Макушка Карашоки — Черной горы — проступила вдали. В мутноватой белесости черные грани пика выступили резко, отчетливо. Воздух по-прежнему холоден, влажен, густ. Пойдешь сквозь кусты, вмиг окатишься росой с головы до ног...

Завиднелась из белесой мути светлая громада Акшоки — Белой горы, освободившейся по грудь из тумана. Как хлопья прокисшего молока, расплзались его волокна в глубине леса.

Солнце еще не поднялось, что-то гнетущее, тяжелое разлито вокруг, но вот над горами забелела полоска неба, словно прочь прогоняя туман, впитавший в себя душные испарения ночи. Подул холодный ветер. Входил в свою пору суровый алтайский ноябрь.

Актан проводил задумчивым взглядом исчезающие меж деревьев хвосты тумана и, вспомнив о делах, направился к сараю. Эта маленькая пристрочка жалась к стене дома, словно испуганный жеребенок к матери. Ржавые дверные петли смочило водою, и дверь открылась без скрипа. Белоглазый успел поест все сено — конь был довольно прожорливый. Увидев хозяина, он забил копытом, приветливо заржал. Актан набросил уздечку и вывел Белоглазого из сарая.

Он поехал к реке, протекавшей у подножия горы. Спина у Белоглазого толстая, широкая, и в холке конь довольно высок, однако неимоверно длинные ноги Актана, далеко свисая, задевают траву. Жигит широкоплеч, высок, каким был, говорят, его отец. И в детстве Актан слыл самым рослым среди сверстников.

Вот и река, она морщится рябью — вода прибыла за три дня дождя. Кое-где у каменистых берегов река бурлит и пенится, приплясывают ходные волны; исчез черный камень, вчера еще торчавший над водою, на месте его вспучивается бугорок упругой струи. На изгибе река закручивала

бешенные воронки, жадно облизывала камни и, перехлестывая через них, мощно ревела, разлившись намного шире русла.

Остановив коня, Человек-Олень смотрит на бегущую воду, вслушивается в ее грозное ворчание. Река, словно зная, что, кроме нее, нет ничего живого вокруг, шумит все сильнее: ей кажется, должно быть, что, вот умолкни она, замрет жизнь в этом пустынном краю. «О ущелье, если стихнут мои волны, ты же станешь совсем глухим и немым!» — полагает горная река и гремит, гремит, смело плещет волною. И тихий сумрачный край покорно сносит ее дерзкий шум и своеволие. Акбулак — единственное дитя окрестных гор, и кому, как не единственному дитяти, быть дерзким, озорным и своенравным!

Белоглазый захотел пить. Он долго, основательно заливал брюхо — недаром всю ночь жевал сено. Чтобы не соскользнуть в воду, Актан пересел с седла на широкий круп Белоглазого. И пока лошадь надувалась водой, он будто успел задремать — сонная одурь навалилась на него, вялость охватила все тело; сейчас бы в теплый дом, залезть под оленью шубу, сжаться, закрыть глаза и лежать... Но и это ведь надоест. Что делать? Спуститься, как и все, в долину? Мать стара, плоха. Некому, кроме него, вскипятить для нее чаю. Он и так уже больше месяца, как привязанный арканом, не может отойти от дома...

Оказывается, Белоглазый давно уже напился и стоял у воды, тоже как бы задремав. С мокрых губ его капала вода. Всадник ударил его пяткой по раздутому брюху. Вдохнув, лошадь повернулась и лениво пошла вверх по крутому берегу.

* * *

Дым над домом Актана сегодня не черный и не серый — какой-то поблеклый и бесцветный, слабый и сиротливый...

Вода в чугушке закипела. Он перелил ее в медный, с помятыми боками старенький самовар, бросил в топку горящих углей и щепок. Принес остатки вчерашней оленины, сухие лепешки, испеченные в казане. К накрытому столу первым подошел кот, весь изукрашенный бурными подпалинами. Замяукал, глядя на мясо горящими глазами. Актан знаками позвал мать.

Она встала, вышла на улицу, вернулась, совершила омовение и, кряхтя, открыла сундук, достала четки и принялась молиться, повернувшись лицом в сторону Мекки. Сидя на коврике, прошептала, шевеля губами, что-то невнятное. Это

и была ее молитва. Она никогда не молилась, как иные праведники, по пяти раз на дню. Ей достаточно было сотворить обряд моления утром перед едой и вечером, перед тем как лечь спать. Лишь один раз за всю молитву она кланялась, касаясь лбом старого коврика на полу. В остальное время она шептала и перебирала четки.

Сегодня молитва ее затянулась. Актан спокойно и безучастно смотрел на нее. Пока они вот так сидят, остывает чай... При завершающем поклоне старуха согнула спину, уткнулась лбом в молитвенный коврик и замерла, не в силах разогнуться.

Актан приблизился и помог ей подняться; широко раскрытыми глазами немая посмотрела на сына и покачала головой, указывая подбородком в сторону самовара: пей, мол, один, а мне дай помолиться. Когда старуха завершила молитву, достаточно выказав преданность и покорность аллаху, сын подбросил щепок в самовар, чтобы подогреть остывшую воду...

После завтрака он остатками теплой воды помыл посуду, выстирал кое-какие свои и материнские тряпки. Когда он развешивал постиранное, на дворе стало уже совсем светло. Мутноватое небольшое солнце висело меж вершинами гор. При его зыбком свете заблестали мокрые сумрачные скалы.

Над крышами домов поднимался пар, и от этого заброшенный аул немного повеселел, словно вновь ожил. Казалось, что хозяева вернулись к покинутым очагам. Актану всегда не по себе было смотреть на помертвевшие дома, а сегодня он готов поздороваться с каждым, словно с человеком, или пробежаться по улице, стуча в окна и требуя сюинши — подарок за радостную весть... Расцвела душа Человека-Оленя смутной надеждой, и представил он себя обладателем волшебной силы, с помощью которой вмиг вернулся бы к старым очагам людей и в мертвые дома живой дух. Бодро он вскочил на коня, выпрямился и с двустволкой поперек седла выехал из аула.

Но, удаляясь от него, погоняя коня, он как бы одновременно приближался к прошлому, яркому в своих немеркнущих картинах.

Он знал многосложные, удивительные истории каждого дома, чьи окна теперь забиты крест-накрест старыми досками. В этих обмазанных глиною лачугах кипели шумные пиры, порою навещала их почтенная смерть, там рождались дети, которых нарекали достойными человеческими

именами... И пылал очаг, и кудрявился над трубою дым. Как же самому решиться погасить этот огонь, думалось ему, залить водою свой очаг! Ведь если бы один или два... а то ведь сразу пятьдесят девять очагов погасло. Он в досаде стегнул коня камчой и поскакал, будто желая поскорее уйти от печальных мыслей.

В жалкой лачуге жил скорый на язык, живой, умный старик Асан. Вечерами за аулом, где-нибудь на шелковистой траве у кизячного костра, любили посидеть с ним рядом мальчишки, до белых звезд слушали его болтовню и сказки. Над Асаном все в ауле потешались, он сам над собою потешался — шутник, забавник, корявый обломок прошлого, про таких легкомысленных стариков говорят суровые жигиты: «Над кем же еще посмеяться, как не над сивой бородой». Но некому было корить и судить болтливого старика — он был единственным взрослым мужчиной на весь аул.

Старый Асан говорил: «Ребятки, глупый человек живет долго, как ворон. В этом ауле был всего один дурак, да вот дожил до старости и теперь с вами связался, с детьми. Слезами, как говорят, полон этот мир. Мы потеряли на войне всех умных, горластых, здоровых мужиков, и теперь бабы верховодят над нами. Э, про баб я говорю, которые вон крутят хвостами, воду несут. Ох, жигиты, лучше один старик болтун, чем десять умных сплетниц. В ауле нужен хотя бы один такой болтун, как я, чтобы врал о разном да иногда рассказывал вам о мужестве и подвигах ваших почтенных отцов... А сегодня мне хочется рассказать вот о чем... Слушайте, ребятки, я начинаю свое вранье...»

Был старый Асан человеком доброй души. И на самом деле он оказался нужен мальчишкам аула. Коли родился человек, так умрет; но случись что с Асаном, остался бы в то время аул Аршалы без аксакала. Нам не придется долго разъяснять, почему бы так получилось. Взять да и посчитать, сколько крепких, славных жигитов погибло в гражданскую и сколько в Отечественную войны. Молодь, что появилась незадолго или вместе с последней войною, еще не поднялась на ноги. Вот и вышло, что со смертью Асана в ауле не осталось бы ни одного бородатого... Да что там говорить об этом! Печали и без того хватает в нашем мире. Неуловим бег сурового времени, оно наслаивает пласты жизни и смерти, возрождения и гибели. Посмотрите хотя бы, как выглядит в пасмурный ноябрьский день покинутый всеми, словно бы проклятый судьбой аул Аршалы...

Одно время его называли «Вдовьим аулом». В начале войны мужчины из шестидесяти дворов ушли на фронт. Только один из них остался живым и вернулся — то был отец Актана... Из шестидесяти домов в пятидесяти девяти остались вдовы. Когда они, сойдясь вместе, оплакивали погибших, вся предгорная долина наполнялась их плачем. И голоса женщин достигли ушей того, кто призван, говорят, наблюдать за нами с высот небесных. Держа в руках бумажные листки похоронок, они рыдали, как рыдают верблюдицы, увидевшие шубу из шкуры верблюдонка. «О мой высокий столп, о опора моя! О, нет тебя уже на свете, умер ты, надежда и защита моя!»

Испуганный всеобщим плачем, несмышлениш Актан тогда дивился странным, необычным словам вдовьих причитаний. Особенно его удивляла женщина по имени Зибаш. Мальчик раньше слышал, как люди говорили о ее муже, что он похож на таежную птичку-невеличку, что Зибаш ходит гулять, засунув его под мышку. И вот эта женщина плакала: «О, умер ты, высокая опора, надежда моя...»

Нет, недаром называли Аршалы «Вдовьим аулом». Во дворах и на дорогах, на всех пыльных пустырях близ него можно было увидеть одни лишь белые головные платки женщин. Всякая война, конечно, страшна подобным исходом... И еще тем, что опалает, гнетет, старит раньше времени детскую душу, вселяет в нее чувство безнадежности, столкнув с вечной, безутешной утратой. Малыш Актан жалел всех погибших мужчин аула, и ему хотелось однажды, днем ли, ночью, совершить что-то неслыханное; собрав все силы и умение, перевернуть горы, если понадобится, чтобы подвиг был неизменно достоин тех, кто погиб... Но не было ни такого трудного дела, ни сил у мальчика, чтобы исполнилось желаемое. Он убегал в тайгу и взбирался на вершину самого высокого дерева, жалобно смотрел во все стороны, словно искал тех пятьдесят девять жигитов аула, которых убили, убили... Но ничего он не находил, лишь видел все тот же лес, чернеющий до самого горизонта, да безмолвный аул, неподвижно раскинувшийся вдали, словно оглушенная топором телка. И выше не подняться — над ним было уже пустынное небо, до голубого купола которого не дотянется коротенькое деревце. Актан слезал с него и, мучимый неотвязной, ненасытной тоской, хватал горстями, мял черную прохладную лесную землю и плакал недетскими безысходными слезами. Ему хотелось в такие минуты исчезнуть из жизни, раствориться в убегающей вдаль

рочной воде, уйти черным змеем в глубину земли. Ему, наверное, было бы легче, если б взрослый могучий отец взял его на руки, приласкал, а затем объяснил многое.

«Отец, куда ты ушел? — думал он теперь, много лет спустя. — Целы еще на твоих ногах высокие сапоги с войлочными голенищами? Почему же, вернувшись с войны в родные края, ты так и не наведался в свой дом? Тебя видели чужие люди... потом ты исчез совсем. Где ты сейчас? Говорят, я похож на тебя».

Старик Белоглазый развалисто шел по тропинке, которую он вытоптал своими копытами, — бог знает, сколько раз ему пришлось пройти этим путем, везя на спине своего рослого хозяина. Кроме них двоих, никому не ведома эта тропинка в лесу. Не грустит Белоглазый (да и зачем грустить?), что ненужной оказалась людям им проложенная дорожка. Ненужным оказался и сам старый мерин. О, кто только не сидел на его терпеливой спине за всю его лошадиную жизнь! И немало было среди них дураков, которые считали, сколько он за ночь съедает охапок сена, со злобой пинали в брюхо, обзывали его обжорой и мешком, полным дерьма. А один из этих дураков, тот, что брызгался слюною, когда принимался ругаться, как-то хлестнул колючей веткой его по глазу. А потом, решив излечить коня от бельма, нажевал угля со своими ядовитыми слюнями и пустил эту дрянь ему в глаза. Словом, помучили беднягу изрядно. С тех пор и прозвали Белоглазым. Такой не может надеяться на то, что умрет своей смертью. Когда-нибудь хрипнут его ножом по горлу... И конь не грустит о том, что один ходит по протоптанной дорожке...

Вблизи с треском и топотом пробежало стадо маралов, испуганно умчалось прочь. Круторогие быки неслись впереди, запрокинув головы. Сколько лет их кормит-поит с руки человек, а они никак не привыкнут, думает Актан, свободные, дикие создания! А вот взять лошадей, что за жизнь у них с тех пор, как покорились человеку? Актан пренебрежительно ткнул рукоятью камчи в круп Белоглазому... В лесу было свежо, сыро; влажная земля, сплошь устланная желтыми листьями, мягко вдавливалась под копытами лошади...

На зеленых иглах кедровой хвои сверкали крупные капли; проезжая мимо, Актан хлестнул камчой по лапнику — капли густо посыпались на землю. Издали, со стороны Акшоки, донесся протяжный плачущий голос. Таким же звуком отзывалась лесная даль со стороны Карашоки. И тотчас

же трубный клич марала раздался совсем рядом. Это пере-кликались олени, собираясь в стада. Значит, кончилась не-истовая пора их свадеб.

Актан вспомнил, как впервые удалось ему увидеть маралью свадьбу. Тому миновало, должно быть, лет десять, не меньше. Услышал он от старших ребят, что необычны, дики и неистовы у маралов брачные игры, захотелось ему увидеть их своими глазами. Взял он кое-какой еды и двинулся в горы. Осень стояла сухая, морозная. Красиво было в тайге, таинственно и страшно ночью, но Актан не испугался. У подножия Карашоки он увидел большое стадо маралов, подкрался сбоку и спрятался возле крупной лиственницы, подстелив под себя теплую овчинку. Целый день пролежал он на своем месте, но так ничего и не увидел. Только со всех сторон, казалось, за каждым деревом, раздавались неистовые голоса ревущих маралов. Рев не прекращался всю ночь. И всю ночь мальчик так и не сомкнул глаз. Напряженно вглядывался он в кромешную тьму, и стоило где-нибудь хрустнуть ветке, как он привскакивал, словно звереныш, готовый ринуться прочь. К утренней заре дремота одолела его, но тут дико заорал козодой, где-то вблизи шумно захлопали крыльями улары... Битва оленей началась, когда позднее осеннее солнце вынырнуло из-за вершины Акшоки. Самцы не спеша отошли от самок и стали парами друг против друга. Словно по неслышной команде, они опустили головы, каждый попятился, а затем яростно двинулся вперед, — сплошной треск пошел по тайге, когда столкнулись их мощные рога. Быки бились беспощадно, неистово, с утра и до полудня. Обессиленные, шатаясь, падая на землю, покидали поле боя побежденные, и лишь самые могучие, неутомимые два быка бились еще часа полтора, затем один одолел другого, прогнал его и, протрубив в небо о своей победе, направился к стоявшим поодаль ланкам. Собрав их в стадо, погнал перед собою на склоны Карашоки... Актан вернулся в аул (не с того ли дня прозвали его Оленем?) и только через неделю смог вернуться в тайгу к Карашоки. На месте битвы самцов лежал победитель, исхудалый и обессиленный, похожий на высохший труп. Актан подошел и потрогал его за рога, тот даже не попытался встать. Видимо, и на это сил не осталось...

Актан улыбнулся, вспомнив, какой удрученный, непривлекательный вид был у первого властителя гарема. Слышал Актан, что самого ярого самца хватает только на десяток маралих. Чего ради ему драться за всех? Когда он ис-

сякает и виновато потупится перед ждущими ланками, к нему подойдет тот, кого он победил в последнем бою, и двинет под ребра рогами. Так у стада маралих появляется новый вожак и властелин, но и его хватает ненадолго... Приходит третий, четвертый, — словом, каждому достается предназначенная для него доля, и ланки родят от них маленьких маралят. Такова правда жизни маралов, таинственная истина их брачных дел, но главной тайны жизни — рождения оленьих детей — никогда не видел Актан и ни от кого не слышал, чтобы удалось это увидеть.

* * *

Трубные крики маралов еще раздавались время от времени, когда Актан подъехал к гряде сумрачных, величественных гор — отрогам Алданского нагорья. В глаза бросалась необычайно узкая и высокая черная скала, копьем воззавшаяся в небо; на макушке каменного наконечника лежал плоский камень. Казалось, дунь ветерок — и он упадет. Но на памяти людей прошли века, а все сохранялась эта странная скала с камнем наверху, словно блюдом на палке циркача. Какие силы удерживали камень, было загадкой. Этот пик назывался Хранилищем Властелина — Таниркоймас. У его подножия находился бездонный провал, и горная тропа, проходившая здесь, подбиралась к самому краешку обрыва, будто желая испытать смелость проходящего путника.

Когда Человеку-Оленю приходилось проезжать в этом месте, сердце его вздрагивало, словно покалываемое остриями маленьких кинжалов, дыхание пресекалось. Он нетерпеливо стегал камчой и мчался прочь, будто его преследовали. Потом Актану самому было удивительно вспоминать это волнение, близкое к ужасу. Неужели, думалось ему, в Таниркоймаса таится какая-то сила, заставляющая жигита дрожать и то и дело призывать на помощь создателя.

Народ говорил, вернее — это старик Асан говорил об этой скале не иначе как со слезами на глазах:

— В давние времена, в старину далекую, жило здесь племя казахов, которые ездили на низкорослых иноходцах. Жили в мире, богатстве, пасли скот, вволю охотились, одним словом, счастливо жили. Но в один прекрасный день, когда никто не ждал и долины близ Таниркоймаса были полны лошадьми, коровами и баранами, напали джунгары и разграбили орду. Все же прогнали злого врага, а народ

никуда не ушел. Спорили из-за земли с русскими купцами. Потом шла война между красными и белыми. И, словно охваченное со всех сторон огнем, племя все равно не покинуло родную землю, хотя и можно было сесть на повозки и уйти куда-нибудь подальше, в пески. Но, слава создателю, этого не случилось, и все мы сидим сейчас здесь, у родных камней, каждый из которых хранит в себе нерассказанную сказку или историю. И если найдется среди вас кто-нибудь с талантом писать и рассказывать, то не задирайте носа потом, как некоторые, что пишут о поющих петухах да орущих ишаках, а расскажите всем о славе нашего племени, о высоких вершинах и бездонных архаровых ямах нашей горной страны.— Как ясно видится сейчас Актану морщинистое лицо старика, говорящего это; отвернувшись от мальчишек, задумчиво глядя куда-то, заправил Асан насыбая в нос; золотые отсветы заходящего солнца скользили, оставив в голубой тени ущелья и впадины, все выше к вершинам гор; глаза мальчишек жадно впились в сморщенное лицо старика. Он не спешил продолжать рассказ, долго прокашливался, ворочаясь на месте, пока вновь не повернулся к слушателям. И в то мгновение — вдруг ясно припомнилось Актану — струйка прохладного ветра донесла до него какой-то запах... Прошло столько времени, и только сегодня Актану стало ясно, что то был запах старика Асана, который сидел, весь, от головы до пят, заключенный в старое, изношенное тело, одухотворенный и добрый, еще живой и теплый, с наветренной лесной стороны.— Это было беспокойное время, сыночки. Если я не путаю, то те самые двадцатые годы, когда в боях красные кончали с белыми и обозы беженцев так и текли через Аршалы за границу. Всему бывает конец, поток беженцев тоже кончился, и докатились бои до наших гор. Ну об этих событиях надо рассказывать три месяца кряду, скажу только, что хоть и отошли за границу белые, однако Балтабай со своей бандой остался и продолжал набегать, не давал, как говорится, народу выпрямить спину, снять сапоги и расслабить пояс. Банда эта ускользнула от красных милиционеров, которых послали из райцентра, и спряталась в горах. В наших лесах и ущельях, где лишь одни улары летают, целая армия солдат укроется, а что там говорить о полусотне бандитов. Балтабай два раза брал Аршалы. В то время я, сыночки, был еще совсем молоденьким жигитом. В нашем ауле все меньше оставалось мужчин, они в то смутное время переходили от белых к красным, а от красных снова к белым — и на

той, и на другой стороне много полегло их, бедняг. Я же ходил вольным, сыночки, словно архар, охотился на диких зверей, а на людей охотиться не желал. Но и меня допекли наконец балтабаевские молодчики, пришлось прятаться в горах с пятизарядной винтовкой, была у меня такая, отобрал у одного беженца... Как отобрал? А очень просто — дал ему раз по затылку, и, пока он чесался, я спокойно унес ружье. И вот, днем я таился в горах, а поздно вечером, когда добрые люди уже укладывались на ночь, появлялся дома. Разок, сыночки, встал я, едва только развиднелось, и пошел обратно в горы. И возле Таниркоймаса вижу: стоят две привязанные лошади. Подкрался я тихонько, словно кот к мышке, гляжу, а под лиственницей храпит какой-то рыжебородый, лежит на спине, ружье к пузу прижимает. А рядом сидит молоденькая казашка, тоненькая такая. Апырмай! Ну чисто олененок безгрешный, лет, наверное, пятнадцать-шестнадцать. Тоже спит, а на лице-то, жигиты, печаль невыносимая, и одна слезинка скатиться еще не успела да так и застыла на длинных ресницах, словно примерзла. Ну, я осторожно приближаюсь к ним, а сон у нее чуткий, как у встревоженной птички, от шороха моих шагов проснулась, увидела меня и чуть не вскрикнула от радости, что казаха видит, да вовремя опомнилась и рот себе руками зажала. И посмотрела на меня такими жалкими, ну такими отчаянными глазками, что мне стало сразу понятно: я для нее последняя надежда. Ну, жигиты, не стал я особенно раздумывать, бросился ее освобождать, но на всякий случай, прежде чем разрезать на девушке аркан, потихоньку забрал у рыжебородого бандита ружье. А он вскоре очухался, привскочил, хват-хват руками вокруг себя, но, увидев, что ружье у меня, дал деру в сторону пещеры Таниркоймаса. Я за ним. Можно было, конечно, застрелить его раньше, чем он в пещеру влезет, но я уж не стал мешать ему, а, наоборот, подбежал и пинками в зад вогнал его туда. Девушку потом отвез в аул... и хотите — верьте, хотите — нет, пусть для вас это брехня, а для меня сущая правда, по эта девушка стала моей женой, да, да, жигиты, теперь это моя старуха, которая сидит под коровой и дергает ее за сиськи. Спрашиваете, что было с тем, которого я загнал в пещеру? Не знаю, сыночки.

Как-то осенью я и сам вошел в это Хранилище Властелина, куда человек ну просто не может без дрожи в коленях войти, и не дай аллах, сыночки, никому из вас испытать того, что испытал я. Были сумерки, а в пещере уже

тьма стояла, как ночью. Таниркоймас, этот божественный печальный камень, пустил меня к себе за пазуху, но могли он раскрыть мне, ничтожному, тайну своего сердца? Я только чувствовал, дети мои, как тоскует эта мрачная, загадочная душа горы, и было мне так страшно и так холодно — нету, наверное, на свете холоднее пещеры. Ползком пробирался я в бездонную пропасть, ощущая лицом ледяное дыхание тьмы, и вдруг почувствовал облегчение. Что бы это могло быть? Охватило меня в крошечной тьме блаженство, замер я, овеваемый нежной прохладой, и заплакал от неведомого и не испытанного доселе счастья. Ах, что бы это могло быть, дети мои? Эта мрачная пещера Таниркоймаса, о которой люди говорили, что прячутся там злые духи, вдруг оказалась для меня полна материнской неги, и почудилось мне, что во тьме вполз я, недостойный, в сказочный дворец бессмертных духов, и об этом именно всю жизнь тосковала моя душа... Там же я испытал горькое сомнение, что ведь никто наверху, в суетном мельтешении дней и ночей, которое зовется жизнью, никто не поверит мне. И никому не смогу я рассказать о том, что совершил такое путешествие в мир смерти, где все чуждо для нас, но царит тишина, блаженство и благодать. Не смогу передать наверх привета от себя и от тех духов, хозяев пещеры, с которыми мне пришлось разговаривать, находясь в блаженном состоянии между жизнью и смертью... Сотни и тысячи лет назад эти духи — и я вместе с ними — были живыми людьми, а теперь мы стали братьями и вечными жителями пещеры Таниркоймаса.

Старый Асан умолк, закончив рассказ, посидел в окружении мальчишек, смотревших на него круглыми от страха глазами, и вдруг вскочил, перешагнул через чьи-то ноги и быстро направился в сторону водопоя. Мальчишкам в эту минуту показалось, что старик Асан зачарован, его призывают тайные голоса, прорываясь сквозь грохот бурной реки, и он уже никогда не вернется назад, чтобы хоть раз еще рассказать людям какую-нибудь веселую или жуткую историю. О, дети еще не понимали, что взрослые столь же мало, как и они сами, проникли в тайны мира и потому утешаются тем, что сочиняют и рассказывают небылицы. И когда скрылся с глаз этот старик, принявший на время величественный вид, мальчики тоже вскочили и понеслись в сторону аула. Им казалось, что из черного зева пещеры выходят чередой духи, безмолвно движутся к костру. И первым прибежал в аул, подгоняемый неистовыми ударами

сердца, Актан, и до сих пор не раскрылась для него жутковатая тайна пещеры Таниркоймаса. Потому что детство ушло и умер старик Асан, обещавший ребятам, что со свечою в руке поведет в пещеру, и со смертью старого болтуна кончился, оборвался единственный живой поток сказок, легенд, преданий, песен и веселых баек. Потух, угас веселый светоч старицкой мудрости, и в пустом доме без хозяина гуляет дикий ветер. И некому больше рассказывать аульной ребятне сказки, да и самого аула, считай, нет уже — одни безмолвные тоскливые дома под осенним дождем и ветром.

А все мы знаем: если человек в детстве не ощутит рядом присутствие чудесного, дивного, то после, став взрослым, он утратит всякое любопытство к новизне знаний, к таинственным загадкам окружающего мира. И, может быть, именно из сказочных впечатлений детства, из жутковатой чащи фантастического мира взлетает птица мечты, и она-то увлекает творчество человека дальше всего. Лишь в детстве, еще не познав зла, человек взирает на мир глазами особенными: детскими, безгрешными и чистыми. Весенний мир предстает перед этими глазами покрытый зеленым ковром, в узорах цветов. И навсегда останется он самым желанным, этот мир, и хочется нам вернуться на тот зеленый ковер, да невозможно, грехи не пускают. Есть дорога из детства, нет обратной дороги туда.

Но душу Человека-Оленя детство не покинуло. Синий купол небес его детства словно бы не подчинился движению времени и остался над его головою неизменным. И развились под этим небом детские волнующие воспоминания, словно лани с нежными сосцами, играющие возле своих тел. Порою, рассердившись, что они бережат ему душу, пытался он их прогнать, но безуспешно: они возвращались. И вскоре он перестал их прогонять, понимая, что если совсем исчезнут они, то пуст будет для него мир жизни. Воспоминания обычно приходили сами, а он только удивлялся, печально вздыхал, что столь дороги они, все еще столь дороги ему...

И сейчас, проезжая мимо Таниркоймаса, он охвачен далеким страхом детства, хотя давно уже вырос и ощущает в себе такие силы, что, кажется, мог бы разрушить эту скалу голыми руками. И эта двойственность чувства, рожденная беспредельной верностью сердца незабвенному детству, особенно волнует Человека-Оленя. Он представляет, что если взобраться на самый верх каменного пальца Таниркой-

маса и лечь на плоскую плиту, венчающую вершину, а затем, свесив подбородок через край, посмотреть вниз — о, как бы закружилась голова над жутким провалом ущелья! Если даже в самый жаркий летний день, когда от зноя чуть не кипит вода, присесть на мягкий мох у края этого ущелья, то все равно леденящий озноб охватит тебя. Как дыхание чудовища, идет снизу холод, и это кажется колдовством. Не раз Актану хотелось спуститься на веревках в пропасть, чтобы разгадать это диво, но всегда что-то останавливало его. Нет, страха — нет! Он бы преодолел свою робость... Но как будто бы некий запрет тяготел над ним, и Актан не смел его нарушить... Словно тот глубинный, никем не наложенный, но могучий запрет, который не позволяет человеку решиться на убийство себе подобного или, отбросив стыд и совесть, пуститься в грязный и безоглядный разгул... И желание сойти в ледниковое ущелье оставалось для него пока неосуществленным, с годами оно обрело невесомость и парение мечты... Когда его охватывало отчаяние одиночества, он, истерзанный и беспомощный после приступа душевной боли, вдруг с исступлением начинал думать о том, как бы он спустился в пропасть и вернулся назад живым. «Ах, спуститься туда и выйти оттуда живым!» — несчетно повторял он про себя, стиснув зубы. И ему казалось, что, если бы исполнилось это, вся остальная жизнь его изменилась бы, словно по мановению волшебника, и стал бы он богатым, щедрым, всемогущим и славным, как никто еще на земле. Все дело было в том, чтобы спуститься туда и вернуться...

Актан невольно придержал коня, проезжая тропой, идущей по краю ущелья. «О, какие же это слабые, суетные и лукавые мысли!» — ужаснулся он про себя. Не потому ли думается о богатстве, щедрости и власти, что сейчас уже каждому ребенку известно о сокровищах, якобы спрятанных на дне пропасти? Значит, не ради волшебного испытания спустился бы он туда, а попросту за жемчугами и золотом, спрятанными там баями и богачами после революции? «Видать, и ты тоже не прочь разбогатеть?» — изобличал сам себя Человек-Олень, сердито нахлестывая ни в чем не повинную лошадь...

Он повернул коня назад — не захотелось дальше подниматься к Таниркоймасу. В этот туманный и сумрачный, как никогда, холодный день душу словно охватило предчувствие близкой беды, вероломства, предательства — беспредельная тяжесть и печаль легли на нее. Туман, который на-

чал было рассеиваться, так и не разошелся в осеннем, перенасыщенном влагою воздухе, а вскоре мутные валы его начали вновь густеть, затягивая все вокруг невразумительной белесой мглой. Холодный пар предзимья властвовал в лесу. Дыхание его было даже невыносимее февральского свирепого холода. Близилась — была уже где-то рядом — эта снежная морозная пора, когда весь Алтай погрузится в глубокий белый сон...

В зимнюю пору Человек-Олень всегда чувствовал себя бодро, много охотился, далеко уходил в тайгу на лыжах, подбитых шкурой жеребенка. Теперь, когда эти лесные края покинули люди, несравнимо больше стало белок, лисиц и другого зверья. Стих шум аула, перестали блеять овцы, простора для вольного житья лесных тварей прибавилось, так что неудивительным было их возрождение, но только непонятно, куда исчезла таинственная священная мышь. За два года Актан не видел ни ее, ни ее следов и не знал, чем объяснить это. Возможно, предполагал он, обильные третьегодичные снегопады в мае погубили ее и весь род мышиный. А может, они узнали о приближении небывалого голода и заранее покинули эти края...

Белоглазый заспешил к дому, не чувствуя руки хозяина, но Актан пришел в себя, выпрямился в седле и повернул коня в сторону далекого и невидимого пока Синего озера. Чахлое солнце, тонущее в тумане, словно перескочило на новое место и виднелось теперь чуть заметным белым диском по правую сторону от Акшоки и Карашоки. Эти каменные громады сейчас были проглочены туманом и едва заметными тенями шевелились в его чреве. Засилье тумана, объяввшего собою небо и землю, было столь велико, что даже шум горной реки, извечно жизнерадостный и звонкий, был приглушен теперь словно толстым слоем ваты. И в этом холодном пару Актан гнал коня вдоль речного берега, спеша к Синему озеру, как на праздник к родственникам.

У Кокколя, Синего озера, когда-то бурлила жизнь. Не протолкнуться было среди рабочих, везущих на тачках руду. С сибирской стороны и с казахской шли люди, чтобы густым скопом, без техники, с кайлом да лопатой добывать ценный вольфрам. Добытый металл отправляли, погрузив на верблюдов, куда-то в глубь страны... Актан ничего этого не видел воочию... Было это давно, рудник и завод просуществовали недолго, теперь все заброшено, умерло, и ничто не напоминает о тех шумных, развеселых и отчаянных буднях вольфрамового прииска. Кокколь прятал свои загустелые,

помертвевшие воды под лохмотья тумана. Человек-Олень, обладая сердцем чутким и незащитным, всегда бывал подавлен подобным зрелищем ветхости, заброшенности и забвения. Душа его скорбела, но все равно властная сила призывала его сюда, и он часто навещал мертвый рудник у Синего озера. И если хотя бы месяц он не бывал здесь, то чувствовал томление и беспокойство.

Может быть, в смутных размышлениях находил он свою судьбу сходной с судьбою этого кусочка казахской земли на берегу Кокколя — Синего озера, пограничные воды которого разделяют Казахстан и чужую страну... И, подобно этому покинутому заводу, обречен он, скиталец и одинокий кочевник в пустыне, на полное забвение и безрадостное угасание. И чем дальше будет тянуться время его жизни, тем больше — рваться нитей надежды, устремленной к радости и счастью. И не верилось Актану, что, утратив эту надежду, обретет он что-нибудь иное — хотя бы утешительную конечную мудрость. В его сознании подсудно зрело убеждение, что никакой подобной мудрости нет, а есть лишь одно большое, безмерное, долгое ощущение жизни. И все остальное, в том числе и конечная мудрость, придумано людьми то ли для самообмана, то ли для ловкого обмана других. Но для чего так?.. Живое человеческое существо или притворно плачет, или лукаво смеется — без этого оно не может. А сам он, Актан, знает ли что-нибудь истинное о людях? Нет, тоже ничего не знает. И существуют каждый сам по себе, придумывая для себя жалкую мудрость и свои законы. Гений презирает пустых людей и высокомерно проходит мимо них по жизненной стезе, а пустой человек, кому и невдомек, что такое гениальность, смотрит с презрением и отвращением в его сторону. А рядом проходят по многотрудной жизни воры со своими законами, нерушимыми уставами и обычаями. Воры, говорят, соблюдают свои законы гораздо вернее, чем иные честные люди. «А сам я, — размышлял Актан, — разве не придумал я сам себе законов? Живу в стороне от шумной жизни, не читаю ни газет, ни книг, радио не слушаю, в кино не хожу, живу себе один-одинешенек рядом с немой матерью».

Вспомнился совхозный магазин на центральной усадьбе Орели, где можно было купить транзисторный приемник, похожий на кирпич; но каждый раз, лишь подумав об этом, он насмешливо возражал самому себе: «На кой черт собаке железка?» Прожил он уже тридцать лет, не слушая этот транзистор, и как-нибудь проживет так же еще лет три-

дцать. Ведь прожила же семьдесят лет его мать, ничего не зная и не слыша и ничего не увидев в жизни. «А те, которые что-то видели и побывали кое-где, что-то ненамного счастливее меня,— думал Актан.— Капа взять, грамотея». Вернулся тот в родные края, поработал немного в райкультотделе, да прогнали за пьянство. Бросил жену, детей и теперь перебрался в аул, работает завклубом. Много раз кланчивил у Актана деньги: «Похмелиться бы, брат. Башка трещит». Все, что он зарабатывает, уходит у него на алименты и на пропой. И ходит расслабленный, совершенно бесполезный человек по аулу — живой образец человеческого срама и позора. И такой жигит протирал штаны в столичном институте! Спрашивается, не все ли равно, где человек заблудится: в дремучем лесу или среди курятников? Потому что человек обречен бестолково мыкаться по жизни и никогда не будет готов ни к встрече со смертью, ни к борьбе с ней. «Хотел бы я посмотреть,— думал Актан, недобро усмехаясь,— как ты заорешь, словно заяц, схваченный за уши, под руками беспощадной смерти... Тебе ли, жалкому трусу, бродяге в грязных штанах, крутиться возле Айгуль».

Айгуль!

«Да я вырву сердце у этого поганца и суну ему под мышку да коленом поддам сзади, чтобы летел он прочь от тебя, Айгуль. Белая лань, которую я нашел в белом тумане. В моей душе, никчемной, как ведро с выпавшим дном, по-весеннему все оттаивает, когда от тебя повеет хоть единым порывом доброго внимания. Тогда и печаль легка, и тоска одинокая кажется не столь жестокой. Та свирепая тоска от разлуки с тобою, та безысходная маета, от которой впору убежать в глухой лес и умереть там, зарывшись лицом в сырой мох...

Словно птицы, летели от тебя ко мне книги, те самые книги, которые давала ты читать неразумному Человеку-Оленю, всем известному Зверю. И хоть не мог Зверь-Актан осилить эти скучные толстые книги, но знай же, Айгуль, что клал я их под голову себе, когда ложился спать, и сквозь сон ласкал их, потому что на них оставался слабый аромат твоих рук. Ты помнишь, наверное, тот день ранней осени...»

Айгуль была в библиотеке одна. Рядом с нею вспыхивали стекла раскрытого окна, в котором бушевал поток закатного солнца, и огненный алый отсвет, падавший с них на лицо Айгуль, придавал ему непривычный для Человека-Оленя смутенный, тревожный, несколько суровый вид. Может,

поэтому он, остановившись посреди комнаты, не посмел даже с нею поздороваться. Молчала и она, склонившись к столу. Он стоял, не в силах отвести глаз от нежно-алого лица девушки, и чувствовал, как нарастает в нем какое-то непонятное, могучее отчаяние. И, уже не вынося его, повернулся и пошел к выходу. «Актан! — резко окликнула она, и еще раз: — Актан!» Он был поражен, что девушка впервые позвала его, произнесла его имя... Но таким голосом не зовут, а прогоняют. И он, не оглянувшись, вышел вон, резко хлопнув дверью. После прошло два месяца.

...А до этого у них была нечаянная встреча в доме главного бухгалтера совхоза — Буха — как звали того в ауле. Она заговорила с Актаном, спросила, почему он никогда не берет у нее книги — ведь он грамотный, учился в школе, и ему, должно быть, скучно одному в заброшенном поселке... На что он ответил не сразу, но все же ответил, сверкнув глазами: «Айгуль, я знаю, что если бы прочел все книги из твоей библиотеки, то стал бы намного умнее. Но вместе с этим я стал бы и намного хитрее и подлее. Кого называют умными людьми, Айгуль? Не тех ли, которые хитрее других, беспощаднее и бессовестнее? Так что, Айгуль, пускай я буду глупым и неотесанным. Пускай я не умею думать или плакать, как в книгах. Но я буду жить по-своему, как могу, и никогда не откажусь от своей свободы...»

Она удивилась, не ожидала того, чтобы Человек-Олень заговорил подобным образом. А потом испугалась — испугалась за этого нелепого Зверя. В смятении тихо произнесла, почти с ужасом глядя на него: «О аллах, да ведь этот человек хочет жить только для себя!» На что он ответил долгим, упорным, насмешливым взглядом, которого она не выдержала и опустила глаза. А он крикнул:

«Кто, скажи мне, кто сейчас живет для других? Правду говори! — помахал он выставленным перед собою пальцем, — Только правду!»

А в тот яркий осенний вечер Актан, прихлопнув ударом ноги хлипкую дверь библиотеки, направился к магазину Вдовы. То была разбитная молодуха, муж которой погиб, свалившись с трактором в реку. Вдова питала добрые чувства к Актану, обращалась с ним неизменно ласково и считала своим в доме, ибо тот был другом ее погибшего мужа, которого она потеряла в самом расцвете своих женских лет... Черные бойкие глаза ее радостно сверкнули и попытались, как и всегда, выразить что-то более значительное, многообещающее, нежели обычная дружеская радость, когда

Человек-Олень вошел в маленький магазин, согнув под прилокой голову. Но он не отозвался на игривый безмолвный призыв Вдовы. Опершись локтями о прилавок, он заговорил с нею и учтиво справился о здоровье детей. Затем попросил водки, принял из ее рук граненый стакан и выпил единым духом. Занюхал рукавом.

— Ты смотри мне, ведьма... — схватив Вдову и приподняв ее с полу, прорычал он. — Будешь хвостом вертеть, я т-тебя... Постыдись, сволочь, духа того, кто ради тебя и детей перевернулся на «ДТ». Постыдись своих маленьких детей...

Вдова не испугалась. Она сама покрепче прижалась к нему и, засияв круглым румяным лицом, мелко рассмеялась.

— Ох, если аллах даст мне когда-нибудь еще мужчину, хочу, чтобы им оказался ты. Лучше ты меня помучай, чем кто-нибудь другой, — посмеиваясь, отвечала она, запрокинув голову и подставляя ему свое мягкое, большое, жаркое лицо. — Тебе бы «ДТ» простил... Был бы жив, и то простил бы. Друга любил больше, чем меня, жену.

Человек-Олень выпустил Вдову и оттолкнул ее от себя. Холодная жгучая водка разошлась в крови, ударила в голову. Он перемахнул через прилавок, уселся на него, свесив длинные ноги. Потупившись, хмуро попросил еще водки. Вдова поднесла, он выпил и вновь занюхал рукавом.

— Вспомни, Актан, как мы с «ДТ» прозвали тебя Зверем. И весь совхоз тоже стал дразнить тебя Зверем, — шептала Вдова, приваливаясь к нему сбоку. — И на самом деле ты не человек, ты зверь, ха-ха!.. А не пора ли тебе, бедному, переехать в совхоз, жениться, зажить своим домом, а? — вдруг всхлипнула и жалостливо проговорила Вдова.

Но Человек-Олень, казалось, не слышал. Выпитая на голодный желудок водка оглушила его. Он бессвязно забормotal, скривив рот:

— Вы все... ты и Айгуль, и все-все... весь совхоз... что вы можете понимать... Чужие вы для меня... Один раз в месяц... один разок спускаюсь я с гор, чтобы выпить водки, а вы все считаете, что я пьянчуга, боитесь меня. Я знаю, вы мне завидуете... я ловлю зверей и дорогие шкуры сдаю. Отца у меня нет, а мать вон какая... и вы все равно завидуете мне. И вот эта рука, боевая моя рука будет всех вас держать за шкирку и на том, и на этом свете, знаете ли вы об этом?

Бормоча подобное, он вдруг покачнулся и свалился с прилавка. Неуклюже поворочавшись, уснул там же, на полу, где лежал. Вдова растерянно заметалась. Если кто-нибудь увидит его здесь, то вспыхнет пожар сплетни, в котором она сгорит со стыда. Но и выволочь его из магазина, чтобы бросить на улице, не решилась Вдова, жалея статного, небезразличного ей лесника. Она укрыла его своим пальто и, выглянув за дверь, захлопнула ее, закрыв изнутри на крюк. Потом села на мешок с крупой и притихла, сторожа пьяный сон Актана. Сидела долго, затем постелила пустые мешки и прилегла рядом. В крошечной тьме закрытого магазина спал эту ночь Актан, в пьяном бесчувствии не ощущая, как обнимают его горячие, трепетные, жадные руки. И только уже при невятном свете раннего утра очнулся он и увидел рядом уснувшую Вдову. Напрасно прождала она всю ночь чуда. Круглое лицо ее, обычно розовое, налитое полнокровным румянцем, сейчас было свинцово-серым, набрякшим усталостью бессонной ночи. Она сопела, словно ребенок, всхлипывала во сне и что-то невятно лепетала, и Актан с невольной жалостью разглядывал беспомощную женщину. Кто знает, что снилось молодой несчастной Вдове...

* * *

Два марала выскочили из леса, перебежали дорогу. Стройные, сильные олени взвивались над туманной землей, словно в легком зверином танце и мгновенно исчезли с глаз. Актан знал, что из питомника сбежали два самца, и это, видимо, были те самые маралы. Окрепили на свободе, нагуляли жир. Охотнику подумалось, что хорошо бы выследить их да подстрелить, чтобы заготовить себе на зиму мясо. Но сразу же стало жаль их.

Над лесом неслись, шевелясь, тучи густого тумана, как клубы дыма, и солнца не было видно. Лошадь шла неуверенно, оскальзываясь на мокрой глинистой дороге. Пропитанный влагою воздух липко струился по лицу, одежде, распаренной конской шкуре. Когда осторожно, пошатываясь и прощупывая дорогу, старый конь взобрался по невидимому взгорку, лес кончился и мокрый кустарник начал хлестать по ногам, по лицу тяжелой влажной листвой. Копыта Белоглазого теперь ступали по мягкому податливому мху.

Вскоре туман заметно рассеялся и стали различимы очертания скал и дымящиеся силуэты деревьев. Меж ними тускло блеснула свинцовая поверхность Кокколя. Это была глубокая

виадина на том берегу озера, где из недр рудоносной горы когда-то добывали вольфрам. Сейчас гора еле виднелась, залитая белым молоком тумана. Смутно вздымался на берегу горб рудного холма, у подножия которого зиял, как единственный глаз великана, овальный зев пещеры. И Актан направился к ней, словно крошечный Рустам к огромному великану.

Мимо промелькнули в туманных лохмотьях длинные темные бараки. Сейчас в них пусто, и полуразрушенные жилища людей стали убежищем диких сов и уларов, шумно влетающих и вылетающих сквозь пустые окна и двери. Актан хотел ввести Белоглазого за собою в пещеру, но конь уперся, понявшись, натягивая узду, и тогда хозяин привязал его к стволу нагой лиственницы. Сжимая в руках камчу, Актан вступил под свод пещеры. С каждым шагом густела тьма, и Актану вспомнились ужасы пещеры Таниркоймаса, о которых рассказывал старик Асан. Казалось, что зловещие духи Тапиркоймаса собрались здесь и тайно следят за непрошеным гостем. Вскоре главный ствол разделился на несколько проходов, и Актан остановился, не решаясь идти дальше. Сердце его неистово стучало, ледяная сырость дышала ему в лицо из мрака подземелья. Незачем было ему устремляться туда, перемогая страх, рискуя быть погребенным заживо, — крепления давно сгнили и могли обрушиться в любое время. Спотыкаясь о валявшиеся куски руды, Актан стал осторожно продвигаться по кругу, собирая щепки. Присев на корточки, он чиркнул спичкой и разжег костер. Трепетный, слабый огонек заплескал на камне, постепенно набрал силу, и пламя ярко разгорелось, далеко отбросив пещерную тьму. Собрав побольше дров, Актан уселся возле костра. Сквозь его потрескивание услышал он какой-то шум у входа — то, наверное, металась на привязи голодная лошадь... Вскоре все звуки внешнего мира перестали существовать для него — он погрузился в обычные свои тягостные, неотвязные думы. Сейчас они были особенно тяжелы, словно глухой туман, навалившийся на горы. Голова Человека-Оленя низко свесилась на грудь.

Чем же мучилась эта скорбно склоненная голова? Как ни странно, бывлой радостью и воспоминаниями беззаботного детства. Нескончаемые игры, безвозвратные яркие дни, промелькнувшие мимо, словно летящие друг за другом ласточки: вжик-вжик-вжик. Не умиление вызывали эти воспоминания, а глухую душевную боль. Ибо скоро, очень скоро мечты его утратили радость, а первые робкие желания любви, похожие на вдохновенный порыв, были растоптаны кирзовыми сапо-

гами военного времени... Прерванная учеба. Пропавший невесть где отец. Мать, не могущая сказать даже одного слова — «сын»... От этих воспоминаний он то и дело вздрагивал, словно от грубых пинков... Кончилась, тысячу лет назад кончилась для него пора детских сказок. Безвозвратно, навеки. Пришла пора угрюмого, безрадостного одиночества. Уже два месяца он ни с кем не разговаривает. И днем и ночью — всегда один. Порою Актан восставал: «Разве человеческое начало может отказаться от себя? И почему я влачу жалкую жизнь, словно выживший из ума старик? Чего же мне недостает, чтобы я мог спокойно жить среди людей?»

Чего же не хватает? Неизвестно. Мрак за закрытыми глазами. Мелькают черточки — белые, синие... Где ты, дух старого Асана? Почему не придешь к тому, кто так любит твое ясное, веселое, мудрое начало? Как жить Человеку-Оленю в этом мире без твоих сказок и странных небылиц?

Одна из тех давних выдумок Асана.

...Вечерами аул Аршалы бывал особенно красив. Мирный пахучий дым вставал над крышами, золотистыми от вечернего солнца. С дальних выпасов возвращались стада, втекали на деревенскую улицу, повсюду во дворах кипела хлопотливая вечерняя жизнь. Старик Асан, собрав возле своей лачуги мальчишек, рассказывал: «В давние времена, когда был жив один из великих наших предков бий Маметек, никто, кроме казахов, не осмеливался перейти к нам через Курчумский перевал. Был наш пращур Маметек человеком богатым, но и в мудрости и остроумии аллах не отказал ему. Про его богатство ходила такая молва: если все табуны его лошадей придут на водопой и сделают хотя бы по одному глотку, то река обмелеет. Но однажды случился страшный весенний мор — джут, и все лошади его пали, не осталось даже коня под седло. Пришлось Маметеку идти просить лошадей к своему сопернику, баю Текешу. Тот захотел унижить гордого Маметека и приказал своим работникам прогнать перед соседом самых отборных лошадей под богатыми попонами: мол, пусть выбирает любую. Однако Маметек словно бы не понял ничего и огорчился: «Зря говорили, что уважаемый Текеш почти равен мне богатством! Среди десяти его отборных косяков не нашлось лошади, подходящей для меня!» Так ничего и не выбрал. А когда ему шепнули, что сосед пытался унижить его, он воскликнул: «Я, оказывается, простак! Умею считать только крупные камни. А бай Текеш хитрец, умеющий считать самые мелкие песчинки...» Так он даже в годину бедствия су-

мел уберечь себя от унижения. После того как Маметек съездил в Мекку и Медину, стал он называться Кажы, и слава о нем далеко разошлась по нашей земле. Он стал верховным биём и уже никому дороги не уступал, ни перед кем шапки не ломал.

Даже дети переставали плакать при упоминании о нем. И вот как-то, когда начались смутные времена, Маметек объявил всем, что поедет искать землю обетованную — Жеруыйк, где нет различия между зимой и летом. Взял Маметек пятьдесят нукеров¹ с собою и отправился в далекий путь. Тогда дорог, отмеченных на карте, ни самих бумажных карт не было. Определяли направление по солнцу и ехали напрямик куда глаза глядят. Ну, наш пращур Маметек был большой учености человек, много знал такого, что не знают другие. Вывел он своих нукеров из Аршалы и напрямик привел их в далекую страну Таиланд. Увидели жигиты диковинную землю, где и впрямь круглый год стояло дивное лето. Сказка, да и только! Чем тебе не Жеруыйк? Конечно, слава тем казахам, которые верхом на лошадях добрались до таинственной страны Таиланд. А теперь даже на самолетах смогли бы вы добраться туда? То-то же... Через три года вернулись они живыми-здоровыми домой. Рассказали: растет там что-то вроде пшеницы, вызревает круглый год, и сеять не надо, само собою растет, и очень много. И вот на следующий год собрался Маметек перекочевать в этот Таиланд со своим родом Каратай, с нашим родом то есть, но не успел, умер вскоре (старик Асан на этом месте расчувствовался и заплакал, вытер глаза рукавом старой рубахи). Если бы не умер он, то хоть один род казахов жил бы сейчас на сказочной земле Таиланд, сыночки».

Рассказ этот до сих пор волнует Актана. В иные, самые тоскливые свои дни он доходит до умоисступления: «Неужели, думает Человек-Олень, это было на самом деле и мой прадед побывал в Таиланде? Так, значит, и я мог бы жить там, где никогда не бывает зима? А что бы я делал, чем бы занимался?..» И так далее и тому подобное — странные мысли возникают в его голове.

Но потомки Маметека, хотя и не перебрались в Таиланд, все же покинули Аршалы и вот уже пять лет живут в Орели. А старый Асан, хоть и упирался, тоже переехал туда. Сын его был учителем, и сказал он отцу: «Кого мне учить в пустом ауле? Разве тебя — больше некого будет». Пришлось сдать-

¹ Нукеры — свита, слуги.

ся старику. Но не прожил и года он на новом месте, умер. По его посмертной воле тело перевезли в Аршалы и похоронили вблизи заброшенного аула.

* * *

Актан согрелся возле огня; мокрая одежда, высыхая на нем, задымилась паром. Холодок еще держался на спине, между лопатками, и он сел спиной к огню... Непонятно было, сколько прошло времени и что снаружи — зима или осень, туман ли по-прежнему властвует над землею или давно уже покрыл горную страну белый снег. Тихо. Не слышно ни фырканья, ни топота привязанного у входа коня. Надо бы выйти и посмотреть его, но... Актан лишь вновь обернулся к костру и поправил горевшие дрова. Он увлеченно прислушивался к странному разговору, который уже давно шел как бы не в нем, а где-то в стороне. Говорили, споря меж собою, какой-то умный, праведный Актан и диковатый, строптивый Человек-Олень.

Актан. Эй, ты! Не успел состариться, а уже так опустился. Чего ты добился в жизни, ну-ка? А что дал людям, миру? Чего здесь зря сидишь?

Олень. Сам знаю, что без толку сижу... как был один, так и останусь. Но одиноким можно быть и среди людей. Говорят ведь: если создатель захочет, то и днем с огнем заблудишься... Да, я ничего не добился и ничего не дал миру. И правда опустился, одичал без людей. Но я до сих пор помню все сказки старика Асана. А они забыли. И теперь я один ношу их в своей душе.

Актан. И что ты все цепляешься за эти выдумки? По твоему, кроме них, нет в жизни ничего стоящего? Разве мало сбывается из того, о чем когда-то люди только мечтали? Да сейчас бывает так, что человеку приснится что-нибудь ночью, а днем он это уже видит по телевизору. Цена твоим сказкам теперь пятак, они даже детям не нужны.

Олень. Знаю. Ты думал, я не знаю об этом? Давно уже догадался, что сказки любили только старик Асан и я. Мы последние, кому они дороги. И хоть ты лопни, но не докажешь мне, что это плохо. Чем тебе не нравится предание о Маметеке, который хотел переселить свое племя в страну, где нет зимы и растет чудесный вечный хлеб на непаханой земле? Неужели ты посмеешь назвать это глупой выдумкой?

Актан. Кое-какая придурь была у старика... А этот Маметек — он мог погубить свое племя, если бы увел его с

Алтая, где лютая зима свирепствует полгода. В жарком климате люди умерли бы от болезней. Вот что значит предаваться пустой гибельной мечте! Вместо того чтобы перебирать в памяти бредни мертвого старика, спустился бы ты в долину и занялся полезным делом, пока и в самом деле не пришла старость...

Олень. Полезным, говоришь... А что такое полезное дело? Я думаю, полезнее всего было бы научиться не убивать доверия другого человека, который точно так же, как и ты, живет всего один раз и умрет навечно. А этому можно научиться не в Орели. Ведь здесь мне не перед кем хитрить, ни у кого я не вызываю ни зависти, ни злобы... Пусть я не очень счастливо живу здесь, но совесть моя чиста.

Актан. Не кичись, наивный. Кому нужен такой святоша, как ты? Этаким ангел перед самим собой. Озабоченный своей чистотой, ты и не заметил, как постепенно стал одиноким Зверем. Все в ауле, да что там в ауле — во всем районе смеются над тобой! Некоторые завидуют тому, что ты добываешь и сдаешь ценные меха, но пусть мне выколют глаза, если хоть один позавидует твоей жизни. Ведь что о тебе говорят? Актан, мол, совсем одичал, как только не боится жить с ним старая мать, как еще с ума не сошла? Уже за тридцать ему, а до сих пор не женат. Может, он и не мужик вовсе, а так себе... лишь наполовину? Куда это он исчезает порой, словно под землю проваливается? Знать, недаром рассказывают о нем всякую чертовщину...

Олень. Я охотник. Надолго ухожу в лес, это же так просто... Но пусть обо мне говорят что угодно и называют Зверем. По мне лучше быть Человеком-Оленем, чем Человеком-Машиной. Там, в Орели, я знаю, некому уже сочинять сказки. Разве что обо мне начнут рассказывать небылицы, пугать непослушных детей.

Актан. А зачем современному человеку сказки? Он стал взрослым и умным, кончилось его детство и отрочество, забыл он о своем первородном робком смирении, и разве это плохо? Значит, мы подошли наконец к свободе, которую приносит прогресс.

Олень. Эй, не спеши радоваться, Актан! А не станет ли человек слишком наглым и самоуверенным, утратив и благородство сердца, лучшее из своих человеческих качеств?

Актан. А ты сам... почему сам-то закрыл сердце на замок? Что же ты прячешь так глубоко свое благородство? Или боишься кого?..

Олень. Некого мне бояться. У меня нет врагов.

Актан. Значит, и друзей у тебя нет...

И в это мгновение, когда спор между Актаном-Разумным и Человеком-Оленем приковал все внимание Актана-Охотника, одиноко сидящего в пещере у костра, что-то похожее на длинную змею вылетело из тьмы, со свистом рассекая воздух, и мокрый волосяной аркан крепко обвился вокруг шеи человека. Затянутая с невероятной силой бешенства, петля аркана была твердой, как из стального каната. Сопrotивляться невидимому противнику было бессмысленно, и Актан замер, откинувшись назад, стараясь обеими руками расслабить петлю. С огромным усилием удалось ему чуть оттянуть веревку и судорожно передохнуть. Стараясь сдержатъ себя и не метаться в ужасе, которым было охвачено все его полузадушенное существо, Человек-Олень старался показать неизвестному противнику, что не намерен сопротивляться. Но веревка начала сдавливать горло все крепче, и он захрипел, зашатался, и в ту же секунду удавка чуть ослабла. Придя в себя, Актан услышал позади шаги, близкое дыхание и понял, что за спиною стоит человек. Оленю хотелось резким движением повернуться к нему, но тот, опережая его, уперся ногою в спину и снова потянул аркан... Мучительнее боли была та беспомощность, с которой он распростерся у ног беспощадного неведомого врага. Все внутри Человека-Оленя рвалось, ревело от бессильной ярости, он хотел бы или немедленно умереть, или добраться до того ублюдка, что жестоко издевается над ним, — шлепнуть его о каменную стену пещеры... чтобы только ноги болтнулись в воздухе.

Актан собрал всю волю, приказал себе успокоиться — для борьбы, для будущей мести. Но, чуть скосив глаза, со странным чувством печали и равнодушия посмотрел на потухающий костер, и в голове мелькнула мысль, что вот умрет он сейчас, через минуту, и умрет глупо, бессмысленно, позорно, не узнав даже, из чьих рук принял смерть, и растащат звери Кокколя его кости из пещеры... И на земле ничего не останется после него: ни братьев, ни детей, которые будут жить вместо него, — он умрет весь, умрет навечно...

И тогда тусклое, вялое равнодушие охватило его душу. Великая жизнь — все то мельтешение суетных дней — показалась ему не дороже медного пятака. То была никчемная, дурная, тягостная морока. За нее не стоило цепляться. Но, как бы противореча этому угасанию души, впавшей в предсмертную вялость, молодое тело Человека-Оленя и низменная утроба его вдруг содрогнулись от мучительной конвульсии голода. Глубоко в желудке его раздалось свирепое ворча-

ние: там не было пищи с самого раннего утра. В полузакрытых глазах Актана-Охотника снова мелькнули прыгнувшие в туман жирные олени, и он успел подумать, что зря не убил их, сколько бы мяса было... Где ружье? Где Белоглазый?..

Изогнувшись, он схватился за аркан и с силою рванулся вперед, в сторону, еще в сторону. Но тяжелая нога по-прежнему крепко упиралась ему в спину, меж лопатками, а волосяная петля стянулась намного туже. Еще долго шла эта безмолвная борьба — Актан рвался к выходу из пещеры, но чья-то могучая рука дергала за веревку и валила его назад, на каменный пол.

Наконец Актану удалось просунуть крепкие и цепкие, как у беркута, пальцы под волосяную петлю аркана. Чуть растянув удавку, он вздохнул всей грудью и, изо всех сил оттягивая петлю от шеи, сжался в ком, бросился вперед, низко наклонившись, потом резко опрокинулся на спину и, перевертываясь, могуче ударил обеими ногами вверх. Прием удался, и огромные мокрые сапоги Актана двумя таранами ударили по лицу противника. Тот отлетел в полумглу пещеры, душившая петля мгновенно ослабла. Он сбросил ее с головы и, хрипло рыча, прыгнул туда, где должен был валяться враг. Тот встал с каменного пола, и Актан изо всех сил двинул ему в спину каблуком сапога. Таким ударом он мог бы переломить противнику хребет, но тот извернулся и вышел из-под прямого удара. Актан чуть не упал, а когда выправился и яростно обернулся назад, враг его успел выхватить из костра тлеющую головню и угрожающе наставить в лицо Актану. Актан медленно отступал, а неизвестный неумолимо приближался к нему, загоняя его в каменный угол. Опасность снова нависла над жигитом, и в эту секунду Актан-Разумный подумал: не может быть, чтобы у неизвестного человека была такая смертельная ненависть ко мне, у меня ведь нет врагов. Тут непонятное что-то... Надо попросить пощады, тем самым смягчить его, а там видно будет...

«Нет! Лучше смерть!» — яростно запротестовал Человек-Олень. Бороться и победить честно, в открытом бою, или умереть. Крупный пот катился по лицу Актана, заливая глаза, щекоча губы. Что делать? Уже некуда отступать — руки коснулись холодной стенки пещеры. И в эту секунду прозвучало могучее, раскатившееся под каменными сводами яростное ржание лошади. Белоглазый неожиданно подал голос! Неизвестный вздрогнул от неожиданности и оглянулся — и в следующий миг катился по земле, сбитый мощным ударом. Он

пытался приподняться — и был оглушен следующим ударом по затылку. Для него, распростершегося на каменном полу, наступила тьма...

Актан пошатываясь пошел к выходу. Встревоженный Белоглазый храпел и бил копытами. Густой снег валил вокруг. Актан приник лицом к теплой морде коня, поцеловал. «Вспомнил, спас меня», — растроганно пробормотал Актан, глядя теплый круп лошади. И впервые за многие последние годы заплакал. Впервые почувствовал, как дорога ему эта жизнь — с белыми падающими снежинками, со смутным видением окружающих лесов и гор, едва проступавших после рассеявшегося тумана в зыбком мире неожиданного снегопада. Несказанно хороша была эта жизнь, налитая, словно прозрачный сосуд, влажным вкусным воздухом. Мог бы он, казалось Человеку-Оленю, жить даже в норе, питаясь муравьями, и испытывать жгучее счастье бытия. И вновь он ощутил свирепое, зверское ворчание голода в животе, в то же мгновение пропеслись перед мысленным взором маралы, и он весело подумал: «Как хорошо, что я не убил их».

Ему захотелось курить, но папирос не было. С трудом согнув избитое, усталое тело, он присел на обомшелый камень. Пошарив в карманах, нашел твердый камушек курта, сунул за щеку и принялся с наслаждением посасывать кислый, мучительно вкусный обломочек. Небо начало вперемешку со снегом сыпать дождем; казалось, оно решило вылить всю воду без остатка.

И тут Актан вспомнил, что у него было ружье. Он подскочил, беспокойно заозирался, но успокоился: ружье стояло там, где он оставил его, — недалеко от входа в пещеру, у ствола молодой лиственницы. Он взял его и, усевшись на прежнее место, поставил меж колен. Белоглазый переминался рядом, понурившись, то и дело втягивая голодный живот. С его мокрой гривы, толстого крупа, с седла и поводьев сбегала талая вода, шлепала крупными каплями на землю. Бедное животное покорно и терпеливо перемогало непогоду. И вдруг уши его встрепонулись, встали торчком. Актан оглянулся: из пещеры выползал, с усилием подтягиваясь на руках, побежденный незнакомец. Вид его был жалок и беспомощен. «Живуч оказался, собака», — подумал Актан, уже давно ожидавший его появления. Подойдя ближе, Актан увидел, что враг его истощен до предела и похож скорее на призрак, чем на живого человека. Ему стало жарко от стыда: так вот с кем пришлось смертельно биться... Неужели этот полуживой скелет чуть не одолел его? Человек-Олень поспешно

нагнулся, схватил того под мышки и приподнял, посадил на землю. Человек с трудом подогнул ноги, обхватил колени руками и бессмысленным, мутным взглядом уставился в пасмурное небо. Глаза его были мертвы, казались не глазами, а скорее глубокими чирьевыми шрамами-ямками. Он молча, хрипло дышал, и непонятно было Актану, откуда в этом истощенном теле, корчившемся сейчас, взялось столько яростной силы для борьбы. Жалость охватила Человека-Оленя. В нем сразу же угасло желание мести.

— Кто вы такой? Откуда пришли? — спросил он, трогая незнакомца за плечо.

И вдруг Актан испугался: глаза этого обескровленного и, видимо, умирающего человека широко открылись, и Человек-Олень увидел, как в мутных зрачках незнакомца заплескала искорка и начала разгораться зловеще и яростно. Актан отступил на шаг, изготовив ружье, а человек с неожиданным проворством выхватил из-за пазухи кинжал.

— Ты молодой пес, но я старый волкодав, — заговорил он, — и тебе меня не одолеть. Если ты убьешь меня, беда невелика, я уже отжил свое. А вот если погибнешь ты от моего пожа, то будет хуже: ведь ты еще не нюхал жизни. Но слушай! Если бы в пещере я захотел твоей смерти, то сразу задушил бы тебя. А этого я не сделал... И ты тоже, по правде говоря, мог убить меня, но не сделал этого. Значит, мы квиты, ничего не должны друг другу... — Произнеся это, незнакомец спрятал кинжал за голенище сапога и встал, пошатываясь. Выпрямившись во весь рост, он шагнул к Актану. Его глаза, только что горевшие огнем дикой неукротимости, вдруг подернулись мутию и закатились. Ноги подломились в коленях, и он пошатнулся.

Актан быстро подхватил его. Придерживая за плечи, он повел незнакомца в пещеру и уложил возле потухающего костра. Подбросив туда щепок, Актан дождался, когда пламя ярко разгорится, и склонился над беспмятным человеком.

В отблесках пламени лицо поверженного врага стало пельно-розовым, как ветхий выгоревший ситец. Казалось, что он был уже мертв и в последний смертный миг прошел — во искупление былой жестокости или каких-то грехов — через страшные муки. Капли холодного пота застыли на его неподвижном лбу. Актан набрал снега в котелок, чтобы напоить водою незнакомца, когда он придет в себя. Загадочное появление его в этих безлюдных местах у границы настораживало Актана. Он решил попытаться выведать у него, кто этот человек, откуда... и, может быть, он знает что-нибудь об отце.

Согревшись у костра и жадно напившись воды, которую протянул ему Актан, незнакомец забормотал, неподвижно глядя в огонь, словно в бреду:

— Я бедняк, которому остается только одно — умереть, но умереть он не может, потому что жизнь сладка... А жить тоже не может, потому что от ее ударов трещат все кости... Я несчастен, я потерял свой народ... Вот уже много лет я скрываюсь от людей, не смею войти в свой аул, над которым вьется кудрявый дым... И если я умру сейчас, ты похорони меня, а сам уходи в долину. Уходи к людям. Бойся своего проклятого одиночества! Если ты и дальше будешь скакать здесь, по этим глухим горам, как дикий архар, то испытаешь мои муки. Моя судьба перейдет к тебе, как одежда мертвеца, знай это. А здесь ты как в тюрьме, эти горы — как стены с четырех сторон... Здесь ты пропадешь, как пропал и твой отец.

— Что с ним? Где он?! — крикнул Актан, хватая за плечо и приподнимая с земли незнакомца. — Отвечайте скорее, где он?

Близко перед собою видел Актан изрытое оспинами, тронутое розовым отсветом непроницаемое лицо. И эти глаза, как следы от старых язв, как обрушенные древние колодцы... И вспомнилось Актану далекое, полузабытое, жуткое — из рассказов того же старика Асана: о человеке-оборотне, живущем в горах и нападающем на одиноких путников. Так вот где и когда пришлось встретиться!..

— Отец? Твой отец вздумал через пещеру Таниркоймаса проникнуть в ледяное ущелье за сокровищами, да там и разбился, сорвавшись в пропасть...

— И он там лежит?.. В ущелье? — вскрикнул Актан, пораженный, не зная, верить ему или не верить...

— Там, там, — бормотал незнакомец. — Их еще человек десять там, на ледяном дне. Каждый набил себе карманы и сапоги золотом, да так и замерз, зачоченел над этим золотом.

— Откуда вы все это знаете? — засомневался Актан, пристально вглядываясь в лицо незнакомцу.

— Мне пора, — вдруг встрепнулся тот и вскочил с места, словно и не лежал минуту назад без сил на земле. — Пока держится туман, я должен успеть, успеть, мне надо торопиться, меня ждут...

И вот он, выбежав из пещеры, уже несется, согнувшись по пояс в клубящемся над самой землею тумане, а Человек-Олень со страхом и тревогой смотрит вслед беглецу. Что было

правдой и что было чужью в его бредовых речах? И кто же он был? Человек или бесовское отродье? Но кто бы он ни был, безумец, чуть не задушивший Актана волосяной веревкой, исчез, скрывшись с головою в тумане, который еще какое-то время клубился и тянулся за ним, обозначая путь, по которому тот продвигался, уже невидимый...

* * *

После этого дня Актану нетерпимо захотелось в аул. Такого с ним раньше не бывало. Он лишь по необходимости спускался в Орели — по делам, в магазин — и отправлялся с тягостным, безотрадным чувством на душе, а теперь его тянуло туда неудержимо, и он решился наконец попросить у матери разрешение на поездку... Ни на минуту не мог он забыть о странном, полубезумном беглеце. Его тусклый взгляд, едва различимый на дне глазных ям, представлял в сновидениях Человека-Оленя. Во сне Актан пытался застрелить его, но никак не мог попасть, хотя наяву он стрелял без промаха и способен был издали разнести пулею лезвие бритвы... Во сне он чувствовал, что страшную угрозу всем таит в себе появление незнакомца, а проснувшись, ясным разумом понимал, что нет никакой угрозы. Лишь одно он осознал бесспорно: беглец был прав, предупреждая, что его судьба может перейти к Человеку-Оленю, как старая одежда мертвеца... И эта невеселая мысль усиливала тоску и ускорила его решение немедленно спуститься с гор и повидать других людей.

Он пустился в дорогу снова в пасмурный день. С неба падали нечастые капли, словно скупо плакало солнце, окончательно заблудившись во мгле лохматых туч; от сырости набухли и потемнели бревна сруба, дерновая крыша сарая, жерди прясел. Сама земля пропиталась влагой, как равнодушной тоской, и теперь брызжет жидкой грязью из-под копыт коня. Лишь бестолковые вороны, которым нет никакого дела до красоты или безобразия природы, каркают истошно и перелетают стаями с места на место.

Всадник ехал, понурившись, в забытых старых дум — нескончаемых и привычно мучительных — и новых, возбуждающих тревогу. Эти новые мысли пришли после бессмысленной, страшной схватки с одичавшим, полупомешанным человеком. Хотелось теперь знать Актану, что же было поучительно в этой странной встрече? Только ли зло? В невразумительности этой таилась причина тревожного беспокойства в душе

Человека-Оленя. И впервые он испытывал душевную муку оттого, что не умеет, оказывается, в этой жизни различить дурное от хорошего. А не умея этого, остается беспомощным... Та граница, что отделяет человека от животного, проходила именно здесь: в этой способности различить добро и зло. И Актан представил теперь эту границу настолько же ясно, как и четкую границу между жизнью и смертью, нищетой и богатством.

А еще думал Актан о способности человека — и только человека — представлять будущее. И в этом будущем он должен видеть своих потомков, могучую поросль своего семени. В том и смысл и оправдание краткой его жизни на земле... Седлая Белоглазого и после, покачиваясь на нем, Актан вспоминал лнувшее к нему тело Вдовы, ее ладони, горячее, порывистое дыхание и бесстыдный смех, бесстыдные ее прикосновения. Воображая далекое будущее, сотканное в какой-то мере и его многочисленным потомством, Человек-Олень почему-то ни разу не подумал о нежной, пугливой, большеглазой Айгуль.

Аул Орели словно вымер; непогода, люди сидят дома, прижавшись носами к окну, и разглядывают редких всадников, проезжающих на мокрых лошадях по слякотной улице, да на грязных, с заляпанными глиною животами собак, что бегают по дороге и пустынным закоулкам. Лишь изредка промычит корова — тревожно, диковато, словно во время джута. Но мирная жизнь аула все-таки продолжается. Вот женщина прошла с ведрами на коромысле, хлопая широкими голенищами сапог. Мужчин что-то не видно: сидят небось в тепле и дуют чертову водку да дрыхнут целый день. Что делать, грязь непролазная, дождь, носа не высунешь. По проводам бегут, нагоняя друг друга, проворные крупные капли...

Над отсыревшими домами, притулившимися вдоль длинных улиц, выются густые дымы, клубы их сливаются в единое облако над аулом, которое устремляется к небесам, обложенным тяжелыми серыми тучами. Многочисленные эти дымы говорят о том, что работы никакой нет и хозяева сидят по домам. Кстати, во дворах смирнехонько мокнут под дождем тракторы — «ДТ» и «Беларуси».

Актан свернул к совхозной конторе, привязал коня... Старая дверь, обитая рваным войлоком, открылась с визгом. Бух (главный бухгалтер) располагался в комнате перед кабинетом Упра (управляющего отделением). В приемную эту всегда набивалось много народу, дым стоял там — хоть режь

пожом. Стены и потолок комнаты были закоптелы, светлело только окно, нижние стекла в котором были выбиты и заткну-ты скомканными замасленными телогрейками. Возле этого окна и сидел за столом Бух — коротышка мужик, ехидный и злой на язык.

Не поднимая головы, он покосился на Актана и буркнул из-под усов:

— Чего приехал? По бабам соскучился?

Актан не ответил. Сдерживая вдруг нахлынувшую тоску, посмотрел поверх головы бухгалтера в окно. А там, на улице, тоже была тоска. Убого и безрадостно выглядел отсыревший, неуютный аул. Наступили ранние сумерки, а света нигде не зажигали. В комнате, провонявшей дымом, было душно. Ак-тана даже потянуло на сон: улечься бы куда-нибудь и за-крыть глаза...

— Почему молчишь, Актан? — спрашивал бухгалтер, что-то выводил на бумаге. — Иль боишься жемчуг из рта выпро-нить, а? — с особенным удовольствием завершил он свою колкость, затем бросил ручку, откинулся на спинку стула и сладко, с хрустом потянулся, кривя лицо и широко зевая. — Ну, чего молчишь? Дай закурить, что ли. Мать их туда и сю-да... — ругался Бух, — все бездельники этого аула берут у ме-ня папиросы. — Он взял из пачки «Примы», протянутой Актаном, сигарету, воткнул в угол рта и показал знаками: спичек. — Туда и сюда их мать, — ругался он, — ведь спички берут и не оставят, а в карман кладут. — Забрал коробок у Актана, прикурил, потряс им и положил в свой карман. — Ну, что нового, батыр, в твоих горах? — пустив дым сквозь усы, спрашивал Бух. — Сколько сурков настрелял в этом го-ду? Дашь хоть на шапку?

Человек-Олень по-прежнему молчал, и Бух, уставившись на него свирепым взглядом, крикнул, тыча в жигита паль-цем:

— Эй! Не будь неблагодарным, батыр! Уже десять лет я считаю твои денежки, глаза извожу. Небось заслужил я эти паршивые шкурки! А говорят еще, что ты какое-то мумие нашел в горах? У всех, кто переехал к нам из Аршалы, только и разговору что об этом му... мумие.

— Что же, правду говорят... Нашел я, — тихо ответил Ак-тан. — Только не уверен, то ли самое нашел...

— А ты принеси мне, уж я-то разберусь, — подмигивая, отвечал Бух.

— О, так вы теперь и в этом стали разбираться, — с ехид-ным почтением отозвался Актан. — Какие способности у вас!

— Эх, туда и сюда мать их... что там сложного? Подумаешь, задача! — заорал Бух с преувеличенным шутливым гневом на Актана. — Ты дай мне, я положу только на язык, пососу и скажу, что к чему... Эх, да у такого бродяги, как ты, есть ли совесть? Отвечай сейчас же, говори правду: насушил эту самую маралью срамоту? А то у моей женки появилась кое-какая ночная обида на меня. — И тут коренастый маленький Бух расхохотался и чуть не опрокинулся назад вместе со стулом.

— Если б было у меня то, о чем вы говорите, — начал устало Актан (ему уже надоело шумное, назойливое веселье Буха), — все равно не дал бы. Еще донесете, что маралов бю. А то и отвечай за вас, коли переберете и у вас запухнет... Бывало, умирали от этого.

— Пошел ты знаешь куда? Подавись ты маральими этими сухариками! Ешь сам и иди пытать наших аульных баб. И коли уж ты такой жигит, почему до сих пор не порадуешь старую свою родительницу и не приведешь жену в дом, а?

— Эй, дядя, давай-ка потише, — помрачнев, оборвал Актан бухгалтера. — Не лезь туда, куда тебя не просят. Не перетягивай струны, а то ведь могут лопнуть...

Все это Человек-Олень проговорил с трудом, чувствуя в душе огромную усталость. Он проделал такой далекий путь в непогоду, чтобы услышать человеческую речь, и вот услышал...

Оба замолчали. В комнате сгустилась темнота. Красными точками засветились кончики горящих сигарет. Лица людей стали невнятно сумрачными, неразличимыми. Уличный свет еще слабо трепетал за окном, умирая у ног надвигающейся ночи.

С каким-то странным треском зажглась лампа и тотчас с таким же треском потухла. Бух основательно, крепко выматерил ее.

Актан любил этого неприветливого на вид, невзрачного человека. Он бывал вздорен, ядовит на слово — это правда; однако не замечалось за ним ни корысти, ни подлинной злобы. Во всех других отделениях совхоза бухгалтеров и кассиров то и дело снимали и сажали, а этот уже двадцать лет спокойно работал на своем месте. Может быть, хранил Буха аллах, не желая слез малолетних детей, а может, и на самом деле он был исключительно честным человеком — кто его знает... Он был старшим братом Айгуль, что имело для Человека-Оленя особенное значение. Только благодаря ему мог уви-

деть сегодня Актан девушку... И, как бы угадав желание жигита, бухгалтер предложил:

— Что же, батыр, поговорили мы с тобою, а теперь давай ко мне домой. Больше пекуда: родных у тебя нет. Посидим у меня, мою жену можешь называть тетушкой — женге, она хоть и не на многое способна, но чаем-то напоит... А насчет там мумие и сушеной срамоты маральей — не сердись, брат! Я ведь пошутил. На кой черт, подумай, мне эта проклятая оленья сила? И от своей некуда деваться — вон сколько сорванцов у меня дома, пороть их некому...

Актан был растроган. Вмиг прошла тоска и потеплело на сердце. «Ведь душа-человек! Веселый какой!» — с восторгом думал жигит, выходя вслед за Бухом на улицу.

Ноябрьская темь уже навалилась, обняла землю и застыла на ней. Лампы на столбах не горели, лишь время от времени вспыхивали на секунду — был неисправен провод. Из окон домов кое-где просачивались полоски света и, падая на мокрую грязь, тускло высвечивали дорогу.

Был еще не поздний час, но ранняя темнота сбегала с окружающих гор и накопилась в долине. Не ко времени пришла ночь.

До горы Акшоки отсюда ближе, чем от Аршалы, и теперь громада ее чернела, как голодная корова, терпеливо стоящая у дверей дома. Подножия гор утонули в ночной тьме, лишь прозрачно белели в высотах ночи заснеженные вершины.

А где-то там, за пространствами темноты, припал к земле бревенчатый домик Человека-Оленя, спала в крошечной тьме его мать... А неподалеку от этого домика еще один — родной очаг маленького усатого человека, который сейчас трехэтажно кроет совхозного моториста с электростанции, бездельника и пьянчугу... И какое дело Буху, что далеко в горах мокнет и постепенно разваливается заколоченный дом, в котором он раньше жил...

— Хорошо, что ты подъехал, — говорил Бух, покачиваясь сзади Актана на крупе Белоглазого, — а то я бы утонул в грязи, пока дошел до дома. Вон что творится — света нет, хоть глаз выколи... Ну моторист у нас, мать его и отца туда и сюда... А ведь восемьдесят рублей зазря получает!

В это время вдали натужно загудел мотор, и во всем поселке хлынул из окон яркий свет. Ликующий крик детей и взрослых прокатился над аулом. Вдали, в сторонке, загорелся яркий одинокий огонь, словно глаз кривой ведьмы.

— Видишь тот фонарик? — указал Бух на далекий свет. — Там дом моториста, провалился он трижды. В ауле ни одного

фонаря не горит, а он себе прямо рай устроил — посреди двора повесил эту лампу...

Белоглазый вдруг с небывалой для него резвостью отпрянул в сторону, и увлеченный болтовнею Бух не успел даже вспомниться, как слетел с лошади в жидкую грязь. Актан сердитыми ударами подавил коня, успокоил его и повернул назад. Бух в это время кого-то поносил на весь аул:

— Эй, отца твоего и так и разetak, чего ты путаешься под ногами у коня?

— Эй, а кто его путал? Кто? Дрянная лошадь сама напугалась.

— А куда тебя носит, бездельник, по ночам? Аллах не даст мне соврать — опять к Вдове идешь, к продавщице!

— Ну, если и угадал, что сделаешь? Схватишь за штаны и дальше непустишь, что ли?

— Эх, бесстыдник...

— А чего там! Подумаешь, водочки выпить, кое за что подержаться! Дело какое!

— Ты бы детей ее постеснялся.

— Мне-то что, если сама мать не стыдится...

Человек-Олень узнал голос завклубом Кана. Первым желанием Актана было схватить этого паршивца за шиворот, прижать коленом к боку коня и как следует вздуть. Однако он сдержал себя и не стал даже вмешиваться в разговор, почувяв, что от Кана несет застарелым сивушным духом.

— Ладно, проваливай! — проворчал Бух, вновь усаживаясь на лошадь Актана. — А я здорово вывалялся в грязи, задам теперь работку жене. А ты иди, иди, скатертью дорожка, не стану судиться с тобою за причиненный мне ущерб, все-таки ты чужой, пришлый человек, Кан, да и что с тебя взять...

Актан не мог поверить тому, что услышал. Жена его погибшего друга — и этот вонючий пьянчуга. Как и все в поселке, Человек-Олень знал о слабости завклубом к женскому полу. Посчитать всех, к кому он сватался, то составило бы половину женского населения аула.

— Эй, парень, знаю я, над чем ты сейчас голову ломаешь, — мрачно произнес Бух. — Брось! Будешь думать обо всех подлых делах да переживать — башка треснет. Наш брат, двуногое существо, шлепает по грязи иногда и ясным днем, когда все видно, а что там говорить о ночи... Но ты все же вполуха слушай Кана: не такая она дура, вдова твоего «ДТ», чтобы поддаться этому кобелю. Она же как волчица... разве подпустит к себе безродного пса? Небось сидит у ее

порога, мерзавец, и облизывается да покашливает, облизывается да покашливает...

Дома поднялся гвалт, когда на пороге появился отец, и куча ребятишек выбежала навстречу. Некоторые из тех, что висли на шее кормильца, были без штанов. После они разглядели гостя и, толкая друг друга, стали перешептываться, а вскоре и завопили что есть мочи: «Олень! Человек-Олень! Зверь пришел!» Отец разогнал их. Вошла невзрачная рыжеватая жена Буха, едва слышно поздоровалась и снова ушла, на ходу отцепляя от подола липнувших малышей.

Жилье Буха состояло из двух комнат. В первой гудела железная печь, доверху набитая дровами; раскаленные бока ее пылали жарким румянцем, из плохо прикрытой топки вырывались адские языки пламени. У самого поддувала лежала горка насыпанной сухой стружки, и удивительно было, что она до сих пор еще не вспыхнула. Возле печки сидел на скамейке мальчишка постарше, чем его бесштаные братья. Он шевелил круглыми, налитыми, как яблоки, щеками — жевал смоляную серу, то и дело смачно сплевывая на светящийся бок печки и с удовольствием прислушиваясь к раздававшемуся яростному шкворчанию. Актан нерешительно остановился позади, не зная, куда пристроиться. Бух ушел в другую комнату переодеваться. Дети разбрелись по углам, занялись своими делами, никто больше не обращал внимания на огромного Человека-Оленя...

— Эй, чего стоишь как столб? — крикнул Бух, выходя из дальней комнаты. — Раздевайся, вешай одежду вои у двери. Уйдешь теперь не раньше, чем чаю напьемся. Ночевать не предлагаю — места не найдешь...

Жена Буха неторопливо налаживала самовар — эта приземистая, с рыжими волосами женщина была знаменита в ауле тем, что никогда не спешила, и хоть тресни земля, и тогда не заторопилась бы, а по-прежнему валко, покачиваясь с боку на бок, словно утка, ходила по дому, неспешно занимаясь своими делами. Так же не спеша, спокойно и без лишних слов она из года в год зачинала, носила и рожала детей, одних мальчиков, растила их и заботливо ухаживала за супругом.

Пока эта достойная женщина готовила чай, Актан с хозяином сыграли несколько партий в шашки. Десять сыновей Буха сгрудились вокруг, внимательно следя за игрой, и хватали из-под рук освободившиеся фигурки. Порою из-за этих шашек завязывалась свирепая драка, кулаки так и

мелькали в воздухе, но никто дерущихся не разнимал, а родители словно ничего не замечали.

Со скрипом открылась дверь, и в дом вошла Айгуль. Она сдержанно, словно с незнакомым, поздоровалась с Актаном. Десять сыновей Буха бросились к девушке:

— Тетя Айгуль! Тетя Айгуль! Купила конфет?

Закопошились возле ее сумки, как щенята вокруг миски, и опять замелькали кулаки, раздались шлепки, поднялся крик, плач, но, как и прежде, взрослые не делали замечаний детям. Казалось, они росли сами по себе, без родительского надзора, как отделенные ягнята.

Актан оглянулся на девушку — она раздевалась у вешалки, — и словно ощутил он ароматное тепло ее дыхания у себя на лице... Неизведанное это тепло всколыхнуло в его душе волнение беспричинной радости и вызвало призрачный образ неведомого счастья. Человек-Олень замер, ощущая во всем своем огромном теле слабость, невесомость, жар. И, словно понимая состояние жигита, девушка сразу потушилась и прошла в другую комнату, обходя его как можно дальше. Человек-Олень не смел и предполагать, что девушка может испытывать по отношению к нему такое же волнение, как у него...

— Эй, будешь ты ходить или нет?!

Сердитое восклицание Буха вернуло Актана к действительности. Радость улетучилась мгновенно и безвозвратно, ибо не властна испуганная душа над призрачным прекрасным мгновением.

— Я проиграл, ага. Сдаюсь, — ответил он.

— Что же, это меня устраивает, — удовлетворенно произнес Бух. — Еще очко в мою пользу!

После в молчании пили чай, расположившись вокруг самовара, и рыжеватая, похожая на степного идола, медлительная супруга хозяина разливала по чашкам. Видимо, здесь принято было совать ей под нос пустую пиалу, чтобы она налила, иначе полусонная хозяйка не замечала, что у гостя нет чаю... Актан не знал этого правила дома и после первой пиалы ничего не получил. Он тихонько отставил чашечку на край стола, и она осталась там стоять, забытая. Сидеть просто так за столом было неудобно, и Актан отодвинулся вместе со своим стулом. Айгуль не вышла из дальней комнаты...

Когда Актан засобирался уходить, Бух поднялся из-из стола и сказал, зевая:

— Эх!.. темно, должно быть, сейчас на улице. Ты, батыр, давай-ка ночуй у меня. Как-нибудь пристроишься.

— Ничего, поеду. Я люблю ночью ездить, — ответил Актан.

— Да уж знаю, — говорил Бух, — кто у нас не знает, что ты парень с причудами... Вот и темноты не боишься, как всякий нормальный человек. Только скажи мне, будь другом: не надоело тебе бродить по ночам, когда остальные спят, а? Не пора ли призадуматься, семью завести? Ведь, слава создателю, ты у нас славный жигит и человек умный, первым бы среди всех мог стать. Я не шучу! Почему в этой жизни все перепуталось и поменялось местами, а? Там, где должны быть умные, сидят пустоголовые, и наоборот... Ну что ты сидишь один в Аршалы? Хочешь в чем-то усовестить всех остальных, что ли? Пустое, парень. Пустое! Никого ты ничем не усовестишь, а сам пропадешь, сгниешь в Аршалы. Ты вот реши и скажи мне: лучше становятся с годами люди или хуже?

— Ладно, ага, я подумаю об этом.

— Вот-вот! Только не очень долго думай. С думами там или вовсе с пустой башкой, а живем мы на земле каких-нибудь полсотни лет, и все дела. И ты мне голову не морочь, как моя Айгуль, которая только и знает, что обещает: «Ладно, ага. Я подумаю, ага». Какие-то у вас, у молодых, нынче бесконечные думы. И оставь свою волчью жизнь, оставь! — сердито завершил он.

Актан улыбнулся. Уже нагнувшись в дверях, он оглянулся и заметил в полумраке соседней комнаты внимательные, с тревогой провожавшие его беспокойные глаза Айгуль.

Было темно на улице и мрачно, как после похорон; дальние огоньки едва прокалывали мокрую толщу тьмы. Актан еле отыскал привязанного к забору Белоглазого. Он сел на него и хотел уже ехать домой, как вдруг вспомнил Кана, пробиравшегося по грязной улице... Неужели и в самом деле к Вдове направлялся? Мысль эта неприятно царапнула его. Вмиг позабылось грустное, из мглы выступавшее лицо Айгуль, и воображением Человека-Оленя овладела ядреная, краснощечная Вдова, вспомнились ее вольные выходки... Неужели она осквернила постель мужа, пустив туда этого прощелыгу Кана? Всадник в темноте повернул коня, круто выворачивая ему поводом голову, и поскакал вдоль длинной улицы, сопровождаемый звучным шлепаньем разлетающейся от копыт грязи.

— Уходи, собака! Я тебе сказала, уходи! — услышал Актан, как только притронулся к двери дома, где жила Вдова.

Он вздрогнул: крик прозвучал так неожиданно, яростно —

показалось, что именно на него крикнула женщина. Не зная все же, что бы это могло значить, он растерянно замер перед дверью. Однако растерянность его могла смахивать на подслушивание у чужих дверей. Человек-Олень хотел уже плюнуть на все, повернуться и уйти, как был остановлен визгливым криком ненавистного ему человека:

— Дрянь какая! Убудет тебя, что ли, если разочек согласишься? Это же тебе как воды из речки черпнуть. Ну! Чего ломаешься? Небось сама с голоду подыхаешь, на стенку готова лезть, а? Или ждешь, когда прибежит к тебе этот дикий Человек-Олень? Да ему Айгуль нужна, а не ты, дура! Он приехал сегодня и сразу к ней отправился вместе с ее братом, на одной лошади с Бухом поехал...

Актан с такой силой рванул дверь, что отскочила ручка и осталась в сжатом его кулаке. Вдова и Кан обернулись к нему и на минуту оцепенели от неожиданности и страха. Мокрый, забрызганный грязью, в лохматой шапке, Человек-Олень был страшен. Подпирая головою потолок, стоял он у двери, молча, гневно уставясь на Кана. А тот, оправившись от испуга, заюлил глазами, в которых вспыхнул наглый блеск. Женщина растерянно переводила взгляд с одного на другого.

Первый заговорил завклубом:

— Что ж, бей! Сил у тебя больше, где уж мне устоять против тебя. Ты сейчас можешь меня одолеть, но будущее покажет, чей жребий перетянет. Что ж ты стоишь? Бей! Не хочешь? Что-то даже непохоже на тебя! Нет, не узнаю я тебя, Зверь-Актан. Раньше ты всегда шел открыто, напролом, а сейчас стал действовать исподтишка. Чего ты выслеживаешь, скажи? Разве этот дом — сарай или конюшня, чтоб пинком открывать дверь? А эта женщина — разве кобылица она, на которой может скакать каждый, кому вздумается? Воду пьют, дружок, испросив разрешения у хозяев. Зачем пришел сюда среди ночи, чего тебе надо?

Человек-Олень не знал, что отвечать ему на этот визгливый поток слов. Мелькнуло в голове: «И вправду, зачем я пришел?» Он знал, что не сумеет ответить прямо и честно, а не умея хитрить, проиграет в споре. Скосив глаза и глядя в пол, он угрюмо пробормотал:

— Я... пришел только затем, чтобы спросить: зачем ты явился сюда?

— Интересно, какие права у тебя, чтобы так спрашивать? Может, у меня этих прав больше, хотя бы на два процента больше, чем у тебя? Давай-ка лучше у нее спросим, у самой хозяйки, кому из нас больше дает прав...

— А я для начала вам скажу, — сердито закричала Вдова, — чтобы каждый из вас не был как тот бедняк, который завидовал байской еде, — все равно она не про него! Я покамест не умираю без вас... А если чего мне понадобится, то я уж лучше выберу того, кто тянет ко мне руки, готов поджарить меня и сожрать, чем жигита, которому вовсе не нужна и от которого, как от плохого петуха, не будет мне ни прибыли и ни убытка. Вот так-то!

Кан захохотал, потирая руки. Вскочив с места, он подошел к Вдове и звучно шлепнул ее по спине ладонью.

— Вот это срезала, умница, озорница! — кричал он, смеясь. — Скрутила, связала и кинула мне под ноги врага! Ай да спасибо, Вдова, спасибо, родная!

И Вдова тоже, с вызовом глядя на Человека-Оленя, захихикала. А у него потемнело в глазах от гнева, ненависти, стыда. Не помня себя, он размахнулся и запустил в тех, что открыто издевались над ним, железной дверной ручкой. Они едва успели увернуться. Затем он стремительно и широко шагнул вперед, сгреб одной рукой Кана, а другою сверху грохнул его по голове и, повергнув на пол, связал ему руки выдернутым из его же штанов кожаным ремнем. Отворив дверь, сгреб в охапку связанного Кана и потащил на улицу. Теперь уже издали донесся до Вдовы приглушенный жалобный крик заведующего клубом, и Вдова, дрожа со страху, робко сказала:

— Ойбай, дурень здоровенный! Чего ему сделал этот несчастный? Ведь убьет его...

Человек-Олень вернулся.

Пена бешенства белела у него на губах, он исподлобья уставился на Вдову тяжелым взглядом.

— Раздевайся! — крикнул он. — Не заставляй меня силой действовать... Тебе ведь, курица, все равно, кто поманит просом. Ты давно уже осквернила память «ДТ». Но пусть лучше буду виноват я, чем этот вонючий выродок.

Оробевшая Вдова онемела. Руки ее обвисли плетью. И тогда он, огромный, неистовый и печальный, шагнул к ней и тут же выключил свет.

Хмурый день, как и вчера. Между Аршалы и Орели находится огромная черная скала. У ее подножия раскинулось кладбище, где покоятся усопшие из двух аулов. На одной из могил, огороженной жердями, лежит рослый человек в испачканных глиной сапогах, мокрой и грязной одежде. Обняв

руками могильный холмик, человек горько, безутешно плачет. Широкие плечи его ходят ходуном. Рядом, за оградой, понуро опустив голову к земле, стоит оседланный конь.

Человек, способный задуматься порой над сложными загадками жизни, считающий высшим постижением для себя знание природы и поклонение ей, потерпел крах. Оказалось, знания этого недостаточно, чтобы не совершить перед этой же природой великого греха. Оказалось, что натура жизни совершенно равнодушна к тому, светлый ты человек или темный, злой или добрый, чист ли душою или погряз в пороках. Высшее творение природы — род человеческий — не производит в чистом виде мерзавца или благодарного, убийцу или святого. И совершить что-нибудь неслыханно скверное оказывается порою так же легко, как бабочке впорхнуть в пламенный костер.

— Друг, хороший мой, бедный мой «ДТ»! — причитал Человек-Олень, горько плача. — Ты простишь мне, дружище? Глупый я, дикий и подлый Зверь... осквернил я твое ложе, а ведь хотел защитить твою честь от подонков. Знаю... зна-аю, не вернешься ты сюда, где один ворует у другого, чтобы самому лучше жить, где каждый меняет свое обличье, чтобы обмануть другого, где... А-ай! Мне больно, мне стыдно, «ДТ»! О дружище! Если бы тебя вновь вернули сюда, ты бы совсем по-другому захотел прожить свою короткую жизнь. О «ДТ»! Ты бы ни за что на этой... Нет, нет, ты женился бы, чтобы осталось от тебя потомство. В этом ты счастливее меня, друг... Но, вернувшись оттуда, ты постарался бы найти настоящего виновника своей гибели... Так кто же, кто виноват? Зачем нужны были те деньги, которые ты стремился заполучить?.. Знаю: чтобы покрыть растрату, которую допустила в магазине твоя жена. И ты после работы ночами возил другим сено, добрался на своем «ДТ» без тормозов до Аршалы, чтобы привезти дров. И свалился с трактором в Акбулак! Злая река! Почему ты не отдала мне хотя бы его тело? Целый месяц искал, все напрасно, другие люди нашли. А я... Что там говорить. Все как сон. Сон. Я не хотел повторять того, что сделал ты, «ДТ», а попал в твое гнездо на твое же место... Почему, почему я должен идти по твоим следам? Почему хоть малая толика моего счастья всегда чья-то боль? И что такое человеческое счастье? Да всего лишь плод — плод чьей-нибудь печали. Мне хорошо — другому плохо. Почему так?.. Помнишь, как в детстве, мы с тобой собирали щавель и кислицу? Глядя на высокую каменную башню Таниркоймаса, ты говорил: «Когда вырасту, стану летчиком. Улечу на самолете аж за

Акшוקы, прямо в Америку!» Я же, завидуя, отвечал: «А я стану метким стрелком из пушки и собью твой самолет!» На что ты ответил примирительно: «Давай всегда будем друзьями! И когда станем жигитами, женимся на одной девушке! Все будем жить вместе!» И я ничего на это не ответил, мне почему-то стало неловко, и я опустил голову. Что это? Неужели тогда я предчувствовал уже, что оскверню чистоту нашей дружбы?.. Прости, друг!

Актан встал с могилы, вытер рукавом мокрое лицо. Ветер набросился на него. Длинная грива и хвост Белоглазого развевались в сером воздухе. Стемнело, словно опять собирался дождь. Но кладбищенские вороны, оголтело каркая, вились высоко: должно быть, пойдет снег. Земля на холоде зачерствела, покрылась мерзлой коркой: последняя грязь этой осени начала каменеть, готовилось ложе для долгого зимнего снега.

Человек-Олень обернулся в сторону оставленного им аула. Отсюда, с высоты, бревенчатые домики, прижавшиеся к берегу реки, кажутся бусинками двухрядного ожерелья. Он погрозил кулаком: ишь, какими выглядят невинными эти гнездышки. Представить только, какие злые сплетни ходят сейчас там. И слышит их Айгуль. Слышит Вдова... Прощаясь, она сказала: «Актан, за то, что натворил, надо отвечать. Если не хочешь моего позора, перейдешь жить ко мне. Но если никогда больше не придешь ко мне, проклинать тебя и плакать я не буду... Подумай только о добром имени своего друга».

Человек-Олень долго стоял, подставив лицо сильному ветру, дующему со стороны долины. Ему казалось, что он чувствует кисловатый дух человеческого жилья и запах дыма... Человек? Кто он такой? Почему столь загадочен его лик? Кто ты, длинноусый коротышка Бух? А кто ты, Актан, человек, которого прозвали Оленем? «Ты сейчас меня одолел, но будущее покажет, чей жребий перетянет», — сказал Кан. О каком справедливом жребии, на что намекал он? «Если никогда больше не придешь ко мне, проклинать тебя и плакать я не буду», — сказала Вдова... И Айгуль... кто такая Айгуль? Почему глаза ее, провожавшие его, были так печальны?

Повалил снег, начался буран.

Ему казалось, что он скоро сойдет с ума. Мертвая тишина одиночества словно испытывает его разум. Это тишина печали, наполняющая все темные углы хижины, и в ней таятся незримые пока, но близкие ангелы смерти — азраилы. Сквозь маленькое окно льется неяркий свет серого неба. Из-за печи

доносятся вздохи двух спящих долгим зимним сном — дыхание немой матери и черного кота с бурными подпалинами. Если встать и посмотреть в окно, там окажется белый, безмолвный, отрешенный мир. И сразу же вспомнится Айгуль: всегда она вспоминается, как увидит он что-нибудь чистое, сияющее, красивое. Но тут же станет больно, тяжело от сознания, что ни к чему все это волшебство белизны, сияния — откроется тщетность и обманчивость красоты, завораживающей чувства. И лучше всего ничего не пожелать себе, а вытянуться на своей лежанке, глядя в закопченный потолок.

Вдруг представилось, что в окне мелькнуло что-то. Тень промелькнула и растаяла. Затем светлое пятно окна начало тускнеть, и вот видно стало, как с улицы, прижавшись к стеклу, заглядывает в дом серое, мертвое лицо «ДТ».

«Дружище, что там вокруг тебя?»

«Белые поля, больше ничего».

«Одни белые поля... И ничего больше... Бедный ты мой, не холодно тебе?»

«Не знаю».

«Рано ты женился, дружище. Рано».

«Наверно, знал, что рано умру...»

Неслышно подошла мать, положила ему на лоб легкую прохладную руку. Он схватил эту сухонькую руку и прижал к губам. Затем приподнялся и, спрятав лицо на груди матери, заплакал, всхлипывая и вздрагивая как ребенок.

— Мать, что мне делать? — плача, говорил он. — Я запутался, совсем запутался, и куда мне идти, я не знаю...

Ответом было горькое безмолвие матери.

А теперь другой день: небо ясное, голубое. Горы, скалы, камни, таежная чаща — все одето белым снегом. До голубого купола неба совсем близко — рукой дотянуться. От сияния снега и яркого блеска небес болят глаза. Чистое поле тронут узорчатыми следами небольших зверей. В тайге воздух напоен духом сосновой смолы. Пробежит по веточкам белка, качнет хвойную лапу, собьет рыхлые комья — и под деревом на нежно-белой напуши образуются звездчатые снежные брызги. И вдыхая вкусный смолистый воздух, Человек-Олень думает, что жизнь все же прекрасна, а он сам словно заново родился, чтобы понять это. И даже досадно становится от этой сегодняшней языческой радости: значит, его чувства и мысли совершенно такие же, как всё в природе, так же подвержены переменам, как и непостоянная погода.

К ногам его привязаны лыжи, обитые меховой шкурой, на

плече висит двустволка. Ему надо добыть зверя, но он никак не может решиться нарушить великий покой зимнего леса святоотечественным грохотом выстрела. Игривый мороз щиплет его за щеки, снег вокруг глубок, — пожалуй, в сугробах лошадь утонет по самую холку. Торчат из снега верхушки молоденьких елок — это деревца, посаженные Актаном. На старой вырубке он когда-то посадил 350 штук. Тогда, устраиваясь в лесхоз, он попросился у начальства на такую работу, где не надо было вырубать лес... А вот друг его «ДТ» рубил лес не жалея. Суеверный народ считал, что и погиб он из-за того, что провинился перед духами дикого леса. В тот последний для себя рейс в тайгу он срубил десять молодых лиственниц и, спускаясь ночью с горы, сорвался вместе с трактором и прицепом в реку... На склонах Белухи за один только год вырубили столетний лес. Так гибнут могучие деревья и жигиты.

У Человека-Оленя, стоявшего на лыжах с края поляны и державшего в руке снятую с головы шапку, темные кудри были покрыты белым инеем. Но то был не иней! У Человека-Оленя, стоявшего с шапкой в руке, волосы были покрыты густой поворожденной сединой.

* * *

И вскоре пришел к нему Кан. На лыжах, с ружьем за плечами, с двумя бутылками водки. Еще в дверях выхватил одну из-за пазухи и, держа за горлышко, высоко поднял, словно хвалясь.

— Мириться я к тебе пришел, в гости! — говорил он, широко оскалась в улыбке. — Так вставай и принимай гостя, не косись! Эй, кто еще к тебе решился прийти кроме меня, кто? Да никто! Ну, поссорились мы из-за поганой бабы, да черт с ней! Давай-ка выпьем с тобой вот это и забудем обо всем.

Озадаченный Актан, не зная, что ответить, медленно повернулся громадным и широким телом к матери и вопросительно посмотрел на нее. Немая ответила покорным согласным кивком, затем кряхтя сползла с лежанки и принялась накрывать на стол. Стаканов и рюмок у нее не было, и она поставила две пиалы.

— Что же, это хорошо, — одобрил гость. — Лучше так, чем по капле цедить. — И он жадно вынул налитую до края посуды водку; сморщившись, ухватил ломоть поджаренного хлеба, отхрюпнул кусок и захрустел с довольным видом.

Человек-Олень взгляделся в это широкое, одутловатое, жуящее, совершенно бездумное лицо и подумал: «О, такие, как ты, живут долго». А у того вдруг замерли работающие

челюсти, узкие глаза изумленно приоткрылись, и он спросил:

— Оу, браток! Что с твоими волосами? Неужели покрасил?

— Седеют...

— А, мать их перемать, у меня тоже! Уже половина волос седых. Да сейчас и у пятилетних начинают седеть головы, такое время, а что говорить о таких, как мы с тобою, Зверь! Давай-ка выпьем, брат, за баб и девок, чтобы им пусто было, сукам! Таких жигитов, как мы с тобою, поссорить смогли... Но я простил тебе все, все забыл, забудь и ты!.. Зачем я пришел? Вот за этим и пришел — мириться. Ну, если всю правду говорить, то не только за этим. Ха-ха-ха! Решил я попросить у тебя немного сушеного марального снадобья, которое, говорят, имеется у тебя.

«Побить тебя как собаку и выгнать из дома!» — не сказал, но ясно выразил это взглядом Человек-Олень. Неудобно было перед матерью затевать драку.

— Ну ладно, ладно, успокойся, не надо мне никакого снадобья. Дашь немного мумие, что-то желудок у меня заболел, — попросил Кан. — Неужели тебе жалко лекарства для больного человека?

Актан встал, подошел к сундуку, узорчато обитому полосками жести, откинул тяжелую крышку и достал оттуда кожаный мешочек. Отделив немного от большого куска, охотник молча передал мумие непрошеному гостю, всем видом показывая, что ждет одного: чтобы тот поскорее убрался вон... Однако Кан, завернув в бумажку и спрятав лекарство за пазуху, не думал уходить; пристроившись за столом поудобнее, повел долгий разговор:

— Молодец ты. Живешь как настоящий человек. За это тебя я очень уважаю. Жаль только, что между нами кошка пробежала. Вот я и решил сам прийти к тебе, чтобы ты знал, что незачем нам враждовать, двум неглупым людям. Зачем мы, словно козлы на узком мосточке, упираемся лбами друг в друга? Понятно, что каждый в жизни доказывает свою правоту: мол, его гора и есть самая высокая. Но я-то ведь не такой дурак, я готов уступить тебе, потому что я уважаю тебя, и если у меня еще родится сын, то я назову его только Актаном...

— Откуда возьмешь его? — резко спросил Человек-Олень. — У тебя, кажется, нет даже жены. Или ты сам себе рождаешь детей? — усмехнувшись, закончил он.

Кан на минутку примолк. Долгий, красноречивый взгляд

бросил на жигита. Но справился с собой и продолжал спокойно:

— А ты шутник, оказывается... В Алма-Ате остались жена и двое детей. Не уверен, правда, что от меня они, но алименты приходится платить.

Теперь Актан, в свою очередь, долгую минуту молча смотрел на собеседника. Человек-Олень понял, что видит перед собою совершенно бессовестного, падшего человека. Глаза Кана сузились, сверкнули.

— Ты, значит, презираешь меня. Ну а я тебя,— между тем, усмехаясь, продолжал Кан.— И что же выходит? Зачем? Ведь и тебя, и меня люди одинаково не любят. Не любят нас с тобою, жигит! Ну а нам наплевать. Вот я прочел кучу книг, тьму всяких вещей знаю, нет у нас никого, кто столько бы мир повидал, как я... А мне на все это наплевать. Я понял истину и всем этим пренебрег, понимаешь? А почему?! Осуждаешь? А ты сам? Почему от всех отгородился? Отвечай! И не спеши осуждать человека, не разгадав его души.— Сказав это, Кан подвинулся к Актану и похлопал его по спине.— А знаешь ли ты, Зверь-Человек, что сейчас в городах в моде именно такие, как ты, а не такие умники, как я?

— Куда мне,— отвечал Актан.— Даже в ауле для меня нет места.

— Врешь! Ты мог бы и в ауле, и где угодно. Но тебе, видно, просто жаль расставаться со своей свободой, с вольготной жизнью. Я тоже, между прочим, сам себе хозяин.

Кан вдруг выдохся, сник. Теперь за столом сидел, пригорюнившись, уже не злобный и бессовестный прощелыга, каким привык видеть его Человек-Олень, а усталый, наполовину седой, потрепанный жизнью человек.

Железная печь угасла, быстро остыла, и в комнате стало прохладнее. Актан поднялся и, сняв со стены старую шубу, укрыл ею свернувшуюся калачиком мать, подтолкнув с двух сторон края шубы. Подойдя к окну, Человек-Олень выглянул наружу. Тихо падал снег. В природе все смирилось и притихло, покорно готовясь к долгой безжизненной зиме. Оглянувшись, Актан увидел сидевшего неподвижно, почти спящего Кана.

Актан принялся устраивать постель.

Они молча улеглись в темноте. Кан временами натужно храпел и кашлял, ворочался, вздыхал. Вдруг, резко повернувшись к Актану, произнес доверительно:

— И всё же запомни, батыр: никому никогда на слово верить нельзя и надо бить первым, пока тебя не ударили...—

Затем добавил, хихикнув: — Иначе помрешь не своей смертью.

И, высказав это, гость Актана отвернулся к стене и уже ничем больше не нарушил прохладной и вязкой, как отстоявшаяся сметана, тишины дома.

А наутро Актан вскочил, будто его укололи. В окошке по-светлело, но по углам хижины еще густела тьма. В далеком небе, видимом сквозь чистое стекло, висели красные, словно кровавая пена, облака. Оглушающая тишина стояла в доме, но что-то неведомое, тревожное беспокоило Человека-Оленя. Он удивился: на месте, где лежал незванный гость, никого не было.

Сунув босые ноги в стылые тяжелые сапоги, Актан вышел из домика. Во дворе было пусто — сиял лишь чистейший, ослепительный снег. Дверь в сарай была приоткрыта, Актан вошел туда и увидел на полу Белоглазого, мертвого, заочеченевшего. Из рта его натекала лужица крови... Неподалеку на земле валялся окровавленный топор. Присев у откинутой головы мертвого коня, Актан приподнял черную, слипшуюся от крови челку и увидел след жестокого удара.

Он пошел в избушку будить старуху мать и увидел то, что не заметил впотьмах: откинута крышка сундука, выброшенные из него вещи валяются на полу. Исчез кожаный мешочек с мумие... Все стало ясно Актану.

Уходя, Кан переломил напополам обе лыжины Актана, обитые мехом.

— Нет! Так нельзя! Так нельзя! Невозможно так жить на свете! — в тоске закричал Человек-Олень. — Мать, ответь, почему так: я бегу от всего хорошего, потому что не хочу ничего плохого, а это плохое все равно настигает меня, как ни ухажу от него. Что же, ладно! Раз так, то я больше не буду уходить в сторону. Я сам, сам пойду навстречу злу! Я пойду и догоню этого пса! Собирайся, мать, мы переезжаем в аул.

Немая старуха впервые видела сына в таком гневе. Сейчас он очень напоминал своего отца, который когда-то давно тоже за что-то разгневался на людей, не мог с ними ужиться, поступал наперекор им. Она знала, что он и ушел-то из аула, бросив ее и сына, из-за этой непонятной ей неуживчивости и вражды. А этот, наоборот, хочет идти в аул...

— Я посмотрю, кто кого! — яростно грозился он. — Мы померимся силами там в драке, а не грозя издали друг другу. Я буду жить вместе с ними, и пусть каждый узнает, кто я и на что я способен. И горе будет врагам моим! Зачем этот пес убил мою лошадь? Зачем лыжи сломал? Наверно, решил, что

и снега испугаюсь и не погонюсь за ним. Ах, дурак, неужели он подумал, что я до самой смерти останусь в этих снежных горах? Мать, немедленно собирайся! Да не бери много вещей, все равно без лыж не унести.

Старуха молча взяла сына за руку и потянула за собой. Она привела его ко входу в полуразрушенный погреб, вырытый под домом. Взяв горящую свечу, она кряхтя спустилась в подпол. Актан последовал за ней. В душной, сырой полумгле, затянутой паутиной, старуха возилась над чем-то, затем выпрямилась и протянула сыну что-то завернутое в шкуру и перевязанное веревками. Это были старые лыжи отца, который безвозвратно ушел от них и, может быть, действительно лежал теперь на дне ущелья Таниркоймаса.

Актан, которого взрослые и дети всей округи звали Человеком-Оленем, решил навсегда оставить Аршалы. Он приладил к ногам охотничьи лыжи отца, подбитые шкурой жеребенка, взял в руки двустволку и подошел к матери, неподвижно стоявшей у ворот с узелком в руках.

— Ну, садись на спину, мать, — сказал Актан, нетерпеливо поглядывая вдаль. — Садись, не стесняйся. Ты пять лет таскала меня, когда я был маленьким, а теперь я понесу тебя.

Он посадил на спину, крепко привязал к себе сухонькую сутулую старушку и затем как ветер помчался на лыжах, яростно стиснув зубы. Перед ним тянулся двухполосный след бежавшего в долину врага, а сзади идущего Человека-Оленя на белом снегу оставались уже две бегущие рядом лыжные дорожки. И словно все двойственное, что лежит в основе бесконечного, безграничного мира: свет и тень, добро и зло, холод и тепло, смерть и жизнь — тянутся вдаль, в неведомое призрачное завтра, следы двух врагов. И неизвестно, кто кого одолеет, кто окажется наверху и кто первым падет на землю. Все скрыто за туманными далями тихих голубых долин. И лишь бегут, выются рядом, пересекаются и бегут дальше извечные следы-враги. Они навсегда уходят из Аршалы — по белому снегу уходят от покинутого всеми старого аула, где прозвучала последняя в округе сказка о тайнах пещеры Таниркоймаса. И теперь мы не знаем, задымится ли когда-нибудь хоть одна труба заброшенного селения.

Может быть, не уживется там, в нижнем ауле, Человек-Олень, затоскует его душа по дикой свободе, взбунтуется кровь, и примчится он назад, в Аршалы, как в старое доброе убежище. И, может быть, захочется ему разгадать тайну исчезновения отца, и сойдет он в ледяное ущелье, куда никто еще не мог спуститься и выбраться, — как знать! А пока что

он бежит, бежит как одержимый в сторону долины, и в широко раскрытых глазах его внезапно возникает видение: с высокого обрыва срывается и падает в горную реку трактор «ДТ»... Плеск, бегущие волны, тишина.

И вдруг старуха, промолчавшая больше четверти века, давно прослывшая немой, с горьким вздохом чуть слышно произнесла:

— Жеребенок мой... Догонишь ли ты пройдоху этого?

Аршалы остался далеко позади. Впереди еще длинная, о, длинная дорога. Крепись, душа, не уставай, Человек-Олень.



абье лето какого-то года.

Еще нет осенних алтайских ветров, таких промозглых, ледяных, беспощадных, и торжественный отсвет солнца скользит по вершинам гор, с каждым днем откочевывая все дальше к западу. Это яркое сияние стынувшего света вызывает мягкую и ленивую негу в душе Чабана; он ходит в эти дни, словно убаюканный тишиною осенней дремы. Хочется сидеть, прислонясь к стене юрты, и глядеть, глядеть на далекие горы, и греться в нежарких лучах яркого солнца. Чабан так и делал: сидел и подолгу смотрел на единственную в окрестностях дорогу, змеей извивавшуюся меж холмов, словно ждал появления доброго вестника на коне. Порою хотелось ему самому оказаться на этой дороге, ехать к лесу, еще не совсем осыпавшемуся, в ярком желто-зеленом убранстве осенней листвы. Чабан поднимал глаза и смотрел в небо, дивясь его чистой голубизне. И в недосыгаемой глубине неба замечал он волнующий знак, похожий на трехногий таганок, — этот треножник был журавлиным косяком, отлетающим на юг. Полет высоких птиц бывал всегда торжественно спокоен, без признаков суеты, и это означало, что не подгоняет перелетных птиц ранняя зима. В этом году осень была благодатной, урожай собран хороший, сено убрано в стога — грех жаловаться на матушку-природу! И аксакалы говорят, что в новолуние было тихо, — значит, грядущий месяц казан-ай будет сухим и теплым.

И еще думал Чабан: раньше аксакалы в эту пору особенно печалились, что дней убывает и жить остается мало, а в пынешние времена что-то совсем притихли старики, и не слышно их, словно навсегда исчезла та осенняя печаль и ушла робость человеческая перед вечностью. Да, молчаливы стали аксакалы, скупы на рассказы, и лишь молодежь шумит, буянит, тоскует в праздности, некуда им, видишь ли, деваться в свободное от работы время. И бродят среди шумных толп молодежных, чураясь всех, седобородые старцы, словно дряхлые бараны в стаде, и прикрикнуть на безусых по старинке уже не решаются, и с каждым годом остается их все меньше... Те, что еще живы, держатся вдали от всех

событий, которые происходят в мире; и о старом они, похоже, не сожалеют, а к будущему равнодушны. Живут сегодняшним днем, им нужен лишь покой да тишина...

Сентябрь. Бабье лето. Именно в эту пору Чабан обычно отправлялся на зимовье, чтобы подготовить его к предстоящему переезду с семьей. И на этот раз, усевшись на своего Мухортого, он отправился в путь, озабоченно думая о близкой зиме, связывая с нею какие-то неясные надежды... То и дело он подстегивал лошадь, пуская ее вскачь. Но, прибыв на зимовье, он долго стоял перед невзрачной избушкой, затем обошел домик кругом. Доски, которыми были закрыты окна и двери, наколочены вкривь-вкось, кое-как. Чабан поднял с земли камушек и запустил в сороку, сидевшую на трубе, из которой так давно уже не шел дым... И внезапно навалилась глухая тоска. Чабан вздохнул глубоко и замер, потупившись. О, сколько таких же убогих саманных домиков перевидал он на своем веку! С такими же наглухо заколоченными окнами — безлюдные, заброшенные жилища людей... Немало их было в первые годы после войны. А этот стоит до сих пор.

Повздыхал Чабан да с тем и уехал с зимовья. Длинная дорога к дому скрасилась думами о детях. Трое нынче пошли в школу. Надо купить для них в ауле карандаши, тетради, одежонку кое-какую. Он ненадолго заехал в аул. С пятерыми детьми не соскучишься. А жена готовится подарить ему шестого. «Чего доброго, разродится как раз на ту пору, когда перебираться надо будет, — бормочет Чабан. — Ох, заботы, заботы». Так бормоча себе под нос, подъезжает он к своему осеннему становью.

Его встречает громогласным лаем Аламойнак, верный пес. За ним выбегают из юрты пятеро детей. Двое младшенькие — близнецы. Радостный крик ребятишек вмиг выводит Чабана из полудремы каких-то печальных и невнятных чувств. Веселье, как тепло, разливается по его сердцу. Он бодро соскакивает с лошади в толпу своих детишек, которые путаются у него в стремях. Ощущая миг пронзительного счастья, лезет за пазуху, достает конфеты, тетрадки, игрушки и раздает детям. И поверх их голов видит он жену, стоящую у входа юрты, обнажив в улыбке белые зубы. Ребятишки, получив каждый свое, мгновенно разбегаются кто куда. Жена уходит, гремя ведрами, за водою. Это значит, что скоро она будет поить чаем вернувшегося из поездки мужа...

И вот сидят они, Чабан и Жена, пьют чай, причмокивая, похрустывая кислым куртом. Они чаевничают уже давно

(дети во дворе), самовар еще горяч, обильный пот струится по их смуглым лицам. Они сидят вдвоем, молча пьют чай, и каждый погружен в свои думы.

Конечно, надо бы кое-где подлатать зимний домик, думает Чабан, и сделать это сейчас, пока стоит тепло. Не то в морозы пропадешь, иней будет гулять по углам. Но, понимая это, ничего не будет делать Чабан и, как сегодня, станет лишь понапрасну ездить на зимовье да ходить вокруг него, заложив руки за спину. Знать, не в обычае этого казаха заботиться сегодня о том, что будет завтра. Да и усталость брала свое — хватало работы с отарой... А то, что он сегодня съездил и на зимовье, и в аул, было связано с необычным для Чабана оживлением и даже суетливостью, что стало проявляться в нем последние дни. Обычно неторопливый и до странности молчаливый, он теперь мог поднять шум из-за чепухи, и это очень не шло ему. Так чернильная клякса портит белый чистый лист бумаги.

Жена напрасно ломала голову над тем, что бы могла значить подобная перемена в муже. Наконец она махнула рукою, решив, что «дурак за ум взялся». Но не знала, не догадывалась Жена, что если и молчит он по обыкновению, то не от скудоумья, а от сдержанности и нежелания понапрасну тратить свои духовные силы. Вот и теперь сидел он напротив Жены, выпивал пиалу за пиалой горячего чая не потому, что мучился жаждой, а по рассеянности — упорно стараясь привести в порядок мысли свои и чувства, обуревавшие его весь долгий день. Дубленное на солнце и на ветру лицо его было темным, загорелая кожа туго обтягивала скулы. Ни бороды, ни усов не росло на этом худом лице, лишь пять-шесть волосинок торчало на подбородке, да и те Чабан постепенно выдергивал одну за другой, в задумчивости накручивая на палец.

Жена почувствовала, что муж был не очень доволен своей поездкой. Видно, не все сделал, что нужно было. Но ничего она не могла узнать от молчавшего Чабана, и это раздражало ее. Сердито выплеснула недопитый чай в очаг, горячая зола с шипением взметнулась в воздух.

— Что ж, мог бы и муки прихватить мешочек, — недовольно молвила она, косясь на мужа. — Зря только заезжал в аул... Догадался бы у кого-нибудь в долг прихватить, коли денег не взял с собою. А то чем кормить ораву, несчастная твоя голова? Вот и сиди теперь и дергай свои волосинки...

Она в сердцах схватила горячий еще самовар, шумно выплеснула оставшуюся воду в ведро, вытряхнула из тонки

глеющие угольки и повесила самовар на опорный столб. Чабан молча следил за нею спокойными, глубоко запавшими глазами. Он не прочь был выпить еще чашечку-другую, но ничего не сказал, понимая, что сейчас не время трогать рассерженную бабу, которая далеко не ангел, — за десять лет совместной жизни он имел случай не раз в этом убедиться. Все так же молча поднялся Чабан и, прихватив брошенную у входа камчу, вышел из юрты. Заметив отца, садившегося на лошадь, подбежали и окружили дети, затеребили: «Ты куда? Опять в аул? Гостинцев еще привези, папа!»

— Привезет, как же, — отвечает за него Жена, выглядывая из юрты. — Так вам и поехал снова в аул, ждите...

Глаза ее все еще сверкают сердито, но в душе ее поднимается старая знакомая жалость к покорному мужу. Тот нагибается с лошади и поднимает одного из близнецов, прижимает к себе, нюхает его лобик, затем бережно опускает на землю, бормоча: «Нет, детки, не в аул, а к овцам...» И бьет пятками в бока Мухортного, тот бодро трогает с места и вот уже трусит по пыльной дороге. Пес Аламоинак бежит следом.

— О куда, куда! — всхлипнув, восклицает Жена, призывая в свидетели бога. — Только и слышала всю жизнь от него: овцы да овцы. Что я еще с ним видела кроме овец? Бывает ведь, что везет людям: сидят себе дома, разодетые в шелка, и добра у них полно. А у иной муж не мужик, а тополь стройный... Ох, разнесчастная я, невезучая... — Опустившись на корточки, Жена прижала ладони к мокрым глазам.

К счастью, Чабан не слышал ее слов. Небо над ним было чистое, как вытертое насухо зеркало. Ни облачка на нем. Стояла пора щедрой на тепло, благодатной сухой осени. Над самым краем неба повис гусиный клин. Птиц не сосчитать — летят по воле вольной в теплые края. Быть бы человеку как птица, давно умчался бы с гусями и журавлями за моря и горы. Но всевышний устроил так, что вместо крыльев у людей тонкие руки, и голова круглая, тяжелая, и ноги длинные...

Отара паслась недалеко. Овцы, по виду, испытывали блаженство от сытости и прохлады. Осень нынешняя щедра оказалась на траву. Разжирили овцы. Волнуется под ветром руно на их спинах. Направление отара держит верное, все животные вроде бы на месте. И Чабан, не беспокоя стадо, едет к горе Тасшоки, косо сидя на своем пузатом маленьком коньке. Мухортый возносит его на гребень горы, где встречает их порывистый свежий ветер. И в эту минуту все не-

впнятное и тягостное, что лежало на его сердце в последние дни, и недавняя взбалмошная выходка Жены — все ушло куда-то, словно унесло, выдуло из души прохладными порывами ветра. Привязав лошадь к лиственнице, Чабан подошел и стал взбираться на плоскую скалу, похожую на сложенные в стопу одеяла из девичьего приданого. Вершина горы как бы стала еще выше, еще дальше ушла к небу, и Чабан не скоро добрался до нее. А в детстве, бывало, он козленком перескакивал через эту скалу. Что ж, стареет человек, становится неповоротливее, осторожнее... Взобравшись на вершину, Чабан взглянул вниз, в пустоту долины, и у него закружилась голова. Он тотчас же присел на камень.

Далеко к горизонту уходила желтая степь; поле, отягощенное золотистым урожаем, начиналось у подножия той горы, на которой он сидел, и тянулось до свежезеленого еще березового леса; эта роща раскинулась в длину километра на три, ее пересекала посередине шумная Бухтарма, чьи воды сверкали сейчас, как серебряные шолпы красавицы Алтай-Ару, которые она впопыхах обронила меж белых берез. За рощей продолжалась желто-зеленая степь, упиравшаяся у края небес в синеватые горы; левее от Бухтармы степная равнина нарушалась буграми мелких сопок и впадинами неглубоких низин. Сопки те заросли чием, тальником, к некоторым из них с подветренной стороны лепились зимовья. Зимовье же Чабана находилось по другую сторону хребта, с которого он обозревал сейчас окрестности, на стыке гребня и высокой скалы, где всегда было затишье. Чабан, повернувшись, вглядывался в ту сторону, пытаясь рассмотреть сквозь загустевшее марево свое бревенчатое зимнее обиталище. Но он видел лишь высокую скалу, темневшую в сгустке полуденного света... Взгляд в сторону — и вот они, аулы, разбегющиеся по простору земли, словно наскучившие друг другу.

Сидя на крапчатом, покрытом лишайником камне, Чабан безмолвно созерцал знакомые картины. Захотелось курить, а затем и пить, но табака не оказалось в карманах, а вода была внизу, в долине. Решил он сплюнуть с самым безразличным видом, но, увы, и плевок не получился. Тогда Чабан принялся весело насвистывать. Пусть исчезнут под этот беспечный свист все заботы, мучившие его, и тревожные думы о хлебе насущном, о завтрашнем дне, о детских учебниках и тетрадках, о прохудившихся саманных стенах зимовья, о сварливой беременной Жене, которая вот-вот разродится, — пусть отступит от него та разъедающая душу, как

ржа железо, застарелая горечь неизбывных житейских забот... И все это вроде бы отступило. Чабан погрузился в блаженное состояние, похожее на тихую дрему, словно растворилась в его крови полуденная истома погожего осеннего дня...

Подобное состояние приходит к Чабану, когда он иногда напьется вволю любимого им кумыса. Или в пору сплошных беспросветных дождей, когда невнятно чередуются темные дни и ночи, он лежит под теплым тулупом и не спит, но грезит, грезит бесконечно, неудержимо, щедро, и в душе всегда благословляет пору долгих, темных и белесых алтайских дождей. Скоро, уже скоро они начнутся...

Словно хлынул в поздρι ему влажный водный запах этих последних сентябрьских дождей — Чабан встрепенулся, очнувшись. Он слез с камня, лег и пополз на животе к краю скалы, чтобы посмотреть сверху на свою отару.

Беспечные, беззаботные овцы, подумал Чабан. Но если внимательно поглядеть вокруг — всякое смертное существо не менее беспечно, чем овца. И внизу, на жухлом фоне сентябрьской степи, словно бы возникали и таяли перед ним неясные очертания кого-то, чего-то: туманные образы сложного мира, связанного единой судьбой... Там, внизу, было невнятное видение того, что Чабан давно уже знал и что повторялось всегда: вчера, сегодня, десять лет назад... А ведь когда-то, в детстве, все было не так: мир дышал новизной, и каждая часть его представляла глазам мальчика четко, отдельно, выпукло. Теперь же он не видит так, и словно все потонуло в каком-то тумане, голубоватой слепополуденной дымке. Вон степь, река, лес, далекий аул, вон горы, овцы, а вон невдалеке и его припавшая к земле круглая юрта — все это вместе являет для Чабана одну старую, давно привычную картину, и ничто не ново для него. Кажется, он все знает, что будет дальше... Дальше после осени придет зима, защелкает морозным бичом, усыпит обнаженный лес, скует толстым льдом реку, навалит на высокие горы снега и вороха серых низких туч и бросит огромную белую шубу на широкую степь. А среди снежных просторов будет, как и прежде, занят своим делом Чабан...

И вспомнил он тут, что было прошлой зимой.

* * *

Тогда выпало мало снега, а холода стояли лютые. Особенно холодно стало к середине января, когда задул многодневный унылый ветер. Солнце едва поднималось над горами —

палкой можно было добросить до него — и тотчас же соскальзывало по склонам, бросая чахлый отсвет на тучи; вовсе нельзя было понять, когда всходит солнце и когда оно заходит.

Земля, потрескавшаяся от мороза, дышала могильным холодом. И только овцы, беспечные как всегда, спокойно паслись на тебеневке, легко доставая старую мерзлую траву из-под чахлого снега. Или принимались теревить густые кусты чия, и ветер безжалостно вырывал из зубов какой-нибудь зазевавшейся овцы пучок веток.

Зимовье Чабана, притулившееся под боком высокой скалы вдали от аула, выглядело одиноким, как заблудившийся в степи человек. Такой человек стремится скорее добраться до людей, от которых отстал. А может быть, он вовсе не хочет к людям и ушел от них, обидевшись, и теперь, избрав одиночество своим уделом, ищет место, чтобы поставить отдельно от других свой очаг...

Чабану кажется, что всегда, с самого начала своей жизни он предчувствовал одинокое, обособленное существование. Возможно, и на самом деле он был наделен такой прозорливостью, что рано угадал свою судьбу и стал тем, кто он есть, — Чабаном. И теперь, если он бросит свое дело и не будет пасти овец, то проживет остальную жизнь зря или погибнет.

Но это вовсе не значит, что он не мечтал начать свою жизнь иначе. Теперь уже смутно, но все же помнит Чабан, что в школе он отличался от других своей наблюдательностью. Он замечал всякую мелочь, мимо которой другие проходили без внимания, и запоминал все, что видел и слышал. И вот со временем пристрастился к рисованию. Рисовал везде и на чем придется, даже на земле. В старших классах он был уже известен по школе как художник. Всегда был редактором стенной газеты. Однажды по литературе было сочинение на тему «Кем хочу быть». И помнится Чабану, что он долго сидел над тетрадью, не зная, о чем писать, а потом вывел на чистой странице: «Художником буду». Прошло полчаса, а он не мог придумать, что писать дальше. А скоро и сдавать надо было. Тогда он быстро нарисовал высокие горы, над вершинами светилось небольшое солнце, а у подножия стояла одинокая юрта, рядом паслась одинокая лошадь и стоял, глядя на горы, одинокий человек... И этот поспешно начертанный рисунок он сдал вместо сочинения учительнице. Та не поставила ему двойки. Раздавая работы, она внимательно, серьезно посмотрела на него и сказала:

«Я поняла твой рисунок. Ты хотел сказать, что мечтаешь быть художником. Мысль твоя ясно выражена, и я поставила тебе хорошую отметку. Но рисунок у тебя очень грустный. Одиночество в нем к одиночеству и зовет. А ведь говорится в народе: «Пешему пыль не поднять до небес и в одиночку славы не добыть...» Тебе, мальчик, нужен хороший учитель, и ты смог бы стать художником». Тогда он не понял, о каком еще учителе идет речь, — разве недостаточно того, что у него есть талант?..

А теперь Чабан, мечтавший когда-то стать художником, смотрел с вершины холма на отару, сидя на брюхастом буре с подпалинами коньке. Мухортый нравом под стать своему хозяину — может, как и тот, часами неподвижно стоять на месте, дремотно свесив голову. И за травой не потянется — в полуприкрытых глазах лошадки давно потух огонь, уши вяло обвисли, хвост изжевали бараны. Но упитан и крепок конек, необычайно кроток и послушен. Старается во всем приноровиться к хозяину, трусит потихоньку, коли тот его подгоняет, а иногда, застигнутый неожиданным хлестким ударом камчи, в панике пытается перейти на галоп. Однако каждый такой случай заканчивается самым неприглядным образом: словно пользуясь моментом, Мухортый, крутя хвостом, с видимым наслаждением принимается освобождаться на ходу от всего, что накопилось в его раздутом брюхе; зловоние при этом поднимается страшное, хозяину становится досадно и от этого шумного извержения конских яблок, и от неумелого скака старой лошади, и он сердито натягивает повод, веля коню идти привычным неторопливым шагом, и тот слушается. Но иногда хозяин ни с того ни с сего принимается избивать его плеткой, сам же одновременно осаживая, не позволяет ему пуститься вскачь, и эти минуты даются тяжелее всего Мухортому. Бедный конь при этом топчется на месте, нервно взмахивая кудым измочаленным хвостом, но по-прежнему покорный, послушный воле человека. Откуда знать простецкому чабанскому коню, что и его всемогущий хозяин тоже что-то вроде коня, и что и у него спина натружена, и над ним есть хозяин — неумолимый жизненный долг и совесть рабочего человека...

Сегодня Мухортому весьма по душе настроение хозяина — ни скакать ему не желается, ни рысью идти, ни даже ехать куда-нибудь вольным шагом. Сегодня благодать: знай стой целый день на одном месте и клюй носом, погружаясь в сладкие сновидения... Однако не верится, что за этим не последует какого-нибудь сумасбродства, — люди, на то они и

есть люди... этим двуногим только бы портить жизнь другим.

Из ущелья дует холодный ветер, Мухортый всегда поворачивается к нему спиною. Эту позицию вполне одобряет и его хозяин. Уткнувшись подбородком в ворот полушубка, он сидит на коне словно изваяние, окаменевший страж предгорной равнины, осматривающий с холма поднадзорные пределы. Но это не страж широких равнин и не памятник, это живой человек с сердцем, могущим радоваться и печалиться. И каждый узнает в нем Чабана, отважного, стойкого и храброго; это человек, который пасет овец. Но мало кто знает, какой он человек.

Здесь, у высоких гор и заросших чием сопок, раскрылись для него ворота в жизнь. И сколько раз, сидя на коне и созерцая знакомые дали, где известны ему каждый выступ скалы и каждый сучок, он думал: «Теплее всего на родной земле, так говорят... Как это?» И не мог представить. Ведь он еще ни разу не уходил за пределы родных мест, откуда ему знать было, где теплее — на чужбине или дома. Только порою и на родной земле бывает скучно, все приедается и подмывает душу мятежную лететь в неведомые края, к неведомым людям. Но сразу же Чабан пугался подобных мыслей, и он долго потом носил в сердце чувство вины. Ведь душа еще не пресытилась видом казахских степей и казахских гор, их-то никогда не проклинал Чабан, подобно Жене, как бы скверно ни было на душе.

Человек рождается, и его кладут в колыбель; самое первое, что видит он, войдя с громким криком в наш мир, — это мать свою и колыбель. Поэтому во всем мире люди прославляют мать и колыбель. Родная земля и есть подлинная колыбель человека. Недаром у казахов заведено, когда исполняется ребенку год, обваливать его в родной казахской пыли, приговаривая: «Люби, дитя, свою землю...»

Карауля овец, Чабан скрашивает долгое бдение свое чтением книг. Их у него множество, особенно про художников. Как-то прочитал «Дворянское гнездо» Тургенева, а потом специально съездил в райцентр, чтобы посмотреть кино, поставленное по этой книге. И после этого часто задумывался: что есть то большое чувство, которое называется любовью к родной земле, и способен ли он, Чабан, к этому чувству, так сильно выраженному и Тургеневым, и тем режиссером, который сотворил по его книге кинофильм? Чабан и раньше знал, что в гуще любого народа находятся одинокие сердцем люди, способные уйти на чужбину. И не от них ли родилась

поговорка: если хочешь узнать цену родной земле, то поживи на чужой стороне.

Чабану неизвестно, что такое тоска по родине. Но порою он испытывает тревожное чувство, непонятное для него самого. Кажется, что-то великое, неведомое призывает его к себе, и сердце тогда сжимается от боли, и слезы подступают... Что же, что мучает и зовет его? Голова идет кругом, тяжесть ложится на душу, и невольно вырываются грустные вздохи из груди. Тогда хочется ему бросить эти горы и степь, серых овец, бьющих копытами снег, Жену, детей и уйти куда-то далеко-далеко... Но куда? Зачем? Непонятно... И он сидит на своей смирной лошади, и кажется, что дремлет Чабан. Но он чутко вслушивается в дыхание и отголоски далекого недоступного мира, который грезится ему. Тогда жгучее сожаление рождается в его сердце: почему, почему он не стал художником? И так как поговорить ему об этом не с кем, он иногда обращается к своему коньку, глядя на его сонно обвисшие уши: «Эй, старикан, твое счастье, что ты бездумная скотинка. Не о чем тебе жалеть, знай пощипываешь себе траву... Хотя и ты, бедняга, иногда о чем-то тяжело вздыхаешь. О чем бы, я хотел знать? И как тебе не надоест возить меня и терпеть побои? Взял бы скинул меня и лягнул как следует копытом. Да хоть раз в жизни ты осмелился почувствовать себя айгыром — жеребцом? Посмотрел ли призывным взглядом хоть на одну кобылицу из косяка?» Безответно стоял и дремал старый конь. И весь вид его словно говорил: «Смотри, не к добру ты разболтался. Вот разбегутся овцы, тогда узнаешь...» Что-то родственное ощущал в нем Чабан. Ты как казах, думал он, которому ни до чего дела нет. Летом мухи выются над твоей мордой, кусают, а ты только отфыркиваешься, взмахивая головой. Коровы — те хоть бегут куда-то, а ты, стоя на месте, ждешь, что случай пошлет избавление... Терпеливый, покорный. Но ведь есть предел любому терпению!..

Зима была, малоснежная зима. По утрам он выгонял отару на тебеневку. Той прошлой зимою Жена была повеселее, иногда даже шутила, провожая его: «Бороду бы постриг, вон как торчит. И без того красавчик, дальше некуда». А он трогал подбородок, по обыкновению щипал и наворачивал волоски на палец.

Жалко было Жену. Легко ли бабе, думал он, за десять лет пятерых родила. Не хочет больше рожать. Оно и правду: не то за детьми следить, не то за отарой...

Вспоминал Чабан, как они поженились. Школу-десяти-

летку кончали вместе, остались вместе и работать. Он не думал оставаться, но вышло так, что в выпускном классе объявили почин: остаться всем и поработать в совхозе. В газете даже напечатали их фотографии. Шуму было немало. Тут же образовали отдельную бригаду из выпускников и отправили на сенокос. Тридцать молодых парней и девушек разбили свой стан в поле и стали работать да вольно жить-поживать вдали от аула. Было все: и сена заготовили, и помолодому жарко натешились друг другом. Будущий Чабан был не очень смел правом, и его сама выбрала будущая Жена. Была темная пора олиары — межлунья, когда они познали друг друга. И уже к концу работы она однажды взяла его за рукав, отвела в сторону от всех и объявила, строго глядя ему в глаза: «Ты отец моего ребенка». Он тогда растерялся, не зная в эту минуту, радоваться ему или плакать. Но не колеблясь ответил: «Что ж, отец так отец. Будем, значит, вместе жить». И вскоре уже завели они свой отдельный очаг. Осенью родился первенец-сын.

С тех пор прошло девять зим. Все выпускники того года остались в ауле и теперь, переженившись друг с другом, обросли, как и Чабан с Женой, многочисленным потомством. И только один из них, тот, кто организовал почин, не поддавался соблазну, не завел сразу семьи, а уехал в Алма-Ату и выучился на зоотехника. Вернувшись в аул, он еще долго проходил в холостяках.

Зима... Зимний день прошлого года, как и всякий зимний день, был короток, словно вороний клюв. Время не наступало еще садиться за вечернее мясо, а уже темнело, и к сумеркам обычно начиналась поземка. Надо было именно до этого времени успеть привести отару к загону. Иначе слабые не выдержат и лягут в снег. Чабан собрал в круг овец, что широко разбрелись по степи в поисках увядшей травы, и погнал к зимовью. Из трубы одинокой избушки струился дым. Когда он повел отару к загону, из домика вышла Жена. Чабан удивился тому, что на ее лице словно бы еще не растаяла ее утренняя улыбка, с которой она провожала его сегодня. Он уже не помнил, по какому поводу она улыбнулась утром, и не знал, чем вызвана эта. Но когда они вдвоем завернули к воротам отару, Чабан увидел возле сопки всадника на коне. Видно было, что тот спешил, поддавал пятками в бока лошади. Глядя на подъезжающего, Чабан думал: «Что бы могло случиться за два вечера? Ведь только позавчера был у нас. И торопится так, словно спешит обрадовать меня».

Чабан пошел было прочь, но Зоотехник подскакал и, чуть не наехав, осадил лошадь.

— Здорово живешь, ровесничек! — приветствовал он Чабана.

— Не жалуюсь, спасибо, — отвечал тот, не поднимая головы, продолжая возиться со скрипучими засовами на воротах.

Зоотехник, подбоченясь, оглядывался на чабанскую Жену. Та ответила ему быстрым, довольным взглядом и ушла в дом.

— Поздно загоняешь овец, — говорил Зоотехник, ловко соскочив с лошади. Отвязал с луки седла сумку, поставил рядом.

Чабан, снимавший в это время со своего Мухортого седло, собираясь положить его на сено, ничего не ответил, лишь подумал: «Чувствовал, что ты пожалеешь, начальник, вот и постарался пригнать попозже». Вслух же он произнес:

— Заночуешь? Давай подкину коняге корму.

— Что ты, что ты, ровесничек, не надо! Аул ведь под боком, чего ж назад не поехать. А то ведь и люди засмеют... хы... ыхы, — рассмеялся он и, подхватив сумку, уверенно направился к дому.

— Ишь ты, людей застыдился, — пробормотал Чабан под нос. — В прошлые разы ночевал и на людей не оглядывался. И сейчас в дом спешишь вперед меня, чтобы мою бабу потискать без помехи.

Чабан не любил опрометчивых решений. Но уж если осмыслил что, то свою мысль укладывал в слова точно. И сейчас ему не хотелось самому себе высказывать такие истины, от которых лишь ему будет не по себе. Чтобы успокоиться, он долго возился во дворе.

В доме зажгли лампу. Но и тогда Чабан не пошел в избу, стоял возле Мухортого, расчесывая ему гриву. Толстобрюхий конек, только что дорвавшийся до душистого сена, не ожидал от хозяина подобной ласки и, видимо растроганный до глубины души, с особенным рвением хрумкал сухим сеном. Чабан издали заглянул в крохотное оконце избушки и увидел, что Зоотехник показывает Жене бутылку водки, вынув ее из сумы. Передав водку женщине, он потянулся и, с улыбкой говоря что-то, погладил ее черные волосы. Жена с игривой улыбкой увертывалась от Зоотехника... Чабан стоял в темноте и весь горел от стыда — не то перед Мухортым, не то перед самим собой. Потом сердито сплюнул под ноги и отвернулся.

Меж ветвями чиев над сопкой, начинавшейся сразу же за двором, увидел он яркую звезду Чабана. Она всегда загоралась самой первой, и вид у нее был праздничный. Долго с захолонувшим сердцем смотрел Чабан на свою звезду — звезду своих собратьев, пастухов овечьих стад.

Долго смотрел он на яркую, чистую, новенькую звезду и думал: «Войти, схватить Зоотехника за шиворот, отмолотить как следует... И выбросить из дома на дорогу. Но он в суд подаст, сволочь. И я ничем не смогу оправдаться. Не кричать же во всеуслышание, что жену твою соблазнили. Да и детей жаль — куда их девать, пятерых?.. Да и чего я себя расстраиваю? Может, нет у них ничего такого, а я...»

Но тут же он вспомнил недавний случай: заболел Чабан, метался в жару под одеялом, не чаял уж остаться в живых, как вдруг приехал Зоотехник. «Как?! Разве я отдам смерти своего курдаса — ровесника?» — заявил он и привез из аула врача. Тот покрутился, пощупал, послушал и решительно заявил: надо везти в район. На прощание оставил тетрациклин в таблетках, взял три рубля и уехал. Через два дня пришла «скорая помощь». Чабан не хотел ехать, потому что почувствовал себя уже гораздо лучше, но его и слушать не стали, повезли... Через три дня Чабан благополучно вернулся домой, и Жена встретила его криком:

— Сколько тебе еще мотаться туда и сюда без толку? Уж лучше бы лежал дома или оставался в больнице. Скотина вон еле живая стоит во дворе. Если бы не товарищ твой, подошли бы уже, наверное. Что значит школьный друг, десять лет вместе проучились!.. — долго кричала Жена в том же духе, а Чабан сидел перед нею, похудевший, слабый, попурий.

Сынишка вмешался:

— Папа, а вчера у нас Зоотехник ночевал!

Чабан вздрогнул и взглянул на Жену. Та покраснела и отвернулась.

— Ну и переночевал, что тут такого... Кто бы утром этих троих в школу отвез? То-то же. И не одну, а две ночи пришлось ему заночевать у нас. Спасибо надо ему сказать. А ты что хочешь, то и делай. Переночевал, да! И ты на меня так не смотри, душу мою не изводи! Если надо будет мне, то я и без этого все могу обделать, будь спокоен. Баба, если чего захочет, может и на ходу, пока выносит золу, получить свое сполна, запомни.

— Ну-ка помолчи... Говорят, что кулаками машет пер-

вым тот, кто боится. Чего ты расшумелась? Детей бы постыдилась, большие уже.

— Как же, испугалась я тебя! Ха-ха! Барана твоего и то больше боюсь.— Вильнув бедрами, Жена вышла за дверь.

Чабан долго просидел дома, обняв младших — близнецов. Затем пошел смотреть отару.

О кудай, когда-то байские яловые жены были приманкой для здоровых пастухов и работников, а теперь, видать, чабанские жены стали привлекать внимание сильных мира сего, думал Чабан, идя вслед за овцами. На душе было так скверно, что казалось — не совладать уже с собою. Надо же быть таким дураком! Нет, видно, недаром Зоотехник человек ученый — хоть на золотник, а перехитрил...

Так было в тот раз, а теперь...

— Чего ты уставил нос к небу? — крикнула Жена, высунувшись в дверь.— Иль выть собрался, как Аламоинак?

Чабан направился к дому... В жарко натопленной комнате Зоотехник развалился у стола, прислонясь спиной к стопке одеял. Дети, что поменьше, уже легли спать. Школьный товарищ Чабана исходил крупным потом. У Жены на хребтинке носа тоже выступил капельками пот.

— Вот привез тебе газеты,— сказал Зоотехник.— Надо же столько выписывать! — И он бросил перед Чабаном на стол увесистую кипу газет и журналов.

Чабан быстро посмотрел заголовки, остановился на очерке «Схватка с бураном» и стал читать.

— Вот и полюбуйтесь на такого,— с досадою говорила Жена.— Пока всю газету не обнюхает, не успокоится. Пей чай, пока горячий, ведь ничего ты в этой газете не потерял. Ну!

— Там опять небось про того чабана, который «схватился с бураном»? Охо-хо, мой курдас, давай-ка заночуй в буран с отарой в степи, а я про тебя в газете пропишу, на весь район прославлю,— развеселился Зоотехник.

— Хороший чабан не останется в поле с овцами, он всегда заранее угадает, что будет буран. А если останется, то по своей вине... Ну а ради славы, думаю, не стоит мне в непогоду ночевать в степи... Тут уж будет не до славы... руки, ноги можно отморозить, и попаду, пожалуй, снова в больницу.

Зоотехник при этих словах потупился, опустил глаза, а Жена заметно покраснела. Некоторое время стояла неловкая тишина. И наконец, не вынеся больше молчания, Зоотехник первым заговорил:

— Э-э, что там еще пишут?

— Ты же читал, наверное... Номера-то все старые, свежих нет.

— Разве все перечитаешь! Да и чего их читать? Все про одно и то же,— зевнув, сказал Зоотехник.

— Неужели? — по-русски ответил ему Чабан.

— Эгей, курдас, мы не лекторы, не партсекретари, зачем все время о политике говорить? Давай лучше пол-литра разопьем. Долго ли еще на луну молиться, как говорили в старину! Умные люди были! Эй, Жена Чабана, давай сюда стаканчики граненые!

Чабан не отвечал, продолжая читать. Когда он поднял голову, встретился взглядом с Женой, которая смотрела на него усталыми, пустыми глазами. Сверкал при свете лампы значок-ромбик на лацкане пиджака Зоотехника.

— Пей,— говорил тот.— Чего мало выпил?

— Завтра не встану, овец не выгоню.

— Черт с ними. Подохнут — акт составим, что волки сожрали. Не бойся, когда рядом с тобою друг.

— Да ведь не ты хозяин. Другие с меня спросят.

— О, против меня никто не попрет!

— Что ж, ворон ворону глаз не выклюет... Вы бы списывали хотя бы тех, что от болезни гибнут, а то все на волков приходится сваливать.

Снова наступило молчание.

— Сынок-то твой неплохо рисует,— сказал Зоотехник.— Заметил я в прошлый раз... Может, хоть из него получится художник.

— Жизнь покажет... А то вместо кисти тоже придется взяться за чабанский посох, как отцу.

— Отправь ты его в город, как меня мои родители...— вновь зевая, советовал Зоотехник.

«Час поздний,— думал он,— может, заночевать здесь?» Но, словно угадав его мысли, Чабан поднялся и сказал:

— Поздновато уже. Если не хочешь ночевать у нас, поезжай.

Зоотехнику ничего не оставалось делать, как тоже подняться. Два товарища, два бывших школьных товарища, вышли из дома на темный двор. Луну закрыли тучи. Поземка, усилившаяся к вечеру, сейчас стихла, но со стороны гор волнами набегал холод. Белые сопки уходили вдаль, круглясь, заходя одна за другую. Ночь была глухая.

Чабан подвел к гостю его оседланную лошадь, подтя-

нув на ней подпругу. От резкого холода после домашнего тепла Чабана пробрала дрожь. Но захмелевший Зоотехник ничего не заметил и, усевшись в седло, с дружеским видом завел разговор:

— Ты, я вижу, за что-то обижаешься на меня...

— За что же? — ежась, отвечал Чабан.

— Знаешь, а спрашиваешь. Притворяешься. Думаешь, я не вижу? Но ты не обижайся, что все в гости к тебе езжу, а вас к себе никак не позову. Сам должен знать, что у городских обычаи не такие, как в ауле. Жена, понимаешь, не даст мне воли! А сейчас как: на жену свою не смей косо смотреть. Чуть что не так сделал, сейчас же скачет в контору жаловаться. А ты к тому же партбилетом дорожишь. Вот так-то, курдас. Нет, говорят, врага хуже жены.

— Да, аллах наградил нас женами. Держим мы у себя дома по медведице.

— Уах-уах! — задохнулся от смеха Зоотехник. — Недурно сказано! Моя медведица человека может живьем съесть, точно! Ну молодец! Всегда что-нибудь придумаешь. — И он с довольным видом ткнул камчою в грудь Чабана, который стоял перед ним, стуча зубами. — А все же не дал заночевать — боишься! — вскрикнул Зоотехник и стегнул лошадь... — Боишься! Боишься! — кричал он, уносясь на коне в темноту...

А наутро Чабан, поднявшись рано, повез детей в школу. Он усадил их в широкие розвальни, укутал тулупом и знакомой дорогой направил Мухортого к аулу, рассчитывая попасть туда до девяти. Занятия начинались к этому времени. А после обеда, когда они заканчиваются, ему нужно забрать их и везти обратно. Так он должен ездить каждый день, если хочет, чтобы дети его выучились, в люди вышли. Когда-то отец Чабана подобным же образом мотался меж зимовьем и аулом, возя детей в школу, и у Чабана тоже зрела в душе честолюбивая мечта о будущем своих потомков. Чабан оглянулся на сидевших под тулупом ребятишек. Старший смотрел круглыми черными глазами куда-то вдаль, на тянущийся по берегам Бухтармы березовый лес. Румяное детское лицо светилось такой радостью, любопытством и восторгом, что отец тоже невольно посмотрел на лес. Белоствольные деревья, ветви которых сплошь были покрыты снежной кисеей, — вся белая роща напоминала огромную чашу с айраном, еще не вполне дошедшим. Вблизи дороги на тополях сидели вороны, галдевшие свое неизменное «карр! карр!».

И Чабан с усмешкой думал: «Каркают, глупые птицы. А чего еще делать? Небось овец им не пасти, детей не учить, с женой не ругаться каждый день. Довольны вы всем, кажется. Ну а я, человек?» Последнее он, должно быть, пробормотал вслух, потому что сын повернулся к нему и спросил: «Чего, отец?»

— Ничего, сынок, — успокоил его Чабан. — Это я вроде бы с воронами беседую. Не замерз?

Он нагнулся и поправил тулуп на детях. Мухортый едва тащил сани по глубокому снегу. Свежая напушь по краю дороги была тронута мышинными следами. Кто-то палкой начертал на сугробе свое имя...

— Сынок, — негромко позвал Чабан.

— Да?

— Учись получше. Старайся.

— Я и так стараюсь, отец... Я видел твой аттестат в сундуке, — с доверчивым видом затараторил мальчик. — Ты неплохо окончил школу, всего три четверки, остальные пятерки, и поведение тоже...

Чабан улыбнулся, глядя в румяное лицо сына. «Да, поведение у меня было образцовое. Можно сказать, на все «шесть»...

— Отец, это ведь ты нарисовал портрет дедушки?

— Я нарисовал. Дедушка твой сорок лет пас овец. Хвалили его, в Москву на выставку отправляли, целый сундук разных наград и грамот после него остался. А неграмотным был, ни буквы не знал... не то что мы с тобою. Но он знал, сынок, что это высокая честь — быть хорошим чабаном.

Чабан внимательно посмотрел на сына. Но тот отвлекся и со вниманием разглядывал клубившиеся над степью облака. Вдохнув, отец подумал: «Что ж, тебя, может быть, ожидает иная доля».

— А отец моего деда тоже пас овец? — неожиданно для Чабана задал вопрос мальчик.

— Отец деда?.. Твой прадед, значит... Да, тоже пас овец. Только байских.

— А мы пасем государственных. Так?

— Да, государственных...

— Бай был один, а государство — это много людей, так ведь?

— Ну так.

— Значит, мы работаем не для одного человека, а для многих.

— Верно. Но не забывай, что государство — это мы и есть. На себя, значит, работаем.

— А почему тогда мы должны отвечать за павших овец?

— Потому что должны работать так, чтобы овцы не дохли. Ты ведь слышал, как говорят: храни народное добро как зеницу ока. А плохо будем работать, так с голоду помрем... Погляди-ка туда, вон на этот склон сопки, — сказал он минуту спустя, указывая вдаль кнутовищем. — Присмотрись хорошенько. Видишь, похоже отсюда на коровий бок... только весь в буграх. Видишь?

— Нет, папа, — возразил сын, окинув дальние холмы глазами. — У коровы всего два бока, а у этой сопки вон их сколько. Да и цветом коровы не бывают такими. Мне кажется, что на лежащую овцу похоже... Или на старую могилу, как у деда...

— А ведь и правда! — согласился Чабан, улыбнувшись. — Глаз у тебя, гляжу, повострее моего. — «Может быть, и ускачешь вперед! — думал он. — Как знать». — Ты видел у меня книги про художников? — произнес он вслух. — Так ты читай их, сынок. Читай!

Мухортый пошел рысью, как только въехали в ущелье, где снегу было поменьше. Чабан дал волю — пусть везет как ему хочется... Везет хозяина с его детьми и со всеми надеждами, таящимися в его теплом сердце.

Он распрощался в школе с детьми, которые разбежались по своим классам: один в первый, другой во второй, а старший в третий. Этот первенец был особенно дорог Чабану, и он неизменно следил за его успехами, нередко беседовал с учительницей. Молодая, только в прошлом году закончившая институт, миловидная девушка приветливо, с уважением относилась к Чабану, и ему, не особенно избалованному таким вниманием, нравилось встречаться с нею. Больше всего удивлял Чабана открытый, прямой, пристальный взгляд ее. Он всегда смущался этого взгляда и, беседуя с ней, невольно поворачивался боком и потуплял голову. Заканчивая беседу, он непременно произносил своим глуховатым тихим голосом: «Аналайын, во всем полагаюсь на тебя. Вверяю тебе моего сына...»

И сегодня он повторил эти слова. Он знал, что и на самом деле судьба человека во многом зависит от того, кому он попадет на обучение в детстве.

— Вы, должно быть, интересный человек, ага, — сказала она сегодня, провожая его после разговора к выходу из школы. — Ведь мальчик у вас научился рисовать? Он уже рисует лучше меня. И вообще он очень способный. Наверное, в отца пошел...

Чабан растерянно остановился на крыльце и оглянулся: уж не смеется ли девушка над ним... Но нет, доброжелательно и ласково смотрела на него лучистыми глазами... И тогда он неловко рассмеялся и ответил:

— Э, зачем лысому гребешок... Мне ли художеством заниматься? — И с этими словами он влез и уселся в сани.

— Заедете после обеда, ага? — участливо спрашивала девушка.

И этот молодой, полновзвучный голос вмиг пробудил что-то высокое, неприкосновенное в душе Чабана. Заглохшим, непослушным голосом он едва вымолвил:

— Заеду, — и стронул с места лошадь.

Оглянувшись, увидел, что учительница стоит на крыльце и смотрит ему вслед.

* * *

И теперь, сидя на вершине скалы, Чабан вспомнил этот ласковый, греющий взгляд; с того дня прошло уже много месяцев, но еще свежим было в памяти ощущение просветленной радости, что родилось тогда в его душе. Чабан тяжело вздохнул, и улыбающееся лицо девушки, стоявшее перед его глазами, словно растворилось в тумане — густом алтайском тумане, который наплывет скоро, в месяце казан-ай. Тщетно пытался Чабан вновь представить это лицо — оно исчезало, и угасли лучи, исходившие из глубин ее глаз, они превратились в далекое осеннее горное марево, струящееся на недоступных высотах хребтов. И стало на душе Чабана так пусто, печально, отрешенно, что казалось, еще мгновение — и он спокойно примет вечное небытие, уйдет в тот мир, о существовании которого он всегда знал, но подумать как следует о нем никогда не мог — некогда было. И только однажды весной он вспомнил об этом самом простом избавлении и даже попытался воспользоваться им.

Весна! Для Чабана это самое мучительное и тяжелое время — пора весеннего окота. Днем и ночью идут у маток новорожденные ягнята, за каждой овцой Чабан должен уследить, не прозевать самую ответственную минуту... Полагающийся сакманщик не прибыл к расплодной, началу ягне-

ния, и десять первых ужасных дней Чабан почти круглосуточно провел на ногах. Целыми днями он перетаскивал в корзинах новорожденных ягнят с пастбища. Иные матки сразу же теряли молоко, и приходилось подкармливать голодных овечьих младенцев, а иные из них не брали материнский сосок, надо было их приучать есть и жить. Голова шла кругом. В глазах вспыхивал злоеющий огонь, поясница болела, как переломленная, а дома измученная Жена с воплями набрасывалась на него. Собачья жизнь настала для Чабана. И однажды, карауля народившийся молодняк, он просидел в кошаре почти до рассвета; на исходе ночи сквозь хаос и усталость в голове пробилась мысль: «Зачем? Неужели для этого я родился на свет?» Впервые за свою жизнь он испытал великую скорбь за себя и заплакал навзрыд... Но вскоре миновала трудная пора весны и наступило лето.

Лето! О лето! Благодатная пора. Все живое ликует в приливе бодрых сил, порхает, носится, играет. Люди выбирают старую ветوشь, сжигают прошлогодний мусор, что-то мастерят у себя во дворах, хлопчут, и все это с таким беспечным, довольным видом, словно тепло пришло навсегда и не будет больше в мире ни промозглой осени, ни зимы. Глубоким дыханием полнится грудь земли, освобожденной из-под зимнего хладного покрова. Наряжается в самые яркие свои уборы молодое алтайское лето. Оно прекрасно. Но некогда было Чабану любоваться прекрасным — за будничными хлопотами дня не успевал он даже голову поднять и окинуть цветущие дали. Жизнь! Не каждый, пожалуй, заметит, что, размениваемая на мелочь каждодневных забот, она проходит так же быстро, как и скоротечное лето. На пастбище следишь за отарой — и день долот, ночью ухаживаешь за овцами — ночь длинна, и так день за днем, дел неуворот, их все больше, и за ними удивительно быстро, незаметно проходят годы жизни. Поток ее несет человека, как щепку, и некогда даже осмыслить свою жизнь. Но порою Чабану казалось, что так и надо, так и хорошо: лето теплое благодатно, на джайляу можно отдохнуть, воспрянуть духом и телом, а порою тайком от Жены и выбраться к знакомым табунщикам на кумыс. Уж очень любил Чабан кумыс. Бывало, жара, пыль, в горле пересохнет, а тут поднесут тебе полную чашу пьянящего пенного напитка — прохладный пот сразу же выступит на лбу крупными каплями. С наслаждением утолив жажду, вернешься назад, к отаре, присядешь где-нибудь на землю и незаметно погрузишься в сладкую

дрему. Очнешься, а овцы уже разбрелись, рассеялись, словно неосуществленные мечты его жизни, которые затерялись, безнадзорные, забытые, в чередѣ дней...

Чабан отвел глаза от марева, плывущего над размытой линией далекого горизонта, посмотрел вниз, на свое зимовье, и мысли его вернулись к настоящему дню, теплому дню бабьего лета, к неизменным заботам. Томительно стало на сердце, невольно хотелось забыть обо всех неудачных делах своей жизни, и тут Чабан увидел одинокого всадника, едущего к его становью. По посадке издали можно было угадать, кто едет: Чабан № 2, Шыгайбай, живущий на северном склоне горы, на которой находился сейчас Чабан № 1. Всадник подъехал к юрте, остановился и о чем-то долго говорил с Женою соседа, вышедшей из юрты, затем тронул лошадь и неспешно направился в сторону Чабана. За все немалое время, что понадобилось всаднику, чтобы пересечь долину, он ни разу не подгонял лошадь, предпочитая ехать тихим шагом, словно боящаяся неожиданностей баба на сносях.

Приближался к горе, на которой сидел Чабан, некто по прозвищу Ничего-не-давай-бай, самый денежный мужик на всю округу. Говорили, что у него в сберкнижку вписана неслыханная сумма. Скупец ни с кем не водил дружбы, всегда помалкивал, в гости ходить не любил и у себя никого не принимал. Лишь время от времени наведывался он к соседу. Чабан знал, что у Ничего-не-давай-бая в юрте всякого добра павалено было под потолочный круг, а ребятишки на ночь укладывались под одним старым тулупом. Одежд новых хватало, но хозяин запрещал трогать красиво сложенные стопки и справедливо опасался, что от употребления новые одеяла станут старыми. В доме у Чабана № 2 ели не сытно, голопузая ребятня бегала вокруг юрты в убогом рванье, а хозяин прижимал и копил деньги, никому не говоря, для чего это он делает. Поначалу, когда Шыгайбай подымал крик где-нибудь на свадебном тое или на поминках, требуя пятерку сдачи со своего денежного подношения, люди изумленно смотрели на него, утрачивая дар речи, потом за многие годы привыкли к нему и, чтобы не срамиться, не связывались с ним, никуда не звали и словно забыли о самом существовании этого человека. Словно бы умер он для людей этого края, а тому все нипочем...

— Оу! Ты чего это забрался туда, как петух на курятник? — крикнул он Чабану. — Спускайся, я на почте был, вот газетки твои прихватил...

Он слез с коня и, вытащив из-за голенища сапога свер-

нутые газеты, положил их на камень. Чабан сбежал вниз с горы, прыгая с уступа на уступ.

— Вот разочек скувыркнулся бы, так не полез больше, — ворчал Чабан № 2. — А то ведь словно козел, все бы забраться куда повыше.

Чабан присел рядом с Шыгайбаем на камень и попросил у соседа табачку. Тот нехотя достал из нагрудного кармана пачку махорки и протянул со словами: «А бумаги у меня нет, оторви вон от своей газеты». Чабан застеснялся под пытливым взглядом скупца и, взяв самую малую щепоть табака, скрутил тоненькую сигарку.

— Оставь-ка, почтеннейший, мне половину, — попросил Шыгайбай, с голодным видом глядя на Чабана.

Тот промолчал, думая: «Хоть сдохни, а не оставлю». И стал не спеша просматривать газеты. Чабан № 2 посидел в напрасном ожидании, затем оглянулся и произнес удивленно:

— Э! Да отсюда перевал видно. Зимник твой вон там, за гребнем, не так ли?

— Что, в первый раз видите?

— Сколько езжу здесь, а никогда не замечал. Вот жизнь... Сарай у тебя хорош на зимнике. И вообще местечко что надо. Хочешь, поменяемся?

— Эх, почтеннейший! Только и хорошего у меня, что это зимовье под скалою, в затишке, да и тому вы позавидовали.

— Брось, не грешь! Какая тут зависть... Если и завидую, брат, то не скале, под которой ты спрятал свой домик, а тебе самому. Передовой ты, и образование есть — вот чему завидую. А сам я и трех классов не осилил... Хотя, если подумать, зачем нам-то возиться с бумажками? Чтобы пасти овец, никакая ведь теория не нужна, — вставил он в свою речь «ученое» словечко.

— А вы, кажется, только и возитесь всю жизнь с бумажками, — помусолив пальцы, потер ими Чабан, намекая на деньги.

— Ну чего вы все мелете и не раз, и не два, — обиделся Шыгайбай. — Ведь, кажется, я тоже пасу овец, как и ты, такую же солому жесткую жую, и рот свой этой соломой вытираю... Нет же, хорошего не скажут, а только плохое... А если, допустим, завтра я калекой безруким стану, кто мне даст кусок хлеба? Ты, что ли, или другие? Никто не даст. Так-то, почтенный. Я о будущем думаю, не то что ты...

— Ну полно, уважаемый! В пустыне от скуки и над ста-

риком не грех подшутить, как говорится, — замял разговор Чабан, увидев, что Шыгайбай завелся всерьез, но с лукавой доверительностью продолжил: — А все же, говоря между нами, без свидетелей, сколько тыщенок у вас?

— Эх, негодник, пристал с пожом к горлу! Ну, с десятка с половиною будет, что с этого? Ведь сам знаешь: деньги как вода, будь они прокляты! Вот эти газеты взять — сколько рублей ты ухлопываешь на такое добро? А зачем, спрашивается? Ко мне тоже подъезжали, чтоб подписался, душу едва не вымотали, так я взял «Знамя», нашу районную: с ладошку ведь, а отдай два рубля... Дома у меня кто-нибудь ее читает? Никто. Так на что она мне? Разве что руки вытереть после мяса... А вот ты, гляжу, все подряд читаешь. Интересный человек! Ведь иной одну книжку прочтет, так всю жизнь других учит, в ауле нет от него спасу, а ты... Все-то у тебя молчком, все в голове разум свой держишь. Да только запомни, дорогой: много будешь знать, много будешь печалиться, не будет от этого радости ни тебе, ни другим...

Шыгайбай с сокрушенным видом покачал головою и вздохнул. Чабан засмеялся, глядя на него, затем посмотрел на край неба, где висело утомленное солнце. Там, где должно было оно зайти, висело над горами длинное, как растянутое сухожилие, подкрашенное красным отблеском одинокое облако. Казалось, кровь солнца пропитала его, придав ему особенную трепетность и горячую страстную жизненность... А вокруг вечерние глубины горной страны разительно переменялись, как бы уплотнились, освободившись от зыбко-жемчужного марева, витавшего весь день над склонами, и теперь, сверкая сочными зелеными, пурпурными и золотыми гранями, потемневшие горы предстали во всем своем недолгом закатном великолепии. Природа являла свою сокровенную красу, словно обнаженная, готовящаяся ко сну безмятежная красавица... Был тот благодатный для пастуха преднощный час, когда мирный день насыщения стад уже позади, и овцы, торопясь взять все у этого дня, с особенной истовостью жуют траву. Склон горы, плавно вогнутый в середине, был обращен к багровому солнцу и как бы излучал радостный, мощный свет, особенно звучный на фоне горячего неба и желтых просторов далекой степи. Чабан яркими глазами, словно вобравшими в себя весь пламенный свет закатного солнца, и полыхающего облака, и засверкавшей багряной горы Таспоки, смотрел вокруг и думал: «Солнце... Сколько же на земле душ человеческих греются и сияют, подобно этому облаку и этим горам, под светом человеческой

доброты и милосердия. А такие, как бедняга Шыгайбай, ни разу в жизни не задумываются над тем, что же на самом деле являют собой... Деньги... деньги считают, кладут на книжку...»

— А где ваши овцы? — отвлекаясь от своих мыслей, повернулся Чабан к Шыгайбаю. — Кто их пасет?

— Как кто?! А баба моя на что? — отвечал тот удивленно. И, уже садясь на коня, сказал: — Много воли даешь своей жене, вот что. Баба у тебя та еще бесовка. Давеча спросил, где ты, а она так ответила... Думаю, была бы здесь милиция или телефон, то сидеть бы тебе каждый месяц по пятнадцать суток. Стригся бы и мылся тогда вовремя, хо-хо... И чего ты с ней нянчишься? Да привяжи ее, стерво-зу, к дереву и пройдишь ремнем по гладким бокам. Здесь на всю округу никого нет, кроме нас двоих, а я ничего не увижу и не услышу, будь спокоен. Аллах поможет — выколо-тишь ты из нее беса... Ремня жалко, так возьми, на мой сыромятный кнут, надежней нет науки. А ей ничего не сделается, наши бабы не городские, на алименты не подадут и из дома не попрут — без мужика чабанская баба не сможет обойтись, не-ет!.. — И, многозначительно подняв над головою палец, Шыгайбай отъехал. Обернулся на ходу и крикнул: — Сосед, а не напиться ли нам как-нибудь до чертиков? Назло женам, а? Я человек верный: что задумаю, то сделаю! — И Чабан № 2, махнув в сторону соседа камчою, завершил: — Выпить с таким жигитом, как ты, и ангелы не сочтут за грех... Так как же, а?!

Чабан глядел ему вслед. Латунный конец камчи Шыгайбая сверкал под солнцем словно золотой... Отчего-то повеселев, Чабан ответно крикнул:

— А давай, коли хочешь! Не тыщу же лет кувшину целым быть, когда-нибудь да и расколется!

Он стал заворачивать отару...

В эту ночь Чабан долго не мог уснуть. Когда наступят сумерки, тускнеют вместе со светом дневные тревоги и заботы человека, им овладевает исподволь дух ночи. Ночь порождает грех, ночь и скроет его в своей тьме. Не было бы ночной мглы, не пробуждались бы темные преступные желания, думал Чабан. Это она, глухая ночка, зачаровывает человека возможностью какой-то дикой пьянящей свободы. И на какой-то миг словно освободилось тело Чабана от земного плена, но вскоре просочилась в душу обида на Жену и подавленная заботами дня мужская ревность. Хотелось увериться, что подозрения его напрасны, и он с неуверенной

ласкою тронул плечо Жены. Но в темноте она резко оттолкнула его, сердито пробормотав: «Прочь... бараньим потом от тебя несет». И только тогда спохватился Чабан, что напрасно беспокоит беременную женщину, у которой свои священные, таинственные заботы и тревоги. Смутившись, он покряхтел, затем осторожно поднялся с постели и, накинув на плечи тулуп, ощупью пробрался к выходу из юрты. На воле было темно, хоть глаз выколи, — набухавшая с вечера туча заваляла чернотою западный край неба, откуда могла бы просочиться хоть капля остаточного света ушедшего дня. Овцы мирно перетирали зубами жвачку. От северной стороны Тасшоки донесся слабый звук выстрела. Шыгайбай, должно быть, палит. На всякий случай... Такой не уступит своей овцы волку. Своего не упустит... «Может быть, он-то и живет правильно, по крайней мере легче меня, — думает Чабан. — Ничего ему не надо: ни машины, ни курортов. Только бы деньги были... А я? Что толку с того, что я все думаю да переживаю...» Он присел на седло, лежавшее у входа, и уставился на крошечную западную тучу, по лохматым краям которой разлился беловатый свет. Где-то за юртой фыркнул Мухортый. Тонко заблеял козленок; издали, словно отвечая ему, крикнула косуля. А над ночными хребтами Алтая шел, видимо, дождь — чуть слышно погромыхивали громы, вспыхивали над острыми вершинами зарницы. И Чабану казалось, что эти тревожные сполохи трепещут своими слабыми огненными крыльями где-то внутри его. Неверный прозрачный свет, облегчающий на мгновение боль души под гнетом беспредельной тьмы, подобно жидкой микстуре, изгоняющей на время головную боль... В то время как тьма велика и множество невнятных грозных теней наполняет ее.

И все же — пусть смутными сполохами вспыхивают и гаснут обманчивые надежды в душе Чабана — она питается и держится не этими надеждами. Вера — спокойная и беспредельная вера — вот что крепко привязывает его к жизни. Вера в правоту добра дает ему силы жить одиноко и трудно рядом с Женой, которая только что оттолкнула его, и возле этих жующих бездумных овец. И, осознав это, Чабан испуганно подумал: «О боже, что бы стало со мной, если эта вера, пускай и чуть теплая, угасла во мне? Куда деться тогда, куда уйти?.. Куда я уйду от овец своих? Нашлась бы для меня другая жизнь, чем эта, среди тишины великих гор? А что, если взять да и поехать в далекие чужие страны, к иным людям. Сесть бы на Мухортого, перевалить Алтай...

сказать всему миру: «Чужие, странные народы! Здравствуй-те! Это я! Не чужайтесь меня!» Вот бы как крикнуть мне. Голос у меня зычный, чабанский, все услышали бы... Только поглотят мой голос пространства и годы, тысячи лет человеческой вражды. А зачем? Зачем враждовать нам, люди? Не мы ли сами приучили себя к дурному? Зачем мы грыземся друг с другом испокон веков? Зачем разделять Землю на враждебные кусочки и забавляться ими, словно мальчишки бабкой? Ах, мне иногда кажется, что уж слишком бойко вертится наша Земля,— не разлетелась бы она вдребезги от этой все нарастающей скорости. Я тревожусь о чем-то... мне хотелось бы взять земной шар в руки, осторожно положить за пазуху, к сердцу, и пригреть, приласкать, успокоить... Я, Чабан, самый мирный человек на свете. Я сохранию Землю от зла, как стадо овец от волков. Во мне таится богатырская сила, ибо я Чабан, Человек, но я все же боюсь... Я боюсь, что не все люди думают, как я, что надо мною многие будут смеяться, узнай они, о чем я мечтаю... «Ты,— скажут они,— охраняй своих баранов, а о судьбе человечества нечего тебе волноваться. Знай свое место, свое стадо и свою степь, а обо всей Земле тебе нечего печься...» А я не могу не печься о ней, потому что и для моих овец, и для смуглых моих ребят, и для родной степи, и для очага моего дома благополучие Земли значит все...» Чабан сладко потянулся, выгнулся, потрогал себя за поясницу и встал. Заломило спину. Сутулясь, побрел он к овцам, и тут сверкнуло в небе и на секунду осветился склон горы. Чабан подумал, что это месяц промелькнул в прорехе тучи, и привычным взором пастуха окинул знакомые просторы неба, но тотчас вспомнил, что сейчас пора олиары — времени, когда старый месяц ушел, а новый еще не родился. Мгновенно ощутил Чабан тоску по ночному спутнику своих пастушеских бдений. И тут снова полыхнуло зарево, словно звезда неслышно промчалась вверх. Огромная туча заволокла все небо. О боже, сейчас хлынет звездный дождь! Чабан протянул перед собою руки, словно желая поймать на ладонь звездные струи. С севера, гудя, навалился могучий черный ветер, предвестник непогоды. Лес наполнился гулом и черным валом пошел на крошечное становье Чабана. Где-то тревожно заклекотал разбуженный стервятник. Заржала лошадь. И тут Чабану почудилось, что всплыла над темными горами луна, но то был всего лишь тревожный призрак светоча, рожденный тоскою человека по истинному свету. Луны нет и не может быть — сейчас олиара! Соберись с силами, мужайся, Чабан! Старая луна умерла, Тасшоки в глубоком

глухом мраке сна — сейчас олиара. Свет будет, Чабан, но теперь ты жди бури средь крошечной ночи безлунья.

Сверкнула молния. Одновременно взметнулся и взвыл ветер. Чабан, широко шагая, направился к юрте. Он знал, что в такое предгрозовое время, полное невнятного ужаса, отара становится прибежищем для обезумевших зверей и птиц. Скорее взять ружье — и к овцам! Иначе они тоже обезумеют и разбегутся по ночной степи... Но, войдя в юрту, Чабан увидел при свете зажженной коптилки разметавшуюся на постели Жену.

— Где ты шляешься, бестолковый! — прохрипела она. — У меня началось... крутит в животе, ох!..

— Буря надвигается... Ливень будет, — ответил растерянно Чабан. — Мне бы к овцам... а то птиц налетит, напугают они овец.

— А-а! И-и! Сдохни ты со своими овцами! — крикнула Жена и отвернулась к стене.

Чабан потоптался возле постели и, захватив ружье, тихо вышел из юрты. Грозное безмолвие царило снаружи. Но вскоре северный ветер завыл с удвоенной силой, стелясь над самой землею. Чабан с ружьем наперевес стал обходить загон. Восточный край неба не затянуло тучами, там мирно сияли звезды, и ничто не напоминало о возрастающей ярости бури. И все же вспышки молний и громовые раскаты заполняли ночь во всех ее пределах. Ветер крепчал.

«Шайтан! Что бы тебе задуть с восточной стороны, — бормотал Чабан, обращаясь к ветру, — мигом бы все тучи унесло».

Но с востока шло лишь сонное струение звездного света.

Наконец взметнувшийся ввысь ветер навалился с ураганной силой. Чабан оставил отару и бегом направился к юрте. Он спешил, как только мог, но самое страшное уже свершилось. Юрты не было на старом месте. Ее повалил и унес ураган. До слуха отца донеслись детские крики и плач. При вспышках молнии он различил жавшихся друг к другу ребятишек. Рядом с ними корчилась мать, воспроизводя на свет еще одного. Чабан заметался вокруг них. На ощупь отыскал он в гряде хлама огромный ковер — текемет, который во время переездов едва удавалось взгромоздить на коня. Живо развернув тяжелый ковер, Чабан укрыл им детей.

— Сидите, не бойтесь! Теперь дождь не замочит! — крикнул он и птицей помчался снова к отаре.

Овцы лезли друг на дружку, сбившись в беспокойную кучу. «Аллах, помоги! Помоги мне...» — невнятно пробормотал Чабан и побежал вокруг отары, громко клича собаку. Та выскочила откуда-то из тьмы и оробело, с заискивающим видом крутилась под ногами, ни на шаг не отходя в сторону. Немного успокоившись за овец, Чабан метнулся назад и вскоре вновь оказался возле Жены. При новой яростной вспышке молнии он увидел ее искаженное белое лицо. Черные волосы женщины разметались на подушке. Чабан поднял ее на руки и шатаясь побежал к лесу. Там было намного тише, но ветер гнул верхушки деревьев, ломал сучья, и страшно скрипели, терлись стволами тесные раскачиваемые деревья. Все эти неистовые звуки встревоженного леса смешались с гулом и плеском хлынувшего дождя и вскоре были поглощены им. Чабан наспех уложил Жену на валежник и помчался к становью за одеялом и подушкой...

Водится на Алтае род особенно раскидистых лиственниц, ветви которых настолько густы, что под шатры их не просачивается ни капли воды. Мягкие иглы деревьев, осыпаясь из года в год, устилают землю толстым сухим покровом. Сунешь руку в эту рыхлую подстилку — там теплым-тепло... Чабан разостлал козлиную шкуру, уложил на нее под деревом Жену и бережно укрыл ее одеялом. Затем виновато проговорил: «Ну теперь как бог даст...» — и отправился назад, к овечьему загону. Во тьме лишь частые вспышки молний освещали ему дорогу. К овцам он подоспел в самый необходимый момент. Отара, напуганная ураганом, пришла в угрожающее движение, вслед за чем могло последовать паническое бегство обезумевших животных. Громко крича и стреляя в воздух, чтобы привлечь внимание мокрых, с дикими глазами мятущихся овец, Чабан стал заворачивать отару к лесу. Верный пес Аламоинак, поначалу потерявший голову перед надвигающейся грозой, теперь словно опомнился и усердно, с истошным лаем стал помогать хозяину. А тот из последних сил подгонял себя, стараясь поспеть всюду, задыхаясь в плещущей ливневыми потоками тьме. Когда все овцы укрылись наконец под защиту леса, Чабан повернулся и побежал к становью, к детям. Все пятеро смирно лежали под текеметом, отец опустил на корточки возле них и, стараясь говорить спокойно, стал увещевать их: «Лежите смирно, хорошие мои. Дождь сюда не протечет, так что не бойтесь. — Но голос срывался и поневоле звучал хрипло. Чабан обратился к старшему: — Ты будь мужчиной, жигитом. Приглядывай за другими. А я скоро...» Он обхватил теплую го-

лову сына и, крепко зажмурившись, крепясь, чтоб не заплакать, поцеловал мальчика. Затем вскочил и отправился в сторону леса, к Жене.

В эту ночь гроза, беды и тяготы навалились столь внезапно, что Чабан не успел даже осознать все это по отдельности и лишь отчаянно метался от детей к Жене, от Жены к овцам — туда и сюда, взад и вперед, ощущая, словно физическую боль, усталость сверхнапряженного мечущегося тела, которое двигалось еще и действовало волею какой-то сверхъестественной силы, не подвластной человеческой воле. Никогда еще не знал Чабан такой страшной осенней грозы с молниями и громом. Слышал только, что был подобный ливень осенью сорокового, предвоенного года.

Он сидел в головах лесной постели Жены, под лиственницей, гладил влажные от пота волосы женщины и в отупении усталости думал: «Олиара прошла с непогодой... Значит, новолуние тоже будет беспокойным... Меняется климат. Все хуже и хуже. К чему бы?...» Молния взорвалась над лесом, озарила мятущиеся деревья. Чабан ясно, до мелких морщинок, разглядел бледное лицо Жены, часто и тяжело дышавшей, и ему показалось, что никогда еще не было оно таким красивым, как в эту минуту ее величайшего страдания, под вспышкой молнии. И никогда, пожалуй, он не испытывал еще чувства такой пронзительной жалости и любви к Жене, как сейчас. Что ж, часто приходилось ему выслушивать от нее упреки, порой не заслуженные им, но не бывало случая, чтобы он отвечал ей грубо. Не обрывал ее резким, злым словом, не глядел на нее волком — ни разу не позволил себе Чабан оскорбить белый жаулык, знак достоинства женщины, Жены. Может быть, любовь его избрала извечный земной путь и никогда не знала высочайшего полета самозабвения и восторга, но зато сохранил он верность, целомудрие и уважение к матери своих детей. И хотя испытывал он порой чувство полного одиночества рядом с Женою, однако даже в мыслях не решался пожелать другой; и даже свои неопределенные, робкие мечтания, связанные с ясноглазой молодой учительницей, он считал постыдными и виновато опускал глаза перед Женой, когда она заставляла его в минуты подобной мечты. С нею он не успел погулять при луне, не водил ее в красивый городской парк, не бывал даже ни разу в кино или театре — ничего такого, чем красна свежая любовь юноши и девушки, не испытали они. Даже волнения самого первого неуверенного поцелуя он не запомнил — вышло все так, что они жадно и торопливо познали

друг друга на узкой постели, дальше жизнь ломала их вместе, один за другим пошли дети.

В минуты и часы своего душевного безвременья Чабан горько сожалел о так и не познанной им прелести юной любви и волнения; в часы одинокие и грустные выстрадал он себе мечту: некий воздушный образ чистой женщины, верной матери и подруги, исполненный неземной красоты и прелести, которую он хотел бы воплотить в находившуюся рядом Жену. И, с великим терпением, трудом кроткого разума и сердца утверждая эту мечту, Чабан готов был пройти сквозь огонь ада, но сохранить верность своему идеалу Жены — Женщине, которая сама вынесет огни ада и сбережет честь Мужа...

Чабан наклонился к Жене и поцеловал ее в растрескавшиеся губы. «Я верю тебе, и это главное,— мысленно обращался он к ней.— С тремя сущностями связана судьба человека — с Верой, Надеждой и Терпением. Моя Вера — это ты, моя Надежда — старший сын. А Терпение всегда со мной. И если я лишусь хотя бы одного этого, то мне придет конец. Я в жизни не гонюсь за почестями, мое место здесь, среди холмов, где пасутся мои овцы. И если тебе пришлось нелегко рядом со мною, то виноват не я, пожалуй, а твоя судьба. В олиару мы встретились с тобою, в пору безлуны. Не светил нашей любви золотой месяц, и совместная наша жизнь шла в потемках. Но я не жалуюсь, я всем доволен. У меня есть дом, очаг, моя семья. Дети продолжают меня, имя мое не будет забыто на земле. И как бы ни тяжело было день-денской торчать возле овец словно столб, вечером я бываю утешен, сидя с детьми своими возле очага... А ты, милая?.. Чего тебе не хватает? Почему ты сердилась и плачешь так часто? Почему иногда, я знаю это, ты ненавидишь меня и с отвращением терпишь возле себя?.. И кто тебе нужен? Кого бы ты хотела миловать, жарко шепча ему ласковые и безумные слова любви, кого? Кто это светится, высится в душе твоей, тоскующей, как и моя, в глухую пору олиары?.. И знаешь ли ты, Жена моя, что я понимаю и жалею тебя?

Вот родишь ты еще сына мне, и назовем его Адилем — Правдивым. И мальчик наш вырастет достойным своего имени. И все внуки наши и правнуки будут верными только правде. Чего же еще, Жена? В этой алтайской степи, среди гор и лесов... здесь опорой мне можешь быть только ты. Что я мог увидеть за всю жизнь, кроме этих овечьих пастбищ? С кем поговорить, кроме скупого Шыгайбая? Ведь ты частенько не хотела ни смотреть на меня, ни разговари-

вать со мной. Так не губи меня, моя верная Жена, не губи себя и детей, ибо жизнь моя только тем и держится, что есть у меня ты и незапятнанная честь моя...»

И снова часто засверкали молнии. Сплошной грохот сыпался с неба на землю, словно кто-то, буйствуя, колотил палкой окна в темном необозримом здании вселенной. Жена Чабана вскрикнула жалобно, тонко, надрывно. Чабан привскочил и беспомощно замер, со слезами на глазах глядя на нее. Ничего он сейчас не мог сделать для нее. Самолетом можно было бы доставить ее до больницы, но самолеты лишь спились иногда Чабану, а днем они высоко пролетали в небе, недостижимые, тихо рокочущие в небе...

Жена смолкла и в молчании наконец родила. Чабан сам принял свое дитя — мальчика.

Младенца, увидевшего свет в ненастную пору олиары, мать бережно укутала своей рубашкой и положила рядом с собою. И в эту минуту вновь посветили молнии, мгновенно рисуя во тьме крохотное лицо новоявленного человека, который, раскрыв ротик, требовательно плакал и кричал.

Женщина откинула руку, отвернула лицо и иступленно забормотала, не глядя на суетившегося рядом радостного Чабана:

— В час, когда сам бог велит сказать мне правду... Как я могу сказать эту правду...

— Что? — удивился Чабан. — Что?! Что?! — крикнул он в следующую секунду, разглядев лицо Жены и сразу же постигнув всю убийственную правду. — В час великого испытания... Да, в этот час... А ну, говори всю правду! — взревел Чабан не своим голосом. — Только правду, иначе бог, который нас слушает сейчас, покарает тебя и ребенка. Чей он сын? Не мой, значит? А-а!.. Догадывался я о многом, так оно и оказалось. И не Адилем надо назвать его, а Абилетом — Приблудным... Эй! Нечистая! Зачем ты вышла замуж за меня? На что польстилась, лживая душа, или власти над смиренным мужиком захотела? Отвечай! Перед смертью лежишь, говори правду? От кого у тебя ребенок? От кого!

Жена безответно отворачивала голову и лишь слабо стояла. Чабан вскочил и стал озиаться во тьме. Шагнул в сторону, пропал в ночи, но тут же вернулся назад и присел на корточки. Он бережно взял плачущего ребенка на руки, склонился к нему искаженным, плачущим лицом и сказал:

— Пусть у тебя другой отец, но ты все равно брат моим детям и кровь в тебе казахская... Бисмилла! Будь счастлив.— Чабан положил к матери ребенка, затем стал на колени и поцеловал в холодный потный лоб Жену.

Он поднялся и тихо отступил во тьму леса. И через некоторое время с той стороны, куда он удалился, донеслось до Жены гулкое, безумное, перекрывающее шум непогоды:

— Ха-ха-ха-ха!

Так в олиару, темную пору межлуны, Чабан похоронил свою Веру.

Жена долго звала мужа, но он не отозвался. Привычная к обычной покорности смиренного Чабана, она не могла поверить, что он решится на какое-нибудь отчаянное сумасбродство. Она до утра перемогалась кое-как, не в силах встать от слабости, и терпеливо, испуганно ждала, думая: вернется еще, куда денется. И только на рассвете, когда стихла гроза и подошел к ней сын, вопрошая: «А где отец?» — она всерьез забеспокоилась, громко разрыдалась.

А вскоре она поняла, что навсегда лишилась самой надежной в жизни опоры. Муж больше не вернется к ней. Уже никогда не услышит она мирного крика Чабана, заворачивающего отару, не будут они больше сидеть и пить чай из таводги... И отныне другие женщины, у которых есть мужья, будут смотреть на нее с тайным чувством превосходства, а она вкусит полной мерой муку одиночества. Чабан ушел безвозвратно.

Золотым алтайским днем, в ясную голубую сушь погожего осеннего неба, когда там не было ни облачка, а на земле дожившие до мирной и ласковой смерти травы наслаждались вечным покоем, в пятницу, собрались у становья Чабана аульчане, долго совещались, где его искать. Так как день был мирным, тепло бабьего лета — ласковым, у людей на сердце тоже невольно царили покой и благодушие, они мирно говорили об урожае, щедром в этом году, о запасах доброго сена и попутно о том, куда бы мог запропасться Чабан. Одни полагали, что Чабану надоело все и он уехал в город, чтобы осуществить то, что всегда было ему дорого, — выучиться. Другие говорили, что нет, не учиться он поехал, а искать могилу брата, который погиб где-то под Берлином.

А в стороне от всех сидели на сухой траве, обнявшись, молоденькая учительница и старший сын Чабана — его не-

погасшая Надежда... Мальчик плакал, учительница его ласково успокаивала.

Что еще сказать по поводу странной и грустной истории Чабана? Шыгайбай, который в жизни не потратил копейки на общество, пожертвовал на поиски Чабана 21 рубль 7 копеек. Сказывали, что после этого неслыханного поступка он как-то сник и стал даже попивать. «Грош всему цена, вот что», — любил теперь говорить Шыгайбай.

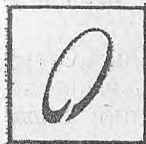
Жена Чабана переехала в аул с ребяташками. Отару взял другой чабан.

Сыну, которого родила в олиару, Жена дала имя Алдапыш. Вчера в магазине она купила пол-литра водки, и аульские сплетницы до сих пор судачат — для кого?..

Старший сын Чабана недавно получил в школе первую премию за детский рисунок. Учительница вышла замуж за учителя...

Зоотехник? Ближе к вечеру, говорят, он сажился на коня...

ОСИРОТЕВШИЙ ВЕРБЛЮЖОНОК



двукратно в аэропорту Актау совершил посадку белоснежный лайнер. По трапу вместе с другими пассажирами сошел модно одетый, кудрявый, в темных очках, высокого роста казахский парень. В руках у него ничего не было, кроме «дипломата». Видимо, его никто не встречал, потому что он решительно прошел на стоянку такси и сел в машину.

Его имя, данное родителями, было Тасжан, однако в наше стремительное время товарищи звали его просто — Тас. Он был талантливым архитектором, и через три месяца ему надо было сдавать проект нового города...

На берегу моря ровно дышал мощный город Актау. Яркие высокие ряды домов упирались крышами в синее небо. Если посмотреть издали или с большой высоты на этот город, он может показаться отарой белоснежных овец, мирно пасущихся на берегу моря. Однако в ясные безветренные дни весь город окутывался сизым удушливым туманом, из которого вырывались к солнцу лишь самые высокие здания.

С первого взгляда казалось, что Актау ничем не отличается от других городов с многомиллионным населением, но была в нем и одна особенность. Обращали на себя внимание красивые шестиэтажные дома на сваях, идущие гуськом один за другим по берегу моря. Ветер, дующий днем из степи, ночью — с моря, не оставался в заточении каменных домов, а шурша проходил между высокими сваями и обмахивал город, освобождая его от газов и пыли.

Местные жители называли свой город, появившийся в последние двадцать лет на границе необъятного моря и такой же необъятной степи, Актау. А синее море, казалось переливающееся через край, но так никогда и не вышедшее из своих берегов, — Атырау. Это море для засухливой степи Мангыстау, суровой и зимой, и летом, было вроде глотка живительной влаги. Однако казахов, освоившихся на берегу Атырау и живших в городе, можно пересчитать по пальцам. Хотя когда-то это место было родиной их предков, дорогой для сердца вотчиной, тем не менее народ, привыкший кочевать по степи и ставить свои стойбища вдали от моря, ни-

как не мог обжиться в городе, который появился как из-под земли, прямо на их глазах. Только в последнее время они начали переезжать сюда и осваивать новые для себя специальности. Когда до их сознания дошло, что в городе, гудящем как пчелиный улей, очень удобно и выгодно существовать, они перестали чураться его. Даже сожалели о своей прошлой жизни, выглядывая из окон высотных домов на море: «Зря мы вразброс скакали по степи».

Что ни говори, а цивилизация неузнаваемо изменила не только этот край, но и всю жизнь, настроение и повадки людей. Кто мог подумать, что в прокопченной степи Мангыстау вырастет город? И все-таки он вырос.

Невольнo напрашивалась мысль, что около этой необъятной синевы моря в будущем должны выстроить дома еще чудеснее, чем в Актау. Но оставим эти надежды для будущих поколений и дадим слово сыну современной эпохи...

«Уже третий день я в этом городе. Отхватил себе место на самом верхнем этаже гостиницы «Интерконтиненталь».

Мне уже перевалило за сорок, по специальности я архитектор. Был женат, но в позапрошлом году развелся и сейчас живу один.

Двадцать лет назад я участвовал в создании первого проекта этого города. Моей дипломной работой была архитектура города Актау, который намечалось тогда построить на берегу Атырау. И мой труд не пропал даром; через двадцать лет на земле появился новый город. Да еще какой! На всемирном конкурсе мы получили главный приз. Благодаря этому я не раз бывал за границей. Вчерашний потомок скотовода поднялся до уровня известного человека, авторитетного лица. И вот теперь, где бы я ни находился, всегда тосковал по своему детищу, по суровому и доброму Актау. И в этом есть причина, ведь я вроде отца этого города, по моему проекту он появился на свет. Все наши мысли, все идеи, бывшие абстрактными, воплотились в нем, превратились в белоснежные дома, ставшие приютом для тысяч людей.

Выйду на балкон гостиницы, смотрю на город, сверкающий своими лучистыми окнами, и удивляюсь. Неужели и правда это воплотились в материале все мои черточки на бумаге, неужели передо мной плоды моего труда, над которым я корпел ночами? Неужели я подарил людям радостный, счастливый смех, зажег неугасимый огонь жизни в этом кипучем котле города? Да, братцы, что еще есть лучше

в мире, лучше специальности архитектора — искусства, которое рождает молчаливую мелодию жизни, одушевляет мертвый камень и песок?

В этих домах, похожих на ласточкины гнезда, рождаются, живут и умирают люди. Пройдут многие годы, и меня уже не будет на свете, но останется Актау, в создании которого и я принимал участие. Нет силы, способной стереть его с лица земли. И смерть не страшна, когда мечта исполнена. А мечта в том, чтобы оставить за собой благородное дело, отвечающее нуждам народа...

Пожалуй, сегодня лучше пораньше лечь спать, а утром встать с восходом солнца и сходить к морю, вдохнуть его влажное, прохладное дуновение, почуять душой древнее море Атырау».

Тас принял душ, распахнул настежь двери балкона и лег, собираясь с наслаждением заснуть. Но не тут-то было, его не оставляло в покое чувство самодовольного удовлетворения, что он причастен к созданию этого большого города на берегу моря. Мысли о своей значимости не давали уснуть. Он поворочался с боку на бок, наконец повернулся на спину и закурил.

В дремлющей ночной тишине раздавался шум машин, из распахнутой настежь двери веяло морской прохладой, однако в ней чувствовался приторный запах ила, гниющих на берегу водорослей. Уже второй день Тас не находил себе места от этого неприятного запаха. Пробовал закутывать голову одеялом, но тогда совсем задыхался без воздуха. Закрывал дверь на балкон, но в комнате становилось душно от жары и табачного дыма. Он обливался потом и сам себе становился противен. Снова приходилось открывать дверь на балкон.

Во рту от жары пересыхало, но вода из-под крана была непригодна для питья, а вода в графине, оставленная дежурной, была теплая и невкусная. Тогда он пошел в буфет, чтобы купить пару бутылок минеральной, но там узнал, что уже пять дней в городе ее вообще не было.

После курения еще сильнее захотелось пить, во рту было горько. Не зная, что делать, он голый вышел на балкон. Запах гнили донесся с моря, и его чуть не стошнило. Впервые он пожалел, что приехал сюда. Все его мысли о своей значимости и незаурядности выветрились из головы.

Давно уже привыкшие к любым запахам Атырау, местные жители пораскрывали форточки, окна, балконные две-

ри и спали. Один только Тас, обеспокоенный и раздраженный, словно на него напала туча комаров, метался по балкону, по комнате, беспрестанно дымил сигаретой и смотрел сверху на город, лежавший в объятиях мертвого сна.

С высоты Актау был виден как на ладони, мелькавшие внизу люди казались безликими муравьями. Люди... И тут он впервые по-настоящему стал вникать в смысл своего дела. Когда работал над проектом, не замечал ничего, кроме чертежей, одни только черточки вдоль и поперек, рассчитанные с филигранной точностью, ни один человек не представлял перед его глазами...

«Два месяца назад меня попросили участвовать в создании проекта нового города, который намечено было построить на берегу Атырау. Я, конечно, не задумываясь согласился. Оказывается, в этих краях снова нашли нефть.

Я согласился, потому что предложение участвовать в проекте — это доверие моему таланту. Вообще-то недостатка в архитекторах нет.

Безусловно, город снова будет построен на сваях; чтобы происходила естественная очистка воздуха, необходимо применить прежний метод. Однако надо изменить внешний облик города. Вот проблема, над которой придется поломать голову. Изменить, но как? А что, если за основу взять проект Актау? Ничего страшного, если дома, построенные в одном веке, будут похожи друг на друга. Потомки увидят почерк эпохи, и только. Ведь сходство есть у всех городов: у Парижа, Вены, Ленинграда... То, что мы поставили дома на сваи, характерно для второй половины двадцатого века, достаточно и этой приметы. Нашему времени нужно дешевое, выгодное и быстрое строительство, поэтому...»

Со двора гостиницы «Интерконтиненталь» послышался до того ужасный крик, что разбил в пух и прах фантазии Таса. Сначала он подумал, что это воет одна из бродячих собак, тем более что городские остроухие собаки, услышав скулящий голос, залаяли с балконов домов. Потом он понял, что этот дикий, надрывный голос издает вовсе не животное, а женщина, умоляющая о помощи.

Тас перегнулся через перила балкона, посмотрел вниз, но ничего не увидел. Зажегся свет в окне жилого дома напротив, и на балкон вышел мужчина в полосатой пижаме с биноклем в руках. Сначала он осмотрел в бинокль гостиницу,

потом начал отыскивать место, откуда доносились вопли. Тас не выдержал, быстро оделся и вышел в коридор. Как пазло, лифт не работал после часа ночи, и ему пришлось спускаться пешком с десятого этажа по извилистой лестнице.

Дежурный гостиницы, почтенный аксакал с бородкой, проговорил лениво, неохотно открывая двери на улицу:

— Зачем тебе это, сынок? Наверное, какая-то пьяная из ресторана, стоит ли связываться?

— Но, аксакал, ведь просят о помощи.

— Что их жалеть, этих городских баб, которые шляются по ресторанам,— буркнул дежурный, однако выпустил Таса.

На улице запах гнили чувствовался еще сильнее, и Тас, зажав нос, пробрался под сваи, на которых стояла гостиница и откуда доносился крик. Он стал поднимать свернувшуюся клубочком и стонущую женщину, вежливо спросил:

— Что с вами?

Она внезапно ударила его по лицу и крикнула:

— А тебе чего надо, дурак?

Удар был таким неожиданным, что Тас опешил. Он увидел перед собой распухшее пьяное лицо, по которому размазалась от слез черная тушь для ресниц. В мертвенном свете гостиницы это белесое лицо показалось ему отвратительным, словно какое-то чудище вышло из болота. Некоторое время она смотрела на него холодными сверкающими глазами, затем схватила за плечи и стала трясти, истошно крича:

— Эй, люди! Где вы?! Опозорил ведь, изнасиловал! Помогите! О боже! Помогите, эй, люди!

Не осталось, наверное, ни одного дома вокруг, в котором бы не зажегся свет. Полуголые люди стали высовываться из окон, с балконов, чтобы узнать, кого там грабят или убивают. Весь город зашевелился как муравейник, в который ткнули палкой. Тас чуть ума не лишился. Он ни о чем не думал, лишь бы только вырваться из цепких пальцев. Однако убедился, что нет на свете сильнее пьяной разъяренной женщины. Он едва добрался до порога гостиницы, таща за собой перепачканную, цепляющуюся за него фурию. «О, позор, в какую передрыгу влип»,— с тоской подумал он. А та продолжала орать на весь город:

— Эй, люди, помогите!

— Отпустите же меня! В чем я виноват перед вами? В том, что хотел спасти вас, что ли?

— Что ты болтаешь? Ты хотел изнасиловать меня! Эй, люди, помогите!

— Перестаньте болтать чепуху!

Из гостиницы вышел милиционер, и Тас подумал: «О боже, опозорился-то как! Что теперь делать?» Увидев милиционера, женщина распоясалась еще сильнее.

— Он отнял у меня деньги, опозорил! Он же и напоил, товарищ милиционер! — визжала женщина.

— Вранье! — крикнул взбешенный Тас. Потом темного пришел в себя, опомнился. — Врет она. Вся моя вина в том...

— Смотри, как увиливает! — перебила женщина, размахивая руками.

Тас, который чувствовал себя и униженным, и обиженным, отступил в сторону, но теперь его схватил за рукав милиционер.

— Пройдите оба в комнату милиции.

— Жигит не виноват, — вмешался дежурный гостиницы. — Я все видел, единственный свидетель — это я. А уж я-то, доживший до возраста пророка, не могу соврать.

— Эй, старый хрыч, борода есть и у козла, не торгуй ею где попало! — сказала женщина.

— О непутевая, зачем ты позоришь невинного парня? — возмутился старик. — Ведь он пошел помочь, когда ты лежала у дома и скулила. Кто в Актау не знает тебя? Снуешь как змея, обиваешь пороги ресторанов.

— Пишите, товарищ милиционер, — рявкнула женщина, сверля несчастного старика своими красными пьяными глазами. — Он оскорбил мою личность. И сам он несколько раз пытался опозорить меня. Только не на такую напал.

— Астагифир алла! ¹ — простонал старик, хватаясь за сердце. Потом ударил женщину по лицу. — Блудница! Блудница! Сгинь, нечистое отродье!

— Перестаньте, аксакал! Не распускайте руки в рабочее время, — сказал милиционер.

— Запри и этого вместе с ним! — бесновалась женщина, уперев руки в бока. Пощечину старика она как-то не приняла во внимание, словно мимо пролетела надоедливая муха.

— Гражданин, как ваша фамилия? — спросил милиционер у Таса, который стоял словно во сне.

— Она ведь сказала, что знает меня, спросите у нее, — заулыбался тот.

¹ Возглас недоумения, возмущения.

— Если и сказал свое имя, все равно соврал, — даже глазом не моргнув, отозвалась женщина.

— Меня зовут Тас, фамилия Тасболатов.

— Ложь! — закричала женщина. — Таких имен не бывает.

— Не будет же он менять свое имя, которым назвал его отец! — с возмущением подключился к разговору аксакал, но милиционер сказал ему:

— Аксакал, вы пока идите, я вызову вас потом.

Тот, недовольно бормоча что-то под нос и покачивая головой, вышел из комнаты.

— Где ваш паспорт? — спросил милиционер у Таса.

— В номере.

— А ваша специальность?

— Архитектор.

— Когда и откуда прибыли?

— Сутки назад, из Алма-Аты.

— С какой целью?

— Дело в том, что я проектировал город Актау. Так что он мне вроде сына родного. Еще раз хотел посмотреть на него, узнать, какие люди здесь живут. Теперь сожалею.

— Почему? — спросил милиционер.

— Потому, что, выходит, построил город ради вот такой женщины, лишенной совести и чести. В общем, зря приехал.

— Все врет, — убежденно сказала женщина. — Если ты построил город, то почему об этом никто не знает? Почему твое имя не выбито на граните?

— Имя архитектора — сам город. Имя не пишется только буквами, а пишется иногда камнем, кирпичом, бетоном, стеклом...

— Гражданин Тасболатов, оставьте свою философию, пока идите в свою комнату, — сказал милиционер, затем повернулся к женщине: — А с вами, гражданка, поговорим по-другому.

Та завизжала:

— Отпускаешь подлеца?! Невинную наказываешь?! Подам на тебя жалобу в облуправление!

— Жалуйтесь куда хотите. Предупреждаю: и близко не подходите к гостинице «Интерконтиненталь», запру в тюрьме.

— Это мы еще посмотрим, кто кого запрет. Да знаешь ли ты, что твой начальник... мой...

Дальнейшего Тас не расслышал, он быстро вышел, плот-

но прикрыв за собой дверь, радуясь, что избавился от такой напасти. К нему подошел старик дежурный, который до этого прохаживался взад и вперед по вестибюлю, заложив руки за спину.

— Сынок, помни одно,— заботливо сказал он.— Никогда не подходи к городским бабам, замарают, оговорят, особенно когда напьются да станут плакать. Не верь их слезам. О аллах, что нас ждет впереди!

— Отец, это для меня хороший урок. Больше я к ним не подойду, пускай хоть вешаются. Но сейчас мне все-таки повезло, милиционер оказался умным парнем.

— Да, люди бывают разные,— согласился старик, потом снова пробормотал: — О аллах, что нас ждет впереди!

Пока Тас пешком поднимался на десятый этаж, совсем выбился из сил. Сердце отчаянно колотилось. Он удивился этому. Ведь как-никак мастер спорта по вольной борьбе и в последнее время, несмотря на свой возраст, занимался каратэ. И вот выдохся, как инвалид, с трудом поднялся на десятый этаж. «Наверное, это все нервы»,— подумал он.

Действительно, с нервами у него было не все в порядке. До утра не сомкнул глаз. Только начинал засыпать, перед ним появлялась эта яростная бабенка, словно взбешенная верблюдница. Он курил, умывался холодной водой. В общем, никогда не чувствовал себя таким уставшим и вымотанным, как в эту ночь. На балкон выходить почему-то не хотелось.

В такие моменты вспоминаются почему-то только самые плохие и неприятные случаи из жизни. Нервы Таса были на пределе то ли из-за этой визгливой наглой женщины, то ли оттого, что в туалете беспрерывно бежала вода. Может быть, там разъело резьбу или что-то сломалось, но вода все шуршала и шуршала, не останавливаясь. Тас попробовал исправить, заглянул в бачок, подергал поплавок, но ничего у него не получилось...

«Все-таки зря я сюда приехал. Лучше было бы махнуть на родину к своим, которые сейчас, в эту пору, откочевали на джайляу, чем сидеть тут, в душном городе. Там бы я встряхнулся, развеялся, попил бы кумыса, поскакал на коне. Но что толку от моих сожалений? С тех пор как я был последний раз в ауле, наверное, прошло уж сто лет. Тогда отец очень рассердился из-за того, что я редко к ним приезжаю. Он с досадой сказал: «Эх, сынок, лучше бы ты сосчитал да

принял мою скотину, чем отдавать ее на растерзание волкам и прочим хищникам. Я ведь уже старый стал. У меня нет близких родичей, которым я мог бы доверить имущество. А ты мой единственный сын, но шагнул не в нашу сторону, отпрянул от нас словно от чумы. Приезжай, если выберешь время, отдохнешь от своих пустых бумаг и от Алма-Аты. Если ты строишь дома, то остальные казахи жуков собирают, что ли? Они ведь тоже делом занимаются. И что с тобой случилась за напасть такая, не хочешь видеть свой родной край? Я уже прожил свои семьдесят лет, но в городе никогда не бывал и не хочу туда. Нам со старухой хватит и покосившейся лачуги. Казах не сдох с голода, хотя и не клал один кирпич на другой, не строил вычурных дворцов. Если уж ты так силен, сынок, почему не построил те свои дома в ауле?»

Я тогда не знал, что ответить. Но понял одно, что отец не принял бы никаких моих соображений и рассуждений на эту тему. Характер старика известен — если уж он что решил, его не склонишь на свою сторону никакими силами, хоть трактором тащи.

Он, конечно, расстраивался еще и из-за того, что я развелся с женой. В этом он тоже винил меня. Как будто я первый и последний на свете человек, который развелся с женой! Во всяком случае, мой авторитет в глазах родичей сильно пострадал. Однако никто не спросил, кто виноват в этом разводе, никто не разобрался в сути вопроса, да и не пожелал разбираться. Для них было ясно одно, что всегда в таких случаях виноват мужчина. Никому не было дела до того, что я ушел от жены с одним чемоданом, как конь, освободившийся от ненавистного хомута, оставил все вещи и даже свои любимые книги.

Я никогда не противоречил ни одной ее прихоти, пальцем не тронул и все равно оказался виноват. А она ровно через полгода привела в дом другого мужчину. Теперь оба живут припеваючи, ни в чем недостатка нет. А я живу как бродяга. Впрочем, так мне и надо. Проявил, называется, великодушие. К чертям такое великодушие! Надо было судиться да разделить все поровну.

С чего же начались наши передраги? Она сказала: «Ты такой недотепа, не умеешь добывать деньги, как другие. Кроме месячной зарплаты, никакого дохода. Чем сидеть в городе, лучше бы строил птицефермы да свинарники, купался бы в деньгах».

Архитектура для нее не искусство, а какие-то черточки на бумаге, никому не нужные. Ну, разве можно жить с такой дурой? И я понял, что ей нужен покладистый муж, лишенный совести, благородства, верности, способный загребать деньги, брать у людей, а не давать. А такие, как я, растяпы, способные жить на месячный оклад, подобно овце у кормушки, ей не нужны... Но, боже мой, какой она была красавицей! Как степной тюльпан, который вот-вот распустится. Ни одного изъяна не заметишь в ней. И она сама полюбила меня. Не пропускала ни одного соревнования, где я участвовал, преподносила с улыбкой цветы, когда я побеждал. И вот за какие-то десять лет вдруг превратилась в бабу-ягу. Просто трудно поверить.

А когда мы метались в поисках квартиры, она была тихой как овечка, делила поровну и радости, и горести; как говорят, укрывалась со мной коротким одеялом жизни, когда ноги прикроешь — голова под ненастьем, голову спрячешь — ноги мерзнут. Но как только наш быт наладился, вдруг начались ссоры. Почему? Не могу понять. Казалось бы, всего хватало. Вот уж правда — надо съесть пуд соли с человеком, чтобы узнать его. Только тогда, наверное, и поймешь человеческую душу, когда вместе испытаешь и невзгоды, и славу. А мы, наивные, думали, что знаем друг друга давно. Оказывается, ничего мы не знаем, и прежде всего самих себя. Наверное, самое сложное и трудное в этом мире познание человека, его души».

Почти всю ночь не сомкнувший глаз, весь разбитый и помятый, рано утром Тас вышел на балкон. Из-за волнующегося моря прямо перед ним поднималось солнце, словно медная чаша над огнем. Море, сиявшее в лучах солнца, полыхало пламенем, и мягко, словно баюкая кого-то невидимого, покачивались ярко-алые волны. Казалось, солнце соединяет небо и море в одно целое. Рубиновые сверкающие лучи тянулись за светилом по водной поверхности, постепенно удаляясь от берега. Куда-то пропал неприятный запах гнили, воздух стал чище, появилась прохлада.

Тас вдохнул полной грудью, и как будто разум и сознание понемногу стали возвращаться к нему. Город постепенно пробуждался. Если приглядеться внимательно, то вдали, за фиолетовыми сопками, можно увидеть машины, добывающие нефть. Как будто одушевленные существа, какие-то допотопные животные, подымали и опускали они головы, а

еще были похожи на стадо пасущихся верблюдов среди колючек.

Город располагался на самом берегу моря, и когда стоишь на верхнем этаже, на балконе, то возникает такое впечатление, будто плывешь по этому морю.

Вдруг Тас с удивлением увидел, что по берегу идет девушка и ведет за собой верблюжонка. Не веря себе, он протер глаза и снова посмотрел на берег. Действительно, на границе всемогущей цивилизации и бескрайнего моря девушка в голубом платье вела верблюжонка с плюмажем из перьев филина между ушами животного. Неторопливо вышагивала она и даже глазом не повела на высотную гостиницу «Интерконтиненталь», где на балконе стоял он. Как будто этой гостиницы и вовсе для нее не существовало. С какой-то неповторимой величавостью, с нежными движениями, от которых веяло стариной, мягко ступала она, ни на что не обращая внимания. Черные волосы, заплетенные в две косы, лежали на спине, голубое платье легко колыхалось.

Тасу она показалась русалкой, вышедшей прямо из моря со своим верблюжонком. Ему захотелось увидеть ее лицо, но с высоты десятого этажа оно было неясно. Тас весь подался вперед, словно собирался выброситься с балкона.

Девушка с верблюжонком уже прошла гостиницу и едва маячила в зыбком мареве горизонта. Откуда она появилась, куда ушла — все было загадкой для Таса. У него заныло сердце, им овладело какое-то непонятное чувство сожаления.

На балконе соседнего дома появился пожилой мужчина в полосатой пижаме и посмотрел в бинокль вслед ушедшей девушке. Тас почему-то приревновал его к ней.

На небе не было ни горсти туч, что обещало днем небывалый зной. Солнце едва поднялось на высоту аркана, а уже стояла духота, нечем было дышать.

Тас быстро оделся, спустился вниз, перекусил в буфете и пошел на берег моря. Здесь было прохладнее, с моря тянул свежий ветерок. Волны, снующие проворно, как ящерицы между огромными камнями, ударяли в огромный валун, на котором сидел Тас, и его обдавало мелкими брызгами. Он разделся и прыгнул с валуна в море. Вода была очень теплая, и тем не менее плавание взбодрило его, он почти избавился от ночных наваждений. Проплыл метров сто и вернулся на берег.

Он растянулся на спине широкого камня, навеки посе-

лившегося на берегу Атырау, и взглянул на бездонное ясное небо. Оно было такое же синее, как и море.

Мягкий шум волн, прохлада, нежные солнечные лучи, которые будто ласково поглаживали его тело, — все это влило в душу Таса благодатную силу и навеяло какие-то неясные надежды на будущее. Он забыл прошлое, в котором было немало огорчений. В его сознании словно цел соловей, неожиданно поселившийся там. «А, пускай все пропадет пропадом!» — пробормотал он, положил руки под голову и закрыл глаза. Постепенно высыхали мелкие бусинки воды на теле, и вскоре ему показалось, что солнце расплавил его всего, он растворился в нем, пребывая между сном и явью.

С балкона дома напротив гостиницы за ним наблюдал мужчина в полосатой пижаме. Словно сторож этого города, он не пропускал ни одного движения, заслуживающего внимания.

Над головой Таса совсем низко кружили чайки, чуть не касаясь его крылами, но он не видел этого...

«Как же все-таки спроектировать новый город, который намечено построить на берегу Атырау? Нельзя повторять планировку Актау. Надо оставить только сваи, которые оправдали себя, а дома построить по-другому.

Всякий город подобен человеку, у которого свое лицо, свой облик, характер, повадки. Город не только сборище построек, занимающих часть какого-то пространства, не только жилище с голым скелетом стен и перекрытий, город — зеркало эпохи, дающее представление о культуре, духовном богатстве и психологии его жителей. Значит, он должен подняться до уровня архитектуры, отвечающей современным эстетическим требованиям. Город должен быть завершенным организмом, единым ансамблем. Только тогда мы сможем создать вечные творения вроде Ленинграда, Парижа, Вены... Впрочем, строить только ради сегодняшнего дня — ошибка.

Я готов поспорить и с тем, что искусство архитектуры — окаменевшая музыка. Искусство архитектуры имеет свой живой облик, с вечно поющим сердцем, мозгом, ничего нет в этом искусстве окаменевшего.

Когда мы строим только ради того, чтобы удовлетворить потребности своего времени, это неправильно. Ведь архитектура никогда не принадлежит определенному отрезку

времени, хотя мы и пользуемся городами сегодня. Они и послание прошлого в будущее, и наследство будущего от прошлого, весть будущему от нас, ныне живущих, наше письмо потомкам, от которых мы уже никогда не получим ответа.

Но куда это годится, когда стены наспех построенных домов трескаются и чуть не падают?

Хотя мы сидим среди огромного богатства, используем чудовищную силу техники, однако не смогли подняться до высот архитектуры прошлых веков. А ведь в те времена все строилось вручную. Все это должно заставить нас стыдиться перед будущим поколением. Хотя бы одно здание в год строилось своеобразным, уникальным, как-то нестандартно. Когда мы избавимся от стандартных домов, похожих на спичечные коробки, то...»

Над морем с криком летали чайки в поисках корма, солнце стало не на шутку припекать. Человек в полосатой пижаме исчез со своего балкона: видимо, ушел на работу.

На балконах гостиницы стали появляться люди. Опершись локтями о перила, они смотрели на море. На седьмом этаже, лениво потягиваясь, появилась светловолосая девушка. Она сняла платье и стала загорать. Тас подумал почему-то, что человек с биноклем рассматривает именно ее, как она одевается, раздевается...

Тас опять закрыл глаза, его сморило, и он вроде бы уснул. Между тем на берегу появилось множество людей, их загоревшие тела мельтешили, как известное всем школьникам броуновское движение.

Город окончательно проснулся, забурился, загудел и перешел на привычный для себя ритм. Люди куда-то торопились, словно хотели поскорее прожить свою жизнь, покончить со своим существованием. Один бог знает, почему человек с надеждой и нетерпением ждет каждого следующего дня, совсем не думая о том, что эти дни и годы проглатывают жизнь. Счастливы по-настоящему лишь дети, которым ничего не ведомо, кроме того, что на берегу тепло и можно купаться сколько захочешь. Взрослые же сидят и ломают головы над тем, что будет завтра и будет ли вообще это завтра...

Вечером Тас пошел в ресторан, так как делать было нечего. Жители этого города не могли пожаловаться на свой тощий карман; в общем, как говорят, гребли деньги лопатой. Нефть обеспечивала им безбедное существование.

К зарплате каждого рабочего добавлялась аккордная плата. Поэтому в Актау стремились многие, даже из Сибири, с Кавказа. Стоит только посмотреть на повадки, поведение, ясные довольные лица, смех представителей разных национальностей в ресторане...

Покачивая бедрами, к Тасу подошла официантка.

— Что будете заказывать?

— Сначала принесите меню.

— А, вы еще не смотрели, — протянула официантка и, лениво шагая, удалилась.

В ресторане было много людей, не иссякал поток парней с девушками. Тас специально сел за двухместный стол, но пока никто не появлялся, вроде него, один. Молодежь, пившая в основном шампанское, начала проявлять нетерпение и громко вызывала музыкантов. Официантка, которая исчезла надолго, снова появилась перед Тасом.

— Ну, так что же вы решили заказать?

— Для начала принесите меню, — жестко сказал Тас.

Официантка вспыхнула:

— Что вам,лень попросить у соседа?

Она взяла с ближайшего столика меню и швырнула его Тасу. Он хотел уж было выговорить ей за грубое поведение, но, вспомнив ночной случай, прикусил язык.

— Сто грамм коньяку, салат, бифштекс, бутылку воды, — скороговоркой произнес он.

Официантка быстро записала заказ, пожала плечами и ушла. Тас пригорюнился и подумал: «Пока что в этом городе, кроме ругани, я ничего не слышал». В это время около него раздался вежливый женский голос:

— Простите, у вас свободно?

Не поднимая головы, он проворчал:

— Свободно. Можете усаживаться.

— Спасибо. А вы уже заказали?

— Заказал.

— Тогда мне долго придется ждать.

Тас поднял голову и увидел перед собой совсем еще юную девушку, голубоглазую, с белыми свежими щеками; светлые распущенные волосы свободно падали на плечи.

— Разрешите меню?

— Пожалуйста.

Подошла официантка, она принесла Тасу бутылку воды, коньяк и салат.

— Получите с меня заказ, — попросила девушка.

— Придется подождать, — сухо ответила официантка.

— Я тороплюсь. Понимаете, жду звонка из Риги.

— Сюда приходят только те, кому некуда спешить. Если торопитесь, идите и покушайте в буфете.

Девушка промолчала, не желая затевать спор. Все-таки официантка приняла у нее заказ, хотя всем видом показывала свое недовольство.

Раздался звон меди: это музыканты приступили к своей работе. Девушка и жигит довольно долго просидели молча. Тас исподлобья поглядывал на нее. Ему очень нравились ее волосы, которые при электрическом освещении отдавали цветом начищенной бронзы. Наверное, считая, что сидеть за одним столом и молчать неприлично, девушка улыбнулась и сказала:

— Не познакомиться ли нам?

Тас понял свое упущение и сказал несколько виновато:

— Извините, меня зовут Тас.

— А меня Вайра. Я из города Елгави в Латвии. А вы казах?

— Казах, из Алма-Аты.

— Слышала, что Алма-Ата красивый город, но побывать не пришлось.

— А мне пришлось пару раз съездить в ваши края. Вообще прибалтийские города мне очень нравятся. Рига, Вильнюс, Таллин очень красивые города, своеобразные, у каждого свой характер. И какая чистота везде.

Словно опасаясь, что сказал лишнее, он умолк.

— Вы случайно не архитектор? — улыбнулась Вайра.

— Угадали. Мне кажется, и ваша специальность лежит где-то близко?

Вайра рассмеялась. Резким движением головы откинула назад волосы и сказала:

— Мы с вами оказались коллегами.

— Тогда я знаю, с какой целью вы приехали сюда. Вы хотите дать заказ на материал Мангыстау, который называется ракушечником. Разве не так?

— Наверное, вы ясновидец.

— Да нет. А что, если я вам палю немного коньяка? Или вы совсем не пьете?

— Иногда немного шампанского, коньяк — нет, — она покачала головой.

— Тогда закажем шампанского.

Когда официантка принесла заказанное девушкой, Тас попросил бутылку шампанского.

— А не много ли, целая бутылка? — сказала Вайра.

— Ничего особенного, — улыбнулся Тас. — Давайте будем есть.

Оба принялись за еду. Между тем музыка ударила с новой силой, потом на маленькую сцену вышла певица в длинном шуршащем платье, похожем на рыбу чешую. В руках она крепко сжимала микрофон, словно боялась, что его у нее отнимут. Мужская половина зала плотоядно уставилась на белые плечи певицы.

Весело пританцовывая, официантка принесла бутылку шампанского. Тас ловко открыл ее, пенисто налил в бокал Вайры и сказал:

— Ну что ж, давайте поднимем наши бокалы за знакомство.

— Давайте.

После второго бокала на лице у Вайры появился легкий румянец. В это время начались танцы, и один из парней, которые сидели за соседним столиком, нахохлившись, подошел к ним и пригласил Вайру. Она тут же ответила:

— Извините, я не танцую.

Однако парень не отставал:

— Не позорьте меня перед товарищами, ну пожалуйста...

— Вы позволите? — спросила Вайра у Таса, слегка покраснев.

— Как хотите, — Тас пожал плечами.

Когда танец закончился, парень оставил Вайру и прямоком направился к своему столику. Огорченный такой невежливостью, Тас вскочил и придвинул стул Вайре.

— Спасибо, Тас, — улыбнулась Вайра. — Ну, за что будем пить?

— За вас.

— Нет, давайте лучше выпьем за нашу профессию.

— Согласен.

То ли шампанское ударило им в голову, то ли понравились они друг другу, но на следующий танец вышли сами. Во время танца Вайра сказала:

— Вы, оказывается, мастер современных танцев. Наверное, часто бываете в таких местах?

— В каких?

— Ну, где танцуют.

— Вы, конечно, имеете в виду рестораны? Не очень часто, но нельзя же отставать от времени из-за старости, — усмехнулся Тас.

— Извините, а сколько же вам лет?

— Перевалило за сорок.

— А на вид вам не дашь и тридцати.

— Спасибо за комплимент. Русские говорят, что неказистая собачка до старости щенок.

— О нет, зря вы так шутите. Сорок лет, как говорили древние, возраст настоящего мужа. Именно в этом возрасте мужчина в расцвете ума и здоровья.

Они вернулись за свой стол. Однако музыка снова началась, и появился тот лохматый парень, который уже приглашал Вайру. Она не хотела танцевать с ним, но парень настаивал. Тас невольно вмешался:

— Оставь нас в покое, дружок. Дай отдохнуть по-человечески.

— А ты что, ревнуешь? — ухмыльнулся лохматый. Постоял еще немного, поглядывая на них, и вернулся к своим.

Его товарищи расхохотались. Парень огрызнулся и хмуро взглянул на Вайру. «О боже, только бы опять не получился скандал!» — невольно подумал Тас. А Вайра сидела тоже не очень веселая.

Тут в ресторан вдруг вошла вчерашняя буйная красотка, хорошо одетая, накрашенная. Сердце у Таса невольно дрогнуло, он чуть не выронил вилку. Вайра с удивлением посмотрела на его побледневшее лицо, проследила за его взглядом и увидела красивую женщину, которая оглядывалась по сторонам, словно кого-то отыскивая.

— Ваша знакомая? — спросила Вайра.

— Да нет, — сказал Тас, неопределенно пожав плечами.

— Ну что ж, мне пора, — сказала Вайра. — Должны звонить из Риги.

— Не спешите, давайте еще посидим немного, — попросил Тас, не спуская глаз с той женщины. К счастью, вчерашняя знакомая не узнала его или сделала вид, что не узнала; дробно стуча каблучками, прошла мимо. «Какая она все-таки красивая, чертовка, а я вчера и не разглядел», — невольно подумал Тас, довольный в душе тем, что женщина не обратила на него внимания.

— Кажется, вам не весело, Тас? — спросила Вайра. — А скажите, какое значение имеет ваше имя? Что значит Тас?

— По-русски это значит — камень.

— Интересно. Но мне кажется, оно не подходит к вашему мягкому характеру.

— Почему вы так думаете? Знаете, как говорят, лицо лишь ширма, настоящий человек — за ней.

— Есть и другие слова, — возразила Вайра. — Говорят: от

благонравного облика не отворачивайся. Лицо — зеркало души. Но, извините, мне все-таки надо идти. Жду звонка.

Девушка открыла сумочку, чтобы заплатить, но Тас запротестовал:

— Нет уж, сегодня разрешите заплатить мне.

Он ушел искать официантку, а когда вернулся, застал около Вайры того парня, который с ней танцевал. «Опять я попаду в передрыгу, это уж как пить дать», — с досадой подумал он. Увидев Таса, девушка с облегчением встала из-за стола. Парень потянул Таса за рукав:

— Я хочу кое-что тебе сказать.

— Ну, говори.

— Только не здесь.

— Бросьте, Тас, идемте, — вступила в разговор Вайра.

— А вы, мадам, не вмешивайтесь, — нахохлился лохматый.

— Ну что ж, раз так, выйдем на улицу, — в сердцах сказал Тас.

— Перестаньте, Тас, не связывайтесь, — продолжала уговаривать его Вайра. — Это ведь местные петушки.

— Попридержи язык, — мрачно сказал парень и плюнул на пол.

Посетители ресторана с любопытством провожали их взглядами, перешептывались, как будто им очень хотелось, чтобы эти двое подрались тут же, между столиков. Ни официанты, ни дежурный у входа не пытались вмешаться, разнять их, успокоить. Впрочем, у них своя работа, свои обязанности.

— Ну, что ж, братишка, ничего не поделаешь, пошли, — сказал Тас спокойно, хотя вся эта история ему очень не нравилась.

— Я тоже пойду, — сказала Вайра и взяла его под руку.

— Да нет, вы лучше идите в свою комнату, — возразил Тас. — Я вам позвоню.

— Если сможешь, — ухмыльнулся лохматый.

Все трое вышли из ресторана, словно друзья после хорошего застолья.

— Пойдем на берег моря, — сказал Тас, желая уйти подальше от людских глаз.

— Пожалуй, лучше к морю, — согласился парень.

— Раз уж решили погулять, отдохнем по-человечески, разомнемся.

— Ну что вы как петухи, в самом деле? — сказала Вайра. — Может, поладите добром? Ведь все это глупо.

Напряжение отпустило ее, она шагала легко и беспечно, как будто они и на самом деле вышли прогуляться.

— Вайра, вы бы остались,— попросил Тас.— Вам ведь надо разговаривать с Ригой.

— Я вас одного не брошу, и не просите.

— Вот это и есть настоящая девушка,— сказал лохматый.— Вообще-то мне нужна больше она, а не ты.

Они пришли на берег Атырау. С ночного моря веяло прохладой, оно беспокойно плескалось в огромные камни на берегу. Из гостиницы падал призрачный свет, и все здесь казалось нереальным.

Лохматый закатал рукава рубашки, начал готовиться к драке, словно мясник на бойне. Злость у Таса прошла, и он миролюбиво предложил:

— Послушай, не отложить ли нам этот поединок на завтра?

Лохматый отрицательно покачал головой.

— Ну, тогда как хочешь,— пожал плечами Тас.— Вайра, поддержите мой пиджак, пока мы не закончим.

Девушка накинула на плечи его пиджак и тут же обеспокоенно воскликнула:

— Тас, он же не один! Их трое. Вся шайка явилась. Сообщу милиции!

Она бросилась бежать к гостинице, но парни перехватили ее. Тас вскипел от ярости:

— Не жалуйся, если случайно останешься калекой.

Лохматый закатился нарочитым смехом, согнувшись пополам и держась за живот; потом вдруг резко выпрямился и нанес удар. Однако не попал в Таса. Снова размахнулся — и опять мимо. Тас не сделал еще ни одного удара, он стоял в стойке каратэ, опустив одну руку и держа наготове другую. Спокойствие Таса и промахи его противника удивили Вайру. Лохматый, выведенный из себя, ударил ногой, однако был отбит и очутился на земле. Вайра рассмеялась. И тут остальные трое разом бросились на Таса, видимо не выдержав позора своего товарища. Вайра ахнула и закрыла лицо руками. А когда отняла руки, пораженная вдруг наступившей тишиной, то увидела, что все противники Таса лежат, а он стоит среди них, как бы задумавшись над делом своих рук.

От неожиданно нахлынувшей радости Вайра не удержалась и по-детски закричала:

— Ура!

С разбега бросилась на шею Таса, крепко обняла его и поцеловала.

— Спасибо,— усмехнулся Тас.— Как в кино, да?

В это время один из лежавших вскочил и бросился на него. Тас прыгнул и ударил его в грудь ногой, сам, однако, не упал. Вайра не удержалась и снова крикнула «ура», захлопала в ладоши. «Какой она еще ребенок!» — подумал Тас. Наконец Вайра как будто очнулась и серьезно сказала:

— Давайте поскорее уйдем отсюда.

— Пожалуй,— согласился Тас.— Теперь можете поговорить с Ригой. Дайте мой пиджак.

— Где вы научились так драться? — спросила Вайра по дороге в гостиницу.

— Да все очень просто,— махнул рукой Тас.— Я мастер спорта по вольной борьбе. А в последнее время увлекаюсь каратэ.

— Зачем все это нужно? Ведь вы уже не молоды,— вырвалось у Вайры.

— Обижаете, дорогая, разве об этом говорят? — полушутливо-полуобиденно сказал Тас.— Просите прощения.

— А если не попрошу, примёните каратэ ко мне?

— Нет, конечно. Но вы не правы. Современный человек должен уметь защитить себя. Разумеется, первый я ни на кого не собираюсь нападать...

— Браво! Вот мужчина двадцатого века!

— Каратэ начали изучать и девушки,— сказал Тас, которому почудилась ирония в ее словах.

— Ну, это искусство не по мне.

Они поднялись в лифте на седьмой этаж, прошли по коридору. Вайра сказала:

— Ну вот, я живу в этой комнате. До свиданья. Будет время — подайте весточку.

— Хорошо, а вы не против, если завтра я приглашу вас к морю? — спросил Тас, пожимая ее нежные пальцы.

— С удовольствием,— согласилась Вайра.— До свиданья.

— До завтра.

Придя к себе, Тас вышел на балкон и закурил, бросил взгляд на море, которое разволновалось великим шумом, словно выражало свое недовольство поведением людей.

Мужчина в полосатой пижаме в доме напротив сидел на своем балконе с биноклем на коленях. Внизу ресторан гудел как пчелиный улей. Приторного запаха гниющих водорослей в эту ночь с моря не доносилось, воздух был свеж и чист. Тас разделся и лег в постель...

...«Избавился все-таки еще от одной передрыги. В последнее время я что-то часто стал попадать во всякие неприятные ситуации. Может быть, потому, что забыл наставления матери? Она, бывало, говаривала: «Раздавай время от времени пожертвования бедным и убогим». Но я воспринимал ее слова как проявление религиозности и никому не давал даже дырявой копейки. Мне кажется, что, куда бы я ни уехал, всегда меня будет одолевать тоска по родной стороне, по благодатной природе Алтая. А я зачем-то торчу здесь, в этом пекле, где от жары готов закипеть мозг. Что ж, потерплю еще три дня и остаток отпуска проведу в родном ауле. Махну на изумрудный Алтай, где не одна тропка протоптана моими босыми ногами, где знакомы все леса и горы, реки и озера. Съезжу на джайляу к чабанам и табунщикам, вкушу пищи в их прокопченных юртах. Может, тогда избавлюсь наконец от духовного оупения.

Бедная мать выбежит навстречу, путаясь в подоле, расцелует, прольет озеро слез. «Жеребеночек мой, почему ты избегаешь нас? — укоризненно скажет она, глядя на меня полными слез глазами. — Ох как похудел ты, сынок, словно обугленная кость стал!» И снова начнет ласкать, лелеять.

С отцом поздороваюсь за руку: такая у нас с ним привычка. Отца не обнимешь, как мать, с ним не разнюнишься, такой уж у него твердый характер.

Конечно, сбегутся соседи. Со всеми поздороваюсь, как положено, с уважением. Соседка наша, старуха Куснат, скажет: «Жив ли, здоров ли, Тасжан?» И, подобно матери, начнет обнимать да целовать. Прибегут чумазы ребятишки посмотреть на редкого гостя. И этот мальчишка Бауржан, который за все лето ни разу не надевал трусов, каждый день у реки, весь черный от загара, словно высушенный изюм. «Здравствуйте», — скажет он, протягивая руку и заикаясь от волнения.

Каждый раз, когда я смотрю на него, то вспоминаю самого себя тридцатилетней давности.

Мать рассядется на зеленой лужайке возле дома и начнет раздавать ребятишкам сладости, а старухам чай: «Это вам гостинцы Тасжан привез».

А отец скажет, правя на оселке нож, и без того острый: «Эй, старушка, готовь очаг, зарежу овцу».

Я буду беспечно возлежать на диване, словно у меня никаких забот. Остужая бульон и часто поглядывая на меня, мать спросит: «Сколько же ты погостишь, мой жеребенок?» Ее, конечно, беспокоит мой отъезд. «Да дней десять прожи-

ву, пожалуй», — отвечу я. «Очень уж мало, — скажет она. — Полежал бы пару месяцев, набрался сил да жирка поднакопил». И затем, попробовав бульон в чаше, не слишком ли горяч, протянет его мне.

Рубленный дом прохладен, передо мной всякие казахские деликатесы, под ногами сложенное вчетверо мягкое одеяло, под локтем пуховая подушка... Как все-таки хорошо дома! Достаток наш не уменьшился, слава богу, и скота хватает. У стариков есть возможность принять гостей, если те нагрянут из Алма-Аты. И все это благодаря моему дряхлому старику отцу. Хоть он и старый, однако не знает печали и хранит крышу над своим очагом в исправности. Им можно гордиться. А вот я один из дармоедов, который всю жизнь провисел камнем на шее у отца и ни копейки не принес в родной дом.

Этому аулу нет никакого проку из того, что я архитектор и проектирую дома. Когда я приезжал домой последний раз, мой друг Досым очень смутил и обескуражил меня: «Хоть бы ты переменил шифер на крыше отцовского дома. Везде, во всех местах, протекает». Я просто не знал, куда деваться от стыда. На другой день мы с Досымом взяли за крышу и кое-как подлатали. Я чаще попадал молотком по пальцам, чем по гвоздю, и заработал настоящую производственную травму.

С тех пор прошло три года. Как развелся с женой, так не бывал у родителей. Не знаю, как им объяснить свой развод. Если сказать, что характерами не сошлись, станут поучать: «О чем же ты думал раньше, когда женился?»

В мой последний приезд домой Досым, деливший со мной радости и горести детства, позвал меня в гости, зарезал барашка, приготовился к приему, как умел.

Хотя мы с ним и были сверстниками, по сравнению со мной он намного повзрослел. Ведь я вырос подобно травинке, защищенной от всех невзгод и непогод, поэтому рядом с ним казался пацаном. Разница между нами была резко заметна в поступках, в речах, в поведении, да и в наружности тоже. Он, несмотря на свой возраст, был серьезен и спокоен, слова лишнего не скажет, ну прямо маленький аксакал. И его супруга Бахыт, мать шестерых с седьмым ребенком в утробе, была под стать ему. Каждый раз при виде Бахыт я вспоминал жену.

Наш спор продолжался лет десять, и начался он из-за аборта. Она не захотела ребенка, нашего первенца. Я невольно думал, что если бы жил в ауле, то и у меня было бы

шестеро детей, как у Досыма. Теперь вот нет ни семьи, ни дома, болтаюсь по свету вроде кастрата, изгнанного из стада, шатаюсь бесцельно как перекасти-поле.

Отец Досыма, седой старичок, всю жизнь проработал кузнецом, рано потерял свою старуху и нашел утешение во внуках. Невестка уважала старика и ни в чем ему не прекословила. Радостью и дрожжами этой семьи, как говорят, были ребятишки, снующие по аулу.

Отец Досыма, аксакал Нух, необузданный старик, с языком подобным стреле, всегда попадающей в цель, едва увидев меня, расхохотался: «Ну, домостроитель-пацан, как дела? Я слышал, что ты сам, один, выстроил город, который, наверное, назвали твоим именем?»

— Нет, аксакал, Актау проектировали пять человек.

— Значит, ты один из многих, грязь на руках...

— Ладно, хватит, отец,— проворчал Досым.

— Молчу, молчу, но я хотел сказать, что чем создавать без славы много домов и называть их городом, лучше поставить один дом, который приносил бы славу.

Речи старика сильно задели мою душу. Я понял, что если его слова перевести на язык доступный, то он говорит о личности, индивидуальности, таланте, и не стал спорить, признав его правоту.

Всем известно, что у Досыма и его отца золотые руки, умеющие завязать в узел железо, а из простого дерева сотворить аргмак. В доме и во дворе ничего лишнего. В архитектуре, созданной ими, нет ни одного недостатка. Их творение проживет вечность, оба они оставят потомкам национальные обычаи целого народа. Это и есть то, что, как говорят, кто пошел по стопам отца, стругает стрелу и не гонится за славой. Они вносят конкретный вклад в такие понятия, как будущее. К сожалению, людям искусства не хватает этой простоты и конкретности, им надо непременно выразить себя...

Вместе с Досымом мы ездили на рыбалку. Он удил, а я разжигал огонь, потрошил рыбу,— в общем, занимался хозяйством.

Мыс Бухтармы, где мы жили, был красивый и уединенный, рыбы здесь было полно. Берега реки поросли тальником и березами, вода была прозрачна и чиста, хотя стояла середина лета, и так холодна, что от нее ныли зубы.

Мошкары на берегу почти совсем не было, ее сносило небольшим ветерком. Блаженно было лежать и млеть под лучами щедрого солнца Алтая.

Досым — страстный человек. Когда ловит рыбу, начисто забывает обо всем на свете, глаз не может оторвать от воды, словно завороченный. Если бы у меня были такие стойкость и терпение! Ведь я после каждого штриха вскакиваю из-за стола и начинаю шататься по комнате, ищу причину неудачи, томлюсь и проклиная все на свете, в то же время жажду великих свершений.

Если бы на моем месте был Досым, он бы скорее умер, преследуя цель, и наверняка добился бы результатов. Нет, судьба все-таки слепа, она допускает несправедливость. Мое место по праву должно принадлежать Досыму, терпеливому и настойчивому.

В это время он подошел и сказал:

— Все сидишь...

Вытряхнул из торбы, которая висела у него на шее, кучу рыбы, вытащил из ножен нож с роговой рукояткой и начал чистить рыбу с молниеносной быстротой. Чешуя полетела во все стороны, сверкая как серебро. Кончив чистить рыбу, Досым посолил ее, завернул в мокрую газету и зарыл в горячую золу. Через некоторое время он сгреб золу, вытащил из костра почерневшую газету и развернул ее. Аппетитный запах испекшейся в золе рыбы перехватил мое дыхание.

— Да ты просто волшебник! — сказал я.

Ни слова не говоря, Досым вытащил откуда-то бутылку «Российской» и налил в две пиалы.

— Ну, Тасжан, с приездом! — Он чокнулся со мной и выпил одним духом.

— Очень доволен тобой, Досым, — сказал я расслабленно, чуть ли не со слезами на глазах. — Ты остался прежним, нисколько не изменился.

— А ты изменился?

— Да, я уже не прежний Тасжан, а кто-то совсем другой. Жан, то есть душа, исчезло, остался Тас — камень.

Досым на это ничего не сказал, и мы принялись за еду. Рыба оказалась вкусной, и в основном ее съел я. Водка, выпитая на свежем воздухе, не ударила в голову.

Досым лежал на спине, его обветренное лицо, жесткие, коротко стриженные волосы могли принадлежать только жигиту энергичному и волевому, который трезво смотрит в глаза жизни и не боится ее.

А я барахтаюсь в бурных волнах Атырау и не знаю меры своих возможностей, гребу к неизвестному берегу изо всех сил, — в общем, веду себя как человек, потерявший цель и несущий на своей спине, вроде тяжелого камня, свою без-

надежную мечту. Нет, не достичь мне никогда острова чудес «Барса келмес», так как не создан я для этого богом. Мечту надо искать в реальной жизни, а не на сказочном острове...

— Стоит немного развязать себе руки, как я бегу к Бухтарме, — сказал Досым, жадно затягиваясь сигаретой. — Что за колдовство такое! Если не посижу на берегу с удочкой, кусок в горло не лезет. Как-то меня за эту привычку старик чуть не прибил, Бахыт обругала. Но я люблю Бухтарму, она словно моя вторая жизнь.

Я впервые заметил, как много говорит Досым. В обычные дни он рта не раскрывал. Досым лежал на спине и тоскливо вглядывался в небо.

— Тебе не о чем сожалеть, Тасжан, — продолжал он, не отрывая глаз от неба. — Ты обошел, объездил весь земной шар. Своими глазами увидел, что Земля круглая, а я об этом знаю только по урокам географии.

И он тяжело вздохнул, а моя зависть к простой жизни Досыма, симпатичной и мирной, к его довольству и достатку, полетела в тартарары. Оказывается, это он завидовал моей, достойной дервиша, жизни.

— Наше существование — пустые мечтания. Родина — это твой очаг, счастливая жизнь — это вечная забота не дать погаснуть родному очагу, — отрезал я.

Однако Досым не согласился с моим мнением.

— Я отказываюсь понимать твою философию, — отмахнулся он. — Раз уж ты создан человеком, а не животным, то обязан увидеть всю необъятность нашего мира. Ты вот расхваливаешь домашний очаг, как будто в этом предел человеческих стремлений, тот идеал, ради которого не щадят жизни. Есть такие люди, которые всю жизнь просидели у печки. Но спроси: счастливы ли они? Нет. А почему? Потому что словно стреноженные жеребцы они кружат вокруг отары да встают на дыбы, не в силах умчаться вдаль. Ржут, бедные, мечутся, но не могут разорвать аркан. Какое уж тут счастье, Тасжан, когда у тебя спутаны ноги! Но отпусти их, как бы они воспарили...

— Но кто же их привязал? Разве не они сами?

— Конечно, сами. Служение очагу превратилось в накопление скотины. Тем и кончились мечты, — зло сказал Досым.

Я заметил, что руки у него дрожали, всего его колотило как в лихорадке. Прежде такого за ним не водилось, он

показался мне странным. Я подумал, что если начну возражать, спорить, то он просто ударит меня. И я промолчал.

— Подумай,— продолжал он.— Ведь человек мог бы прожить и на земле, но он воспарил в небо, летает. Нет, дорогой, человеческую фантазию, мечту, не заточишь в тюрьму, его чувства, интуицию — тоже. Ты, кстати, видел утром, как мой отец учил внука стругать топорище? Однако этим самым он вовсе не хотел сказать ему, чтобы он всю жизнь делал топорища... Мне хотелось, чтобы мой сын вырос, далеко оставив меня на дороге жизни, чтобы он пошел по твоему, а не по моему пути. Ты получил премию на международном конкурсе, прозвучало на весь мир имя казаха. Разве это не почет, разве мы не должны этим гордиться? Времена, когда считали, что главное — это мой дом, очаг, теплое гнездо, давно сгинули и никогда не вернуться.

Меня удивили горячие речи Досыма. Если бы обо всем этом сказал я, но совсем другое дело — услышать такие слова из его уст. На душе стало тепло, — значит, есть люди, понимающие меня, мои мытарства. Однако я продолжал возражать:

— Досым, ты человек семейный, встал на путь предков. А я просто соскользнул с этого пути и заблудился. Разве суслик, который далеко уходит от своей норы, не находит неминуемую гибель?

— Не вилай, Тасжан. Ты, конечно, думаешь о моих шести ребятишках, которых у тебя нет. Но они еще будут. И у сусликов, и у волков, и у собак, и у людей должны быть потомки.

— Досым, самое главное в жизни — это чтобы были потомки.

— Можешь забрать половину моих! — рассердился Досым.— И что ты все ноешь? Успеешь еще завести детей. У нашего предка Наймана в девяносто лет родился ребенок. Конечно, я не спорю, это безжалостно, что твоя жена не захотела ребенка, твоего первенца. Но в конце концов этот невинный неродившийся наверняка придушит ее...

— Мне нравится твой характер, Досым. Когда-то ты был такой же упрямый, как десять кабанов. Уж тебя не сдвинешь с места, раз ты уперся и стоишь на своем.

— Ах, вот как ты заговорил! Вспомнил прошлое! — С этими словами Досым повалил меня и подмял под себя.

— Пусти, Досым! — взмолился я.— Ты же знаешь, мне с тобой не справиться.

Солнце, плывшее вдоль гор Алтая, готово было вот-вот

нырнуть в свое гнездо. С реки потянуло прохладой, появились надоедливые комары. По всему видно, что благословенная природа приготовилась к вечерней молитве. Над нашими головами, со свистом рассекая воздух, пролетела стая уток. В реке гуляла рыба, охотилась за насекомыми. По воде расходились круги, быстро уносимые течением.

— Пора нам возвращаться, дома наговоримся, — сказал Досым. — А то старик скандал устроит. Скотина уже пришла с пастбища.

Он сложил снасти в сумку и встал. Мы пошли домой, я едва поспевал за ним...»

У Таса с детства была привычка в любое время года просыпаться с восходом солнца. И теперь он вскочил рано утром, словно кто его толкнул в бок. Потягиваясь и зевая, вышел на балкон. Тут он увидел ту же самую картину, что и вчера. Огненный шар солнца сжигал Атырау и плавил горизонт. Ночной ветер к рассвету поугомонился, море было подернуто мелкой рябью.

В соседнем доме на балконе уже сидел мужчина с биноклем и осматривал окрестности. И вдруг Тас снова увидел на берегу моря девушку в голубом платье. Как и в первый раз, она вела за собой верблюжонка. Сердце у Таса забилося. Сон это или явь? Что за девушка? Откуда она? Уж не хозяйка ли этого моря вышла из волн и живой ртутью скользит по берегу? Тас хотел было выбежать из гостиницы и догнать незнакомку, однако что-то остановило его. Может быть, он снова опасался подвоха, не попасть бы опять в передрагу, как это с ним уже было.

Мужчина в полосатой пижаме тоже следил за девушкой. Тас подумал, что девушка с верблюжонком, идущая по самой границе прокопченной цивилизации и древнего моря, — единственная защитница этого мира, тайн природы. «Это она, безусловно она, — прошептал он. — Тогда никак нельзя нарушить ее покой».

Пока девушка не исчезла с поля зрения, скрывшись за большой водоочистительной установкой, Тас и мужчина с биноклем не сводили с нее глаз. «Что надо от нее этому старому хрычу? — разозлился Тас. — Почему он так упорно следит за ней?»

Умывшись, он хотел пойти позавтракать, но буфет был еще закрыт. Он уселся в мягком кресле и стал читать книгу Бэнэма «Взгляды на современную архитектуру». В ней хоть и из-

лагались сведения о современном архитектурном искусстве, но Тасу мысли автора показались устаревшими. В основном он подробно останавливался на трудах и биографиях Ричарда Рейтра, Ле Корбюзье, Вальера Тронпуса. Все они были знамениты до шестидесятых годов. В последние двадцать лет появилось много свежих идей и форм в архитектуре. А современное строительство домов на сваях вообще не применялось. Тас думал, что настоящие чудеса архитектурного строительства пойдут из Азии, все вернутся к восточному стилю.

Когда солнце поднялось уже довольно высоко, хотя все еще было рано, Тас пришел к морю, искупался и лег на своем обычном месте. Кажется, он задремал, обласканный теплыми утренними лучами солнца. Что-то проползло по его щеке, и он открыл глаза. Рядом, улыбаясь, сидела Вайра.

— Крепко же вы спите,— сказала она.— Наверное, всю ночь гуляли?

— Здравствуйте, Вайра,— улыбнулся Тас.— Зря вы меня разбудили, я видел сон.

— Простите, тогда я не буду вам мешать,— серьезно сказала девушка.— Отойду подальше.

— Нет-нет, зачем же? Я пошутил. Как настроение?

— Спасибо, настроение хорошее. Правда, я долго не могла уснуть после вчерашнего события,— Вайра сняла цветастое платье, поправила купальник и улеглась рядом. Она только что начала загорать и была совсем белая, как молоко.

Тасу понравилась ее фигура, и он подумал, что она, наверное, занималась художественной гимнастикой. «Нет лучше архитектора, чем сама природа»,— пришло ему в голову.

— А вы не из разговорчивых,— сказала Вайра, откинув волосы со спины на лицо.

— Что вы, я все время разговариваю сам с собой.

— Это, конечно, прекрасно,— улыбнулась Вайра.— Только, наверное, по отношению к самому себе, а не к знакомым.

— О чем же вам рассказать?

— Об архитектуре.

— По-моему, нет ничего хуже, когда писатель рассуждает о литературе, скульптор — о скульптуре и так далее. О таких казахи говорят как о пустомелях.

— Оригинально, но не совсем справедливо,— возразила Вайра и, помолчав, добавила: — Все же Актау, спроектированный вами, мне очень понравился. Архитектурная мысль воплощена очень точно. Построить город-галерею в безжизненной степи на берегу моря — это настоящий подвиг. Осо-

бенно уместны и поэтому прекрасны деревья на улицах. Без них все было бы мертво.

— А знаете, сколько надо положить трудов, чтобы вырастить каждое дерево? Сколько требуется ухода и средств? На каждое дерево уйдет без остатка наша с вами годовая зарплата.

— Нельзя же красоту измерять деньгами,— задумчиво возразила Вайра.

— Возможно... Конечно, при строительстве Актау были допущены кое-какие просчеты, в следующий раз мы их не повторим,— сказал Тас.— Я как-то слушал органную музыку в Домском соборе в Риге. Впечатление неизгладимое. Интересно, что для музыки не надо переводчика. Мне кажется иногда, что только музыка может объединить людей разных национальностей, для нее нет ни преград, ни пределов. Она достигает прямо сердца, захватывает душу. Если бы мы научились строить передвижные дома...

— Значит, вы хотите строить дома с подвешенным мотором, чтобы можно было кочевать с места на место? — рассмеялась Вайра.

— А вы не смейтесь. Когда-нибудь построят и летающие дома. В первую очередь должны быть летающими театры. Допустим, Большой театр прилетел в Актау...

— Ну, вашу фантазию не остановишь,— усмехнулась Вайра.— Скажу прямо, детские все эти фантазии.

— Я говорю от души,— возразил Тас.— Это не ребячество, а национальная черта. В древности казахский народ веками вел кочующий образ жизни, и архитектура у них была кочующей. Как только место их становища начинало изнашиваться, они разбирали юрты, навьючивали на верблюдов и переезжали. Разве это не разумно? У нас же иногда получается так. Строим какое-нибудь предприятие, рядом появляется красивый город. Но вот природные запасы, питающие предприятие, истощаются. Что делать? Приходится возить сырье за тысячи верст. Разве это рентабельно? Значит, нужны передвижные конструкции, разборные. Иногда я беспокоюсь, что истощатся запасы нефти в Мангыстау, что тогда нам делать с высотными домами Актау?

— Даже если будут перевозить конструкции с места на место, для архитекторов все равно найдется работа,— снова рассмеялась Вайра, видимо не принимая всерьез рассуждения Таса.— Честное слово, фантазия у вас как у ребенка. А вы ведь не ребенок.

— Издевайтесь сколько угодно.— Тас покраснел. Хотя он

и знал, что несет околесицу, сдаваться перед трезвыми доводами рассудка ему не хотелось. — И все-таки представьте: что, если бы в космическом пространстве, в невесомости, построили дома? И мы бы с вами облетали их на ракете...

Здесь они оба рассмеелись. «Впрочем, когда-нибудь так и будет, — подумал Тас. — Космос — идеальная строительная площадка».

На небе не было ни облачка, солнце поднялось уже высоко и словно задремало среди необъятной голубизны.

Тас и Вайра некоторое время лежали молча. Ее удивляло, что этот стройный жигит не сказал ей ни одного лестного слова, ни одного комплимента, словно вовсе не воспринимал как женщину. «Очень сдержанный парень, — подумала она с какой-то обидой. — Надоело ему со мной или я просто не понравилась ему? А ведь говорят, что восточные люди несдержанны».

Она не знала почему, но этот казах понравился ей еще вчера вечером, когда они сидели в ресторане. Теперь это чувство, так неожиданно появившееся, волной подкатило к горлу. Вайра тихонько вздохнула, захотелось плакать, но слез не было. Она украдкой посмотрела на Таса и залюбовалась им. До чего же он стройный и сильный! Лежит, как будто один на всем белом свете, дышит ровно, спокойно. Вайре показалось, что Тас уснул. Однако через минуту он поднял голову и сказал:

— Вы знаете, о чем я думаю?

— Нет, — Вайра покачала головой.

— Я думаю о Вечности и Неповторимости.

— Давно известные истины. Это то, что нельзя вообразить.

— Согласен, истины известные, однако дело в том, что эти понятия начинают терять свой смысл, свои жизненные значения.

— Почему?

— И сам не знаю, почему.

— Значит, вы не считаете, что город, построенный вами, вечен?

— Конечно, нет. Потому что его облик неясен, он — один из массы городов мира. Вы думаете, что не будут построены дома красивее этих? То, что поднимает человека на недосягаемую высоту, отнюдь не прогрессивность его мыслей, а непохожесть ни на кого, исключительность. В наше время творчество коллективно, я имею в виду архитектуру, премия выдается всей группе за общие достижения. А это часто меша-

ет раскрыть индивидуальные возможности отдельных личностей, мешает развитию таланта, уничтожает природные способности человека. Какое тут может быть творчество, когда один кроит голенища, другой делает каблуки? Вечное искусство рождается от исключительно личного и остается наследием для потомков, для народа. Я только сейчас начинаю понимать все убожество своего таланта, который способен существовать только в коллективном труде. Гения нельзя сотворить в колбе, гением надо родиться... Многие у нас живут по принципу: кто не ленив, тот станет сапожником. Если бы я раньше понял, что в моем творчестве возникнет такой тупик, я бы присоединился к любому человеку труда и пошел бы по пути священной простой жизни. Только каторжным трудом можно подняться на трон исключительности, и только раз в сто лет. А наше теперешнее творчество похоже на марафонский бег, все бежим, бежим — кто впереди, кто позади... Прежде я, как ребенок, радовался, когда мое имя появлялось в печати. Господи, какая наивность! Когда я начинаю думать об Исключительности и Вечности, передо мной появляется такая головокружительная бездна, что душа в пятки уходит. Мне хочется из последних сил отступить, избавиться от этих мучительных раздумий, но отступать некуда. Уже не возвратишься тем же путем назад, по которому пришел. К исходной точке не вернуться. Правда, есть единственная тропинка, но и та ведет в землю. Скажите, дорогая Вайра, как мне избавиться от этой напасти?

— Я начинаю бояться вас, — вздохнула Вайра. — Вы ведь всех людей, наверное, считаете такими же умными и глубокими. Вы poznали себя, открыли свои недостатки, но нельзя же бессильно опускать руки, превращаться в живой труп. Если бы все ваши переживания были направлены на ваше искусство! Не сердитесь, если я скажу вам лишнее. Вы просто не боретесь за эту вашу Исключительность, вы боитесь даже ее тени. И это самая ваша большая ошибка.

— В этом мире я боюсь только одного — самого себя, — с горечью признался Тас.

— Вы и меня заразили вашим настроением, идемте лучше искупаемся, — предложила Вайра.

— Что ж, можно искупаться, — согласился Тас. — Но ведь даже море не остудит внутреннее пламя.

— А вы попробуйте.

И оба наперегонки побежали к морю, словно сын ночи и дочь дня, смуглый черноволосый парень и русоволосая девушка.

«Чтобы люди поняли друг друга, наверное, не нужны постановления и резолюции,— думал Тас, покачиваясь на волнах,— достаточно чистых намерений, осмысленной цели, горячего расположения и одного сияющего солнца над головой...»

Тас читал книгу, когда зазвонил телефон. Он снял трубку:

— Алло, я слушаю.

— Это я,— послышался голос Вайры.— Улетаю через три часа. Вы не хотите меня проводить?

— Конечно, провожу. Спускайтесь в ресторан.

— Нет-нет, туда не пойдем. А то опять сцепитесь с кем-нибудь. Лучше приходите в мою комнату, жду.

— Хорошо, сейчас,— согласился Тас.

Он быстро оделся и, мурлыча под нос какую-то песенку, спустился вниз, купил бутылку шампанского, плитку шоколада и поднялся в комнату Вайры.

— Добрый вечер.

— Проходите,— с улыбкой сказала Вайра, открывая дверь.

Тасу она показалась красивее, чем прежде. На ней было легкое открытое платье. Светлые волосы, спадающие на обнаженные плечи, сверкали и переливались при каждом движении. Тас отдал свои покупки и поцеловал ее в щеку, ощутив легкий запах духов.

— Спасибо, что зашли,— сказала Вайра, покраснев. На ее лице выразилась благодарность, она с радостью пригласила Таса к столу.

— Ого, откуда столько разных блюд? — удивился Тас, садясь за стол.

Вайра молча намазала хлеб икрой и предложила бутерброд Тасу.

— Откройте шампанское, а то времени у нас мало. Пока доберешься до аэропорта...

— Давайте вызовем такси.

— Я уже заказала.

Он разлил шампанское по бокалам.

— Ну, счастливого пути, Вайра! Выпьем за то, чтобы ваш самолет плавно взлетел и мягко приземлился.

— Спасибо, желаю и вам того же, когда вы полетите.

Они посмотрели в глаза друг другу и оба поняли, что не хотят расставаться. Тас взял ее за руки, привлек к себе и поцеловал. Вайра закрыла глаза и тихо призналась:

— Я удивлена, что за каких-то три дня так привыкла к вам, словно уже сто лет знакомы. Вы мне нравитесь.

— Вы мне тоже...

— Слушайте, вы мне очень нравитесь,— сказала Вайра как бы в задумчивости.— Моя командировка еще не закончилась, но я купила билет, чтобы уехать пораньше. Быть долго рядом с вами опасно, можно испортить чудесное впечатление. Нам не суждено провести жизнь вместе, потому что вы созданы для одиночества. Мне кажется, что вы никогда больше не женитесь. Меня привлекла ясность вашего взгляда на жизнь и в то же время какая-то его туманность. Не знаю почему, но чем больше я уважаю вас, тем больше жалею. Мне хочется знать о вашей дальнейшей жизни, как сложится ваша судьба. Поэтому я оставляю вам свой адрес, иногда пишите или позвоните. А если будет время, приезжайте.

Жигит задумался над словами Вайры, опустив голову.

— А теперь давайте выпьем за ваш талант,— сказала она, поднимая бокал.

— Спасибо, и за ваш тоже...

Некоторое время они сидели молча, потягивая шампанское. Наконец Тас сказал:

— Я обязательно приеду к Балтийскому морю. Вместе будем собирать янтарь, бродить по сыпучему белому песку. Наверное, нет чище песка, ежедневно омываемого водой.

— Море выбрасывает на берег не только драгоценности, но и всякий мусор,— задумчиво сказала Вайра.— Наша с вами цель — не оказаться мусором.

— У нашего предка Абая есть такое философское размышление. Я попробую передать вам его содержание. «Мир — просторное озеро,— говорит он,— время — ветер, передние волны — старшие, за ними бегут младшие, и все по очереди умирают, как и прежде».

— Лучше, наверное, и не скажешь. Все в жизни повторяется.

— Никто в жизни не откроет ничего нового. Какой-то американский писатель сказал: «Я не новатор, а раскапыватель забытых ценностей». Мне кажется, очень справедливые слова. Главная трудность в том, как использовать эти добытые ценности, которые принадлежат вечности.

— Вы снова о своем наболевшем.

— Пожалуй, да.

— Ничто не вечно,— грустно сказала Вайра.— Так что не стоит ломать голову над этой проблемой. Давайте лучше пить вино и прощаться.

— За что мы выпьем?

— За этот красивый и приятный вечер в нашей с вами жизни.

В это время зазвонил телефон. Вайра вскочила и взяла трубку: «Спасибо, сейчас выхожу».

— О боже, так все быстро кончилось! — вздохнул Тас.

— Ни о чем не надо сожалеть, — сказала Вайра. — Помогите лучше убрать со стола.

Они вместе привели в порядок стол, комнату. Вайра звала дежурную и сдала номер. Потом они вышли на улицу, сели в такси и поехали в аэропорт. После регистрации билетов бросились друг к другу и расцеловались.

— Для меня дороже разлука с вами, чем встреча, — сказала Вайра. — Когда-нибудь встретимся еще.

— Я тоже в этом уверен, — согласился Тас. — Хотя, как говорят, параллельные линии никогда не пересекаются между собой.

— Я довольна вами, люблю вас, — прошептала Вайра, в последний раз обняла его и побежала к самолету. Тас смотрел, как развевались на бегу ее волосы, сумочка била по бедру, и радовался, что встретил в жизни такого хорошего человека с чистой душой... «Если бы не такие люди, как она, окна мира давно разлетелись бы вдребезги», — подумал он.

Огромный лайнер взревел двигателями, покатился по бетонной дорожке и взлетел в голубое небо Мангыстау. Тас не тронулся с места, пока самолет не превратился в точку, а потом и она растворилась в голубизне.

Девушка, улетевшая в небо, превратилась в белую птицу, подумал Тас, и никогда он ее уже не увидит; но она соединила две части его имени, теперь он снова Тасжан...

В эту ночь он впервые, как приехал в город, спал хорошо. Ему приснился сон, будто он стоит на крыше чудовищно высокого дома, копьём пронзившего грудь неба. И с этой высоты видны все стороны света, шесть материков лежали у него под ногами. Но самое удивительное в том, что, несмотря на такую громадную высоту, под ногами отчетливо видна каждая песчинка. В душе какая-то непонятная радость. Ведь это же и есть Исключительность, приходит ему в голову, никто теперь не может с ним сравниться, на такой он высоте. Наверное, отсюда и лежит путь к Вечности.

Он посмотрел на восток и увидел отца, пасущего скот, мать, которая доила корову, даже собаку, лежавшую у дверей. Увидел своего друга Досыма, который торопливо шел к реке

в резиновых сапогах с удочкой в руке. Около дома играли дети.

Тас крикнул: «Досым!» Но тот не повернул головы. Тогда он позвал отца, мать, но никто из них не услышал его зова. Тогда он подумал, что гордыня занесла его слишком высоко, поэтому на земле его никто не слышит и не видит. Оказывается, Исключительность можно познать только на земле, среди народа. Чем выше построенный тобой дом, тем больше ты отдаляешься от природы и от людей. И теперь ему осталось только умереть. Вот сейчас он прыгнет с этой крошечной высоты и навсегда исчезнет с белого света, как человеческие следы на песке, смытые волной. «Сейчас я прыгну, сейчас», — подумал Тас. Он вскочил с постели, уже наяву, и подбежал к балкону. С недоумением Тас смотрел сквозь оконное стекло на улицу. Красное солнце поднималось над горизонтом и окрашивало море в кровавый цвет. Валы волн были похожи на бескрайние вспаханные поля.

И вот он опять увидел, как по берегу моря, по самой кромке суши, спокойно шагала девушка, ведя за собой верблюжонка. «О боже мой! — вздрогнул он. — Откуда она? Что за наваждение?» Больше он не мог выдержать. Быстро умылся и спустился вниз, не успев даже причесать волосы. Догнал девушку с верблюжонком и выпалил:

— Здравствуйте!

Взглянув на него мельком, девушка поздоровалась, однако не остановилась. Тас с трудом успокоил свое бедное сердце и проговорил:

— Я каждый день вижу вас. Кто вы? Куда идете?

Он так волновался и торопился, словно боялся, что она провалится сквозь землю, исчезнет навсегда. Девушка остановилась, внимательно посмотрела на жигита и удивленно спросила:

— Где я могла вас видеть?

— Наверное, в гостинице?

— Нет, я там не бываю. Может быть, во сне? — сказала она и пошла себе дальше. Ясноглазый верблюжонок побежал за ней.

— Как вас зовут? — с мольбой сказал Тас.

— Не ходите за мной, — отрезала девушка. — Вон из того дома, с балкона, смотрит мой брат.

— Но где я вас найду?

— Если будете идти в этом направлении, то найдете. А сейчас оставайтесь.

Тас послушно остановился. Он стоял на одном месте до

тех пор, пока загадочная девушка не скрылась в сизом пространстве, не исчезла за водоочистительной установкой. Тас, снова ставший Тасжаном, вернувший себе душу, даже испугался: уж не сон ли все это? Он пошел к морю, раздеваясь на ходу, и прыгнул с большого камня в воду...

Едва он вошел в комнату, как раздался телефонный звонок. Он снял трубку и сказал: «Алло?» В ответ послышался густой рык: «Эй, парнишка, в дальнейшем не смей подходить к девушке с верблюдом! Иначе твои кости будут глотать окуни».

Он не успел ничего ответить, трубку положили. «Наверное, брат девушки», — подумал он и украдкой посмотрел в окно. Человек в полосатой пижаме занимался на балконе гимнастикой.

В этот день он никуда не выходил. Не было никакого аппетита, поэтому он ничего не стал есть, только принес из буфета три бутылки минеральной воды и время от времени пил ее да курил одну за другой сигареты. Вся комната наполнилась дымом. Попробовал читать, но отложил книгу. Взял бумагу и стал набрасывать очертания будущего города, но получалось надуманно, скучно, поэтому равнодушно порвал лист и взял другой. Нарисовал Вайру с откинутыми за спину волосами, затем вывел контуры девушки с верблюдом, смотрел некоторое время на обеих, бросил карандаш и лег спать...

«После моей поездки на родину в аул решил было совсем оставить работу архитектора. Стал смотреть на мир и на свое существование какими-то другими глазами. Все, что было до этого момента, — сухая, никчемная жизнь, сплошной самообман. К тому же еще на службе появились неприятности. Там работал со мной некто Бекбау, и вот он написал заявление, что я украл его идею. Только он один и не поздравил меня, когда я получил премию за проект Актау. Никак не могу понять, почему руководители любят завистливых, у которых нет даже намека на проблеск, на искру божью, которые скорее умрут, если не посплетничают и не обвинят кого-нибудь. Меня разозлило, что мой шеф принял во внимание клевету Бекбау, порожденную личной враждой ко мне. Дошло до того, что я ударил подлого клеветника и он растянулся на полу как ящерица. Конечно, после этого меня снова разбирали на профсоюзном собрании и сделали предупреждение. Я подал заявление с просьбой перевести меня в область. Однако на-

чальник управления не отпустил. Долго потом я ходил без дела, не участвовал ни в одном проекте. Наконец мне поручили взяться за проект нового города, который построят на берегу Атырау. Мы, пятеро жигитов, должны закончить эту работу до конца года. Я поехал в Актау за вдохновением, и вот в кого превратился, лишился и того, что имел.

Удивить современного человека трудно, год от года мы теряем чувство удивления. Будущий город, пусть даже в десять раз лучше Актау, недолго будет удивлять людей. Поговорят немного и привыкнут. Возможно, появится на карте мира крошечная точка, а может, и нет.

Среди семейства искусств есть самый непонятный и неизвестный мальчик по имени архитектура. Во многих городах проживают миллионы людей, но они вряд ли знают, кто проектировал и строил их жилье. Строя новый город, мы сливаем духовную культуру с практическими требованиями жизни. Иногда практическая сторона довлеет над художественной ценностью. Да что там говорить, так бывает чаще всего.

В современных строениях увлекаются стеклом, железобетоном, пластиком, и хотя среди них есть прекрасные конструкции, но они не поднимаются до уровня архитектурного искусства. В древности, когда строили города, выбирали для этого красивые и удобные места, то есть учитывали пространство, реки, озера, леса. Город и природа дополняли друг друга, гармонизировали между собой. А сейчас... где открыли богатства недр, там и должны строить, потому что таковы практические требования времени. Конечно, мы, архитекторы, тоже художники, но наши фантазии ограничены практической стороной дела. Мы не можем, например, сами себе выбирать объект, образ своей работы.

Если бы мне дали волю, я бы построил красивый город там, где нет ни глотка воды, ни зверя, ни дерева на зубочистку. Впрочем, это, конечно, глупо. Приходится считаться с требованиями жизни, производства. Над творческой фантазией сегодня властвует научно-техническая революция.

И зачем только я мечтаю до упоминания о какой-то Искключительности? Мои казахи-предки не зря говорили: «Архар, мечтающий сразу о вершинах всех гор, умрет с голода». Вернее было бы тихонько жить, чем искать свое лицо. Написать свое имя на челе земли посредством строений — такое бывает только раз в сто лет. То есть наше столетие может породить только одного человека, который способен на этот подвиг, и я твердо знаю, что это не Тас. Поэтому что толку плыть против течения, лучше прожить свою жизнь таким же,

как все, и плыть по течению времени, пока тебя не выбросит на берег. Не лучше ли построить новый город точной копией Актау?

Когда-то я допустил одну ошибку. Эта ошибка — неглубокое понимание национальной сознательности в архитектуре, пошел на поводу страстного влечения к новизне, вместо того чтобы исследовать корни казахского искусства, которое всегда было на земле казахов, но пало жертвой кровавых сражений и суровых эпох.

Теперь я очень жалею, что, когда меня позвали на восстановление мавзолея Ходжа Ахмеда Яссави, я метнулся в сторону современной архитектуры. Может быть, на двадцатый век хватило бы исследований и восстановлений тех сооружений, которые оставили нам в наследство предки? Может быть, судьба Тамерлана, который всю свою молодость и энергию потратил на этот мавзолей, станет примером для будущих поколений? Кто знает...

А что останется людям после меня? Разве в городе Актау увидишь национальный орнамент, национальную окраску или национальную мысль? Нет, ничего этого не увидишь, сколько бы ни присматривался. Ни одной своеобразной особенности, которые волнуют сегодня казахских архитекторов. А ведь надо трудиться именно в этом направлении, взяв за образец самобытную казахскую архитектуру, а не мотаться в заоблачных высях. И это не только моя ошибка...»

Когда наступили глубокие сумерки, он пошел по берегу моря в том же направлении, куда ушла девушка с верблюжонком. Настроение у него было спокойное, безмятежное словно озеро, которое покинули птицы со своим шумом и гамом. Однако в душе его вроде бы снова зазвенел колокольчик тонких и хрупких чувств. Слабый звон этого колокольчика напомнил ему, что его сердце, начавшее уже ржаветь, все еще бьется по-юношески и готово откликнуться на зов природы. Его сознание, исчерканное вдоль и поперек, очистилось от всякого городского мусора и наслаждалось звонкой душевной ясностью. Ум и мысли, присущие зрелости (а Тас иногда считал себя стариком), сами по себе вдруг помолодели, оживились. Его понятия, взгляды, прежде часто вступавшие в конфликт с миром, теперь лежали утомившись, вроде набегавшегося за день жеребенка. Как бы ни рвался он вперед, ему наконец пришлось признать, что и он, как все, двуногий и смертный.

Теперь он брел по берегу моря, заложив руки за спину, и не радовался, и не печалился о своих новых ощущениях. Правда, немного удивлялся, что жизнь, которую он сам себе усложнял, вдруг оказалась легкой и простой. Надо любить жизнь такой, какая она есть, думал он, научившись этому у трудолюбивых муравьев. В сущности, человек и есть зерно урожая, выросшее, питаюсь соками земли. Сначала поле зеленеет, потом желтеет, и наконец созревшее зерно попадает на мельницу. Так же и человек попадает в жернова судьбы и перемалывается ради блага других, становится соком земли. «А я до сих пор метался, боясь исчезнуть,— подумал Тас.— Как это глупо. Досым понял все раньше меня...»

Он прошел мимо водоочистительной установки и удалился от Актау. Луна еще не взошла. Чем дальше он уходил, тем слабее становилось зарево огней города. Он продолжал шагать по берегу моря, перепрыгивая через камни. Когда он прошел примерно с километр, впереди замаячил какой-то тусклый, неясный свет. Ему показалось, что свет этот очень далеко. Но кто разжег огонек, похожий на слабую звездочку? Во всяком случае, он решил пойти туда, потому что больше идти было некуда. Слабо волновалось море, словно оно чуть слышно дышало в глубоком раздумье.

Ночью на берегу бывает особенная прохлада, бодрящая, влажная. Днем в степи воздух совсем не такой, отовсюду несетя щекочущий ноздри прогорклый запах трав. Сейчас степных запахов на берегу не было, их отогнал морской ветерок.

Нынешнее лето было прижимистым в отношении дождей. Растительность, которая появилась весной, давно выгорела, засохла и с хрустом ломалась под ногами Тасжана. Огни города еще больше потускнели. Выше всех огней краснел огонек на телебашне. Издали он казался одинокой звездой, повисшей между небом и землей.

Тасжан наконец увидел домик с маленьким окошком. Он подошел к нему и остановился, не решаясь войти.

Рядом с домиком был скотный двор, около него лежал тихий белый верблюжонок. Тас подошел к нему и хотел было обнять за шею, но тот испуганно шарахнулся в сторону.

К стене домика была прислонена лодка. Тасжан в нерешительности сел на нее и закурил. Вокруг было тихо. Заглянуть в домик он почему-то боялся: сковал непонятный страх. Похожий на избушку бабы-яги саманный домик, низенький, приземистый, казался диким и несуразным в наши времена великой и шумной цивилизации.

«Но какой смысл сидеть тут? — подумал Тасжан. — Раз уж я пришел, то надо войти в дом. — Он потушил сигарету, подошел к дверям, взялся за ручку и замер, не решаясь войти. — А вдруг там мать и отец, что тогда скажу?» Наконец негромко постучал, но ему никто не ответил. Тогда он вошел, стукнулся о дверной косяк, осторожно сделал два шага. В доме не было ни души. Неяркий свет керосиновой лампы делал комнату сумрачной. Он огляделся вокруг, все было чисто и прибрано. У стены стояла скрипучая деревянная кровать, на полу лежал старый ковер из кошмы. Стол одним краем упирался в окно, на нем как раз и стояла керосиновая лампа. Печка у порога была накрыта цветастой тканью, — видимо, с самой зимы ее не топили. Между печкой и кроватью стояла вешалка, на ней висела одежда девушки. Самыми дорогими вещами в доме, наверное, были повешенные на спинку кровати в изголовье платье с двойными оборками, женский головной убор с плюмажем, шелковый пояс, подвески для волос из серебряных монет. На гвозде, вбитом в стену у окна, — два серебряных браслета, красивые перстни с камнями.

Тасжан так и раскрыл рот от удивления, когда разглядел все эти вещи, — как будто он попал в этнографический музей. Любая вещь в доме, нашедшая здесь приют, словно осколок прошлого. Кроме того Тасжан увидел много старинной кухонной утвари.

К подушке на кровати была прислонена старенькая домбра. Казалось, ее струны вот-вот оживут и она сама заиграет «Побег из тюрьмы» — знаменитый наигрыш великого композитора прошлого Курмангазы.

Тасжан осторожно взял домбру в руки, провел пальцами по струнам. Домбра оказалась настроенной как надо. Видимо, ею часто пользовались. Наконец Тасжан почувствовал себя неловко, что разгуливает в чужом доме, поставил домбру на место и вышел на улицу.

Что может быть красивее родной природы! Тасжан словно завороченный уставился на луну, которая, разрезав пополам бескрайнее море, тяжело, как беременная, поднималась на небо. Поверхность моя сверкала, будто ее отделали серебром. Весь ночной мир купался в белом молочном свете луны и, казалось, радовался неумейной радостью, что он существует. Вся земля словно закуталась в полупрозрачное покрывало невесты.

«А в городе мы ничего этого не замечаем, ослепленные резким электрическим светом», — подумал Тасжан и вздохнул.

Луна поднималась быстро, а Тасжан все стоял и стоял

около загадочного домика. Вдруг он заметил белый силуэт, медленно бредущий со стороны моря. На секунду он растерялся, потом, и сам толком не понимая, что делает, нырнул под перевернутую лодку. Белый силуэт, будто только что народившийся месяц, проплыл совсем рядом с ним. Длинные черные волосы наполовину скрывали тело. Когда она проходила мимо, у жигита ничего не осталось от разума. Пусть для него не диво обнаженное женское тело, но такого изумительного красивого стана, словно выпестованного из серебра, он никогда не видал и, наверное, никогда не увидит. «Я грешен, — подумал жигит, не зная, в какую щель нырнуть от стыда. — Разве в мире есть воровство хуже этого? Я замарал свою честь, без позволения смотрел на нее. Надо быстрее исчезнуть отсюда, сгинуть». Ругая себя, он стал подниматься и крепко стукнулся головой об лодку. «Так мне и надо!» — с досадой плюнул он и не оглядываясь направился в город.

Но все его чувства остались в домике, темневшем под луной. Он шел, попирая ногами свою длинную тень; луна светила сзади. Душу вдруг охватила тяжкая тоска.

Когда он учился в десятом классе, ему пришлось возвращаться из соседнего аула таким же уничтоженным и подавленным. Он всей душой полюбил тогда девушку, которая после восьмого класса бросила школу и ушла в доярки. В юности он еще верил в любовь, что есть на свете такое святое чувство. Потом разуверился. Если приходилось слышать разговор на эту тему, он только иронически улыбался. Почему так случилось?

«Да, в год окончания школы я навсегда распрощался с этим великим чувством. Та девушка из соседнего аула была смуглолицей красавицей. Она понравилась мне с первого взгляда.

Их аул назывался Черновая. Если перейти реку Бухтарму, то напрямик до него всего четыре километра. Мальчик Амантай, с которым я дружил, тоже был из этого аула, и каждое воскресенье я повадился туда ходить. Помню, был конец мая, мы готовились к экзаменам. Уроки уже кончились, и делать, в общем-то, было нечего.

В мае Бухтарма еще полноводна, в это время только начинает убывать. Амантай ушел домой за реку готовиться к экзаменам, а я не знал, куда себя девать. Стоило закрыть глаза, и передо мной тотчас появлялась та девушка из аула Амантая, сердце начинало колотиться, бросало то в жар, то в хо-

лод. Ничего меня не интересовало. Хотелось уйти куда глаза глядят или растянуться на траве и бездумно лежать. Экзамены остались в стороне. Тем более что сначала мы должны были писать сочинение по литературе, а этот предмет я не любил. Мне тогда казалось, что литература — пустая болтовня, не имеющая никакого отношения к повседневной жизни. «Зачем нам нужны какие-то Кунапбаи, Итбаи, Иглики...» — думал я. И все же, когда решил написать письмо своей любимой, мне пришлось обратиться к их помощи. Я красиво переписал из повести Беимбета Майлина «Память Шуги» письмо Абдрахмана и послал от своего имени. Послал, а ответа все нет и нет, и я не находил себе места от переживаний.

Не считите мои слова за хвастовство, но среди сверстников не было никого, кто бы плавал лучше меня. Как-то в ветреную погоду, когда на реке поднялись огромные волны, я переплыл туда и обратно без отдыха, держа в зубах ветку жимолости.

Стояла уже осень, экзамены в школе я кое-как сдал. И вот решил снова переплыть Бухтарму и сходить в Черновую к Амантаю, втайне надеясь, что если повезет, то встречу со своей девушкой.

Бухтарма питалась из тающих горных снегов, и вода в ней была ледяная в любую пору года. В реке было полно всяких водоворотов и воронок, течение стремительное.

Как-то лунной ночью я укрепил свою одежду на голове и поплыл на тот берег. Мне повезло, я благополучно добрался до цели. Правда, рубашка, в которую я завернул брюки, вся промокла. Я выжал ее, оделся и по узкой тропинке направился в Черновую. Вдруг почему-то меня одолел страх, я остановился и прислушался. И все же сила любви арканом потянула меня вперед. Иногда дорогу переходил олень, с шумом взлетали ночные птицы. Я выломал хорошую дубинку: хоть какое, да оружие.

Так я шел довольно долго, наконец послышался ленивый лай аульных собак. На окраине были огороды русских, и около них я остановился передохнуть, собраться с мыслями. В детстве мы делали набеги на эти огороды, поэтому между мальчишками Черновой и нами всегда была непримиримая вражда. И вот теперь я пробирался в этот враждебный аул к девушке...

Разве забудешь когда-нибудь тот юношеский пыл и задор, ту пору, богатую чувствами и любовью? Никогда...

Я немного отдышался у огородов, поуспокоил свое сердце и затем осторожно, стараясь не попадаться на глаза аульным

собакам, не потревожить их, подошел к дому Амантая. Стояла тишина, все спали. У Амантая тоже была собака, но она меня узнала и приветливо замахала хвостом, путаясь в ногах. Я постучал в окошко, но Амантай не проснулся, тогда и постучал сильнее. Наконец откинулась белая занавеска и показалась лохматая голова моего товарища.

— Кто это? — спросил он сонным голосом.

— Это я, Тасжан.

Он оделся, вышел на улицу.

— Ну, что ты здесь делаешь среди ночи?

— По тебе соскучился. Ладно, давай отойдем поговорим.

Мы уселись на бревне, что лежало посреди двора. Амантай зевнул и сказал:

— Знаю, к кому ты явился. Как перешел реку?

— Обычно, переплыл.

— Из-за этой девчонки когда-нибудь утонешь, — строго, как взрослый, сказал он. — Смотри доплаваешься!

Он всегда был серьезным и спокойным мальчиком. Я не совру, если скажу, что многому научился у него: честности, благородству, смелости.

— Ладно, идем к ее дому, — сказал он, подумав.

— Что, сейчас?

— Сейчас, а что? — пожал он плечами. — Правда, если нас поймает ее старший брат, нам несдобровать.

— Нас двоих ему не одолеть, — возразил я, готовый на все.

— Нельзя драться с братом любимой девушки, — важно сказал Амантай. — А может, ты лучше переночуешь у меня, а завтра вечером с ней встретишься?

— Я не смогу так долго ждать.

— О, да ты, оказывается, настоящий влюбленный! Ну ладно, тогда рискнем. Пошли.

И мы осторожно зашагали по улице и шли настолько тихо, что не залаяла ни одна собака. К счастью, дом девушки был на самом краю аула. Мы проползли вдоль сада, примыкавшего к дому, то и дело натыкаясь на крапиву и всякие колючки. «Лишь бы только не было брата», — прошептал Амантай.

О бесценный мой друг, в погоне за славой, живя бродячей жизнью, поклоняясь своему искусству, я и забыл о тебе. Где же ты сейчас?

А тогда мы сидели около огромного дома, как суслики у норы, и у обоих от волнения прерывалось дыхание. Я молчал, ожидая, что скажет Амантай, как теперь нам быть.

— Что бы там ни было, постучимся в ее окно, — сказал Амантай. — Если выйдет брат, руки в ноги — убежим. Если поймает, скажем, что ищем теленка.

— Разве среди ночи ищут теленка?

— Какой ты дурак! Да если теленок не пососет мать, то у нее распухнет вымя. Вот и ищут до утра.

Я усомнился в этом, но спорить не стал. Впервые пришлось признаться себе, что все-таки я уродился слюнтяем, ноги и руки тряслись, сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди. Во всех остальных делах я, конечно, не пасовал, а когда касалось девчонки, вел себя как мокрая курица. И впоследствии, после женитьбы, это свойство характера во многом становилось помехой. Кончилось тем, что я ошибся в выборе своей жены... Амантай же всегда счастливо любил одну девушку, женился на ней, и получилась хорошая, славная семья...

Долго мы просидели около дома в нерешительности. На востоке уже начало светлеть: летняя ночь коротка. Амантай наконец не выдержал и вскочил.

— Подставь спину, я встану на тебя и постучу в окно.

Окно в этом доме действительно оказалось высоко. Он вскарабкался мне на спину, каблуки его ботинок так и впились в тело, я едва вытерпел. Но чего не выдержишь ради любви! Амантай постучал в окно. Я от страха двинулся, Амантай потерял равновесие и упал.

— Из-за тебя чуть голову не проломил, — проворчал он, с трудом вставая. — Никто не отозвался на стук.

— Постучись еще раз, — сказал я, подставляя спину.

— Я-то постучу, но если ты и на этот раз начнешь трястись, то плюну на все и уйду домой.

На этот раз я стоял твердо, и вдруг послышался нежный голос девушки:

— Кто это?

— Мы, Тасжан и Амантай, — ответил мой друг.

Немного погодя открылась дверь. Амантай лукаво шепнул:

— Да будет тебе удача. Девушка одна.

Он слегка подтолкнул меня, и мы вошли в дом. Свет зажигать не стали, было и так светло, комнату заливала луна.

Ну вот, сидим мы в разных углах, довольно понуро, никто не решается начать разговор. Конечно, они с Амантаем все время посматривали на меня, явившегося среди ночи из-за реки, а я молчал, как напроказивший ребенок.

— Ну ладно, хватит играть в молчанку,— сказал Амантай.— Разбудили человека и молчим. В общем, ты правнись-ся Тасжану.

— Я это и сама знаю,— сказала девушка.— Получила от него письмо.

— Ну, тогда дальше продолжайте сами, а я пойду посчитаю звезды,— усмехнулся Амантай и выскользнул за дверь.

После ухода снова наступила тишина. Я бы хоть целый век просидел вот так, молча, любуясь смуглым лицом девушки, освещенным мягким светом луны. Ведь я и на самом деле тогда сильно любил. Ее легкое дыхание, улыбка, нежный голос, походка все еще стоят передо мной. Теперь если я что и вспоминаю с любовью и легкой грустью, так это ту ночь и ту девушку.

— Я прочитала твое письмо,— наконец сказала она дрожащим голосом. У меня не оставалось больше сомнений, что она переживает такое же душевное состояние, что и я.— Ты написал очень впечатляюще.

Я осмелел, совсем забыв, что письмо переписано из книги:

— Там все правда. И я пришел к тебе за ответом.

Девушка, сидевшая на постели, подвинулась и сказала:

— Подойди ко мне.

От ее неожиданных слов я вздрогнул, словно по мне пропустили электрический ток, меня всего затрясло. Пошатываясь, я подошел к ней. Мне казалось, что прошла целая вечность, прежде чем я преодолел эти четыре шага. Она смотрела в окно на улицу и часто вздыхала, как будто чем-то расстроенная или взволнованная. Я не знал, что делать. Может, обнять, поцеловать? Но я боялся испугать ее и поэтому просто взял за руки. Потом все-таки осторожно обнял за плечи, и мы поцеловались. Со мной это было впервые. Но она вдруг заплакала, я испуганно отпрянул. Потом мы снова очутились в объятиях друг друга, губы наши слились, щеки мои горели как в огне.

В комнату по-прежнему заглядывала луна. Не знаю, сколько прошло лет, сто, тысяча, а может быть, пролетело мгновенье. И вдруг как гром среди ясного неба:

— Тасжан, я выхожу замуж.

— За кого? — задыхаясь, спросил я.

— За одного парня...

Меня словно окатили ведром ледяной воды. Я издал отчаянный вопль и вскочил. Вбежал Амантай, хлопнув дверью:

— Что случилось?

— Все случилось,— еле выдавил я из себя.

Да, все на этом закончилось, исчезло навеки и навеки осталось в памяти. Очевидно, и горе, и радость в этом мире точно отмерены для каждого человека, ни больше ни меньше, иначе он может не выдержать и умереть. Я до сих пор удивляюсь, как только не умер в то мгновение, когда вмиг похоронил свое чистое чувство и твердую, как камень, веру.

— Ты пойми меня,— сказала девушка, наклонившись ко мне.— Ведь ты должен поехать учиться, добывать знания. А что делать мне? Выслушивать ругань брата с виновато опущенной головой? У меня нет сил все это терпеть. Я слаба, беззащитна. Много вкусила горя от своего сиротства. И не хочу быть путами на твоих ногах, камнем на твоей шее.

— А как же любовь?! — в отчаянии закричал я.

— Любовь — это разлука,— отрезала она...

Хотелось утопиться в Бухтарме, но строптивые волны выкинули на берег.

Моя любимая девушка через неделю вышла замуж за тракториста из соседнего аула, стала домоседкой с кучей детей. С тех пор прошло больше двадцати лет, а я так и не докопался до смысла этого святого чувства, которое зовется любовью. Одни говорят, что она есть, другие — наоборот. А из моих ушей не выходят слова девушки: «Любовь — это разлука».

Иногда мне кажется, что это правда. Если бы судьба соединила нас, я бы не боготворил ее до сих пор, не хранил бы в памяти как талисман. В семье не бывает, чтобы кастрюля не загремела; мы бы, наверное, ругались, а потом и вовсе охладели друг к другу.

Позднее я пришел к такой мысли, что любовь — абстракция, когда она лишена конкретного содержания. Впрочем, не знаю, ведь все на свете условно и относительно, когда рассуждаешь и умствуешь.

Сначала не замечаешь в любимой никаких недостатков, но день за днем во всех мелочах начинает раскрываться ее характер, который никак не совмещается с твоим внутренним миром, и вот наступает охлаждение, начинаешь понимать, что есть женщины и получше ее, более красивые и совершенные. Что ж, это, наверное, естественно...

Постоянное стремление к совершенству и недостижимость его и есть, наверное, любовь, смятенная, тоскующая по идеалу.

Да, это, наверное, правда, что любовь — разлука. Не соединились Ромео с Джульеттой, Фархад с Ширин, Козы с Баян, Тулеген с Кыз-Жибек, Абай с Тогжан. А предки наши

говорили, что настоящие влюбленные никогда не соединяются на этом свете. На что они намекали?

Сегодня мы путаем создание семьи с той великой любовью, которая вечна. Семья — требование природы, отсюда же вытекает и постоянное стремление к добротному существованию, обеспечению семьи всем необходимым...

Я тысячу раз благодарю девушку, которую видел наедине всего только раз и которая сказала, что любовь — это разлука. Наш юношеский праздник в той лунной ночи, может быть, и есть настоящая причина того, что я до сих пор живу. Кто знает...

Ну, а за кого же мне принять дочь моря, девушку с верблюдом? Может быть, это новая жизнь той девушки из лунной ночи? Может быть, таким образом судьба возвращает мне драгоценное чувство, которое я давно потерял? Что же это такое? Возможно, призрак, за которым я гонюсь и который мне никогда не догнать, призрак сумрака? Ничего не знаю...

Он не помнил, как вошел в номер, разделся и лег в постель. Однако заснул лишь под утро и был разбужен резким звонком телефона. Звонила администратор, предупредила, что у него кончился срок пребывания в гостинице, надо его продлить и заплатить деньги.

Он продлил срок еще на три дня и вернулся в комнату. Здесь было душно и жарко. Он вышел на балкон, однако не увидел ни девушки с верблюдом, ни мужчины в полосатой пижаме...

Как только солнце закатилось, Тасжан снова пустился в путь. Решил, что в любом случае прогуляться неплохо. Прогулка по берегу моря освежила и взбодрила его, хотя от вчерашней ходьбы с непривычки ныли ноги. Видимо, он слишком изнежился.

Скоро он обошел водоочистительную установку и жадно вдохнул свежий степной воздух. От степи, которая лежала перед ним, безмолвная, словно навеки лишившись языка, в его тело вливалась особая сила. Надежда и опасение поочередно посещали его. Нежный росток зарождавшегося чувства уверенно пробивал крепкую скорлупу его зачерствевшей души. «Лучше бы это зерно никогда не всходило, потому что неизвестно, чем все кончится», — думал Тасжан.

В конце своего пути он почти бежал, но едва показался свет одинокого жилья, замедлил шаги. Ему не хотелось, как

вчера, попасть в нелепое положение, и поэтому он внимательно осмотрелся. Бросил взгляд в сторону моря, но на этот раз никого там не увидел.

Во дворе лежал белый верблюжонок. Теперь он не испугался незнакомого человека, — может быть, потому, что Тасжан не стал его трогать...

Он стоял со смятением в душе, не смея ни войти в дом, ни повернуть обратно. Непонятная слабость охватила его, колени дрожали, сердце отчаянно билось. Точно такое же чувство он испытал около четверти века назад, когда, переплыв Бухтарму, спешил на свидание к девушке.

Наконец он приблизился к дому, взялся за дверную ручку из сыромятного ремня, открыл дверь... На постели, брэнча на домбре, сидела девушка. Она отчужденно и с некоторой опаской посмотрела на него, однако не двинулась с места, не вскрикнула от неожиданности, как сделали бы многие на ее месте. Тасжан замер. Девушка, удивление которой сменилось улыбкой, прислонила домбру к подушке, легко поднялась с места и ярче выкрутила фитиль лампы. Потом снова уселась на постель и своими огромными глазами осмотрела жигита, камнем застывшего у порога.

«О боже, ведь это же она, моя девушка из той лунной ночи! Сон это или явь? Нет, невозможно!» — вихрем пронеслось у него в голове. Потом он услышал слова, от которых еще больше смутился:

— Проходите на почетное место, что же вы стоите?

Медленно он добрался до табуретки. Сделал всего четыре шага, как и тогда, а как будто прошла вечность. Все повторялось, он в этом уже не сомневался.

Тасжану и в самом деле было тяжело, будто к нему подбиралась неизвестная болезнь. Как-то ночью в гостинице он с криком проснулся, ничего не соображая. Затем обтерся влажным полотенцем, попил холодной воды, и вроде стало полегче. Тогда ему пришла в голову мысль, что он чем-то тяжело заболевает. Днем все прошло.

Теперь он сидел на табуретке, опустив голову и сжав виски ладонями, ощущая почти такое же болезненное состояние.

— Выпейте, пожалуйста, — девушка протянула ему воду в деревянной пиале.

Тасжан одним духом выпил и поблагодарил:

— Спасибо, сестренка. Я, кажется, напугал вас.

— Нет, это, наверное, я напугала вас. Неужели мой вид настолько...

— Страх и радость одинаково действуют на человека, — перебил ее Тасжан.

— Это верно, — согласилась девушка. — А ведь мы были почти рядом друг с другом и раньше. Вы приходили вчера.

Джигит вздрогнул от удивления.

— Как вы узнали об этом?

— Вы осмотрели домбру, подняли с места верблюжонок. И еще... в доме чувствовался запах чужого человека.

— Это непостижимо, — покачал головой Тасжан. — Просто непостижимо.

— Когда живешь один-одинешенек, всему научишься.

— А мне все это кажется сказкой, — признался Тасжан. — Будто я сплю и вижу сон.

— Такое состояние иногда бывает и со мной, — сказала девушка. — Например, мне кажется, что я знаю вас давно. В последнее время живу в каком-то беспокойстве, в ожидании чего-то. Хотя я и избегаю людей, но все время чувствую, что кто-то непременно придет за мной. Вот вы и пришли. Ведь вы три дня смотрели на меня с балкона.

— Значит, и вы меня видели?

— Да, но мне нельзя было смотреть. От этих высотных домов у меня кружится голова.

— Высотные дома построил я, — сказал Тасжан.

— Вот как? А ведь Актау мой ровесник. В нем стали жить в год моего рождения.

— Значит, я вам гожусь в отцы.

Девушка как-то испуганно посмотрела на него, потом возразила:

— Вы слишком для этого молоды... Вы даже моложе меня... Ваши намерения чисты. Если бы это было не так, вы вчера не ушли бы. Поэтому я вам верю и не чуждаюсь вас.

— Если это так, то почему в нашу первую встречу на берегу вы не остановились, когда я вас просил об этом?

— Я боюсь брата. Он следит в бинокль за каждым моим шагом.

— Только теперь мне все стало понятно.

— Если все поняли, то должны сейчас уйти. Иногда мой брат заявляется сюда среди ночи.

— Интересно...

— Для вас, конечно, интересно.

— Хорошо, я уйду, если вы хотите. Как вас зовут?

— Акбота.

— То есть белый верблюжонок по-русски? А меня — Тасжан. Иногда товарищи называют Тасом, убирая «жан».

— Я бы лучше убрала «тас» и оставила «жан».

Тасжан вышел из дома. Акбота пошла проводить его. С моря поднималась луна.

— Я не прощаюсь с вами насовсем, Жан-ага, — сказала она, — по на сегодня и этого хватит.

— Все же мне как-то не по себе, что вы сидите тут одна, вдали от людей. Почему вы избегаете шумной жизни в городе? Вы еще слишком молоды...

— Вы не должны со мной так разговаривать, — чуть ли не враждебно сказала Акбота. Голос ее прозвучал как-то неприятно, надтреснуто. — Иначе я могу вас возненавидеть. А мне бы не хотелось менять свое мнение о вас. Теперь идите в свой развеселый город, развейтесь.

Она откинула за спину косы и гордой походкой направилась к морю. Тасжану ничего не оставалось, как вернуться в город. Пройдя шагов сто, он оглянулся. Акбота раздевалась на берегу. Через мгновение ее серебристое тело скользнуло в темную воду.

«Не понимаю, сон все это или я уже умер и пребываю на том свете? — подумал Тасжан рассеянно. — Такой экзотике не место в атомном веке. Вон рядом сверкает огнями цивилизация, а тут...»

Этой ночью было как-то особенно душно, не хватало воздуха, будто его разом вдохнули все люди и на его долю ничего не осталось. Он стащил рубашку с потного тела и пошел к гостинице. На душе была тоска, захотелось дождя, долгого и нудного...

«В то лето, когда я последний раз был в ауле, мы с отцом поехали на джайляу. Джайляу у нас расположено далеко, по нему редко ступает нога человека, поэтому оно свежо и дико. Мы ехали на лошадках через горбатые горы, леса и поляны, где густая трава доставала до колен всадника; пересекали овраги, по дну которых журчали и звенели ручьи.

В этих местах когда-то были стойбища наших предков. Я бывал здесь в детстве, но, оказывается, когда возвращаешься сюда взрослым, через многие годы, то волнуешься, как ребенок, которого впервые взяли на джайляу.

Молча следуя за отцом, я отыскивал в памяти прошлое, самого себя, каким я был много лет назад...

По склонам оврагов росла смородина, она свисала гроздьями. Я невольно останавливал коня и собирал ягоды, пока отец, скрывшийся вдали, не звал меня продолжать путь.

Когда поешь много смородины, то ничего другого есть уже не можешь; как говорят, набил себе оскомину. Бывало, подъедешь к табунщикам, а они уже зарезали овцу, появляются чаши с мясом, пенящийся кумыс, а ты ничего не можешь взять в рот.

До сих пор помню, как мы заночевали в ауле, который поставлял кумыс населению. В тот вечер полыхали молнии и пошел сильный дождь с градом. Крупные градины в мгновение ока покрыли всю землю белыми бусинками. Потом небо прояснилось, вышло из-за туч солнце, которое вот-вот должно было закатиться, и окрасило вершины холмов, превратило их в алые шатры; затем появилась тонкая, нежная, как поясok, радуга.

Когда утром я проснулся, табунщики привязывали лошадей, а женщины разливали по бакам готовый кумыс. Отца рядом не было, он уже давно встал. Снова шел дождь, от дверей веяло холодом. Я закутался плотнее в одеяло и предался каким-то немыслимым фантазиям. Например, что люди на земле появились вместе с ливнем. Почему-то в голову пришли муравьиные кучи, которых, кстати, полно в горах. В ясные дни муравьи копошатся, как и люди, заботясь о своем существовании. В вечном они движении, в вечной суете. И вот я поднимаю ногу, хочу наступить на муравьиную кучу, однако они нисколько не беспокоятся. Меня поражает их беспечность. Я воображаю: а что, если бы и на людей наступил кто-нибудь с неба? Ведь мы так же беспечны, как те муравьи. Но, возможно, когда-нибудь и трудолюбивые муравьи превратятся в разумных существ... Сказка дождя еще не закончилась. Я напряженно вслушиваюсь в его шум, пытаюсь понять его речь, но не понимаю, хотя и отношусь к дождю с благоговением...

Ох, если бы сейчас полил тот благодатный дождь! Как бы утолил он жажду пересохшего горла этой степи! Выросла бы густая трава, эти пыльные бескрайние просторы покрылись бы разными цветами. Дождь бы преобразил измученную жарой почву, появились бы сады, реки, озера. Пусть бы обрушился благодатный ливень на Мангыстау. Но ведь не обрушится, не прольется ни капли дождя. Человек никогда не задумывается о самом насущном, весь где-то в недостижимых мечтах...»

...Наступило утро. Из-за края моря, будто с его самого дна, из черной бездны, поднималось солнце. Тасжан вышел на балкон и успел заметить, что по берегу моря уходит девушка с верблюжонком. Мужчина с биноклем, как всегда, торчал на балконе. Проходя мимо гостиницы, девушка бросила на нее быстрый взгляд. Наш жигит чуть не рванулся с десятого этажа, он не сомневался, что Акбота искала взглядом его...

С наступлением сумерек он тронулся в путь. С моря дул легкий ветерок. Девушка в белом платье задумчиво смотрела на буйные волны, волосы ее были распущены и полоскались на ветру, сливаясь с ночной тьмой, как черное знамя, привязанное к белой березке. Сама ночь казалась Тасжану распущенными волосами демона. Несметные полчища звезд смотрели на землю, словно пытаясь узнать, что там происходит; молча следили за каждым шагом Тасжана, готовые схватить его в любую минуту. Но если бы его унесли сейчас неизвестно куда, в черное небо, он бы не испугался. Очевидно, только звезды да эта девушка на берегу умоляют всемогущую тьму, чтобы она сохранила человечество.

Когда Тасжан подошел, Акбота, не отрывая глаз от моря и не оборачиваясь, сказала:

— Я ждала вас. Верила, что вы придете за мной. Но сегодня вы молчите, говорить буду только я. Ведь прошло тысячу лет, как я не говорила с людьми.

— Я буду слушать, — покорно согласился Тасжан.

Белогривые буйные волны Атырау бесконечно накатывались на берег; одна из них ударила в прибрежный камень, и оба они вздрогнули. С моря доносился запах рыбы и водорослей.

— Каждый раз, когда Атырау волнуется, я прихожу сюда, — с горечью и печалью сказала Акбота. — Буря приносит запахи отца и матери. И я жду их терпеливо, как будто они вот-вот вернутся домой. Когда-то они пасли верблюдов на этом мысе. Построили город и прогнали верблюдов. Однако отец и мать не захотели покинуть родные места и остались. Промышляли в море. Три года назад они сели в свою черную лодку, поехали ловить рыбу и не вернулись. Потом волны выбросили на берег пустую лодку, вон она стоит у стены... Я жду, а их все нет. Каждый вечер жду, плаваю в море, ищу. Нет их. Не верю, что погибли. Когда-нибудь вернутся на белом корабле живые и невредимые. Моя тоска вытащит их из самой бездны моря, из самых глубоких недр земли. Ведь само море говорит, что они живы, вы только прислушайтесь —

и услышите... Эти грозные, как львы, волны — ярость моего отца. Днем оно было такое тихое и мирное — это доброта моей матери. Атырау создан из них двоих, замешен на крутом праве моего отца и кроткой любви моей матери. Вчера я надолго задержалась под водой, все расспрашивала рыб, не знают ли они каких-либо вестей о родителях. Молчат так же, как и вы...

Взошла полная луна, туча разрезала ее пополам, испортила красоту, а может быть, и наоборот. Атырау бесновался, словно боролся с невидимым врагом. Тасжан молчал. Акбота резко повернулась к нему и сказала:

— Родители, наверное, сегодня не вернутся. Идемте домой.

Во дворе она обняла верблюжонка и поцеловала его. Когда вошли в дом, зажгла лампу.

— Садитесь, — предложила она жигиту, молча стоявшему у порога. — Что-то очень уж вы стеснительны.

Он уселся на табуретке. Акбота прибрала в комнате, хотя и прибирать там было нечего, положила на стол кусок хлеба, поставила чашку с айраном.

— Кроме этого, ничего нет.

— Вы для меня загадочная душа, Акбота, — сказал Тасжан.

— Знаю, вы вчера намекнули об этом.

Акбота уселась около лампы, и Тасжан смог рассмотреть ее получше. У нее были густые черные волосы, тонкие с изгибом брови, длинные ресницы и чистые глубокие глаза. Когда она улыбалась или что-то говорила, на щеках появлялись ямочки. Она была больше похожа на персиянку, чем на дочь казахов. Взгляд у нее был прямой и пронизывающий, в то же время какой-то беспокойный и печальный. Все ее мысли и чувства бесхитростной души легко читались на ее красивом лице.

Акбота нахмурилась.

— Вы пришли изучать меня? Почему вы молчите?

— Вы же сами сказали, что сегодня я должен молчать.

— И все же расскажите немного о себе.

— Как мне рассказать о своей жизни, полной противоречий? Я просто не знаю.

— Это верно. Я чувствую, что ваша судьба многообразна. Все это мне не нужно. Кажется, вы немало повидали, были и победы, и поражения. А я вот, еще не начав свою жизнь, уже заканчиваю ее, — невесело произнесла Акбота.

— Как понимать эти слова? — спросил Тасжан с тревогой в голосе.

— Около меня постоянно кружится неизлечимая болезнь. И круг этот все больше сжимается. Уже три года как я принимаю чужую кровь. — Белое лицо Акботы еще больше побледнело. — Весной и осенью я сильно болеваю, бывают осложнения. Каждый месяц хожу в город к врачу на осмотр... Живу вот здесь вместе с верблюжонком. Врачи одобряют мой образ жизни... Иногда приходит брат и приносит еду, иногда хожу в город сама. Но как только появляюсь там, начинает кружиться голова. Брат жестокий человек, я холодна к нему... У нас была верблюдица. Я отвела ее в далекий аул, где пасли верблюдов, и оставила там. На следующий год она принесла верблюжонка. Как только он встал на ноги и стал пастись, брат продал верблюдицу и купил себе мебель. С тех пор этот верблюжонок сирота. Я кормлю его остатками молока и айрана. Он привык ко мне, привязался, вот так и живем вместе, пока он сможет переносить такую жизнь... Сама я давно бы умерла, но все жду своих родителей с моря, которые не возвратились с рыбной ловли. Я верю, что однажды они появятся и позовут меня: «Акбота!» Ведь они должны вернуться. Они не могли исчезнуть навсегда, оставив совсем одну свою больную дочь. Ведь правда, ага?

— Правда, — сказал Тасжан дрогнувшим голосом. На глазах у него появились невольные слезы.

Заметив это, девушка тепло посмотрела на него и сказала:

— Вы тоже больны, но будете жить долго. Человек, собирающийся в иной мир, становится слишком мечтательным. Вот как я, например. — Акбота вдруг улыбнулась ясной улыбкой. — Мечтаю ходить пешком по морю со своим верблюжонком. Скажите, ага, разве это невозможно?

— Все возможно, родная, нет ничего невозможного.

— Я знаю, что врачи не вылечат меня, — тихо сказала Акбота.

— Бывает, что и вылечивают...

— Вы так говорите, чтобы утешить меня. Вы знаете, если постоянно переливать кровь чужих людей, то у человека начинает меняться характер. Вот так постепенно теряешь свою сущность и превращаешься в эту массу людей, которые живут в домах, построенных вами. А я не хочу быть похожей на них... Я кровосос, ага, — сказала Акбота и надрывно заплакала.

«О боже, ей идут даже слезы, льющиеся из глаз!» — подумал Тасжан. Он встал и погладил девушку по волосам.

— Акбота, вам нельзя так говорить.

— Просто я увидела понимающего человека и расслабилась... Больше не буду плакать.

— Поиграйте на домбре,— попросил жигит.

— Завтра, ага, завтра я посвящу вам свою мелодию и свою ночь...

Тут дверь открылась и вошел брат Акботы. Растерявшийся Тасжан встал. В руках у мужчины была сетка с продуктами. Он бросил злой взгляд на остолбеневшего Тасжана и стал выкладывать на стол хлеб, колбасу, айран.

— Это стыдно,— сказал он наконец густым басом.— Вы ей в отцы годитесь, да к тому же Акбота больна.

— Я давно выздоровела,— вмешалась Акбота.— Просто скрывала от вас.

— Раз так, устраивайся на работу, трудись, корми себя сама.

— Выходит, я дармоедка? Ну, хорошо, через два дня я исполню все ваши советы, а сегодня оставьте меня в покое.

Акбота побледнела, губы у нее задрожали от обиды.

— Ну что ж, идемте в город,— обратился мужчина к Тасжану.— В этом доме вам не стоит задерживаться.

Тасжан вышел первый, брат Акботы последовал за ним со словами:

— Ты иди впереди, а я за тобой. Чего доброго, еще вздумаешь повернуть назад.

«Ну и тип! — с неприязнью подумал Тасжан.— Наверное, каратэ надо применять как раз против таких негодяев». Все же он постарался успокоить себя, но у него появилось такое отвращение к идущему за ним брату Акботы, что он побежал, чтобы избавиться от него. Ему казалось, что этот разъявшийся мужчина с тройным подбородком и сильным басом начнет преследовать его, но тот быстро отстал. «Ну конечно, все его мысли и чувства превратились в ненасытный желудок,— зло подумал Тасжан,— а сердце заплывало жиром от сидения на балконе и обилия пищи».

Раздосадованный, он не стал подниматься в свой номер, а зашел в ресторан, который все еще был открыт.

— Двести грамм коньяка и кофе без сахара,— сказал он жестким тоном официантке.

Та, одобрительно кивнув, ушла. Тасжан выпил коньяк одним духом и откинулся на спинку стула. Он обратил внимание, что совсем не почувствовал вкуса коньяка, будто выпил

обыкновенную воду. Затем он подошел к музыкантам, дал им пятерку и сказал:

— Самую громкую и визжащую музыку.

Его желание было мгновенно исполнено, но это не принесло ему облегчения. Он не знал, к кому бы придраться, на ком сорвать свою злость, не было видно ни одного рубахи-парня, из тех, которые любят «выступать». Тасжан не мог спокойно сидеть на месте, словно конь перед скачкой. Он искал драки, хотел, чтобы кто-нибудь задел его, весь был собран в тугой комок, но люди мирно сидели за столиками и кормились, как овцы на пастбище. Ему хотелось заорать на весь зал: «Выходи любой один на один!» В конце концов он почувствовал себя опозоренным, не найдя себе достойного противника. Все были заняты собой, до Тасжана с его переживаниями никому не было дела. И не было никого, кто бы выскочил на середину зала и встал перед ним.

«До чего мы дожили, единственное наше оружие теперь — сплетня, — подумал он. — Надо поскорее отсюда уйти. Но куда?»

Он понуро встал и огляделся. В зале мирно жевали, смеялись, выпивали, как будто нарочно подпавая друг друга. «Все вы, слуги желудка, виноваты в беде Акботы!» — хотелось крикнуть Тасжану, но он сдержал себя.

Акбота сказала, что он долго проживет. И это верно. Он безобиден, как черепаха, бесполезен, как плевок, никому не нужен и поэтому не умрет. Посредственности долго не умирают, они не способны на это, умирают гении.

Тасжан вернулся в номер и лег с намерением уснуть, однако сон не шел. Все в нем кипело.

Кто же виноват в болезни Акботы, в его неудавшейся судьбе? Круглый мир, ни одного угла, ни одной трещины, за которую можно было бы зацепиться, — скользишь как на гладком льду. А нить жизни тверже алмаза, попробуй оборви ее. Тасжан вообразил, что сидит в самолете, у которого нет мотора, и его несет неизвестно куда, неизвестно, где и когда он упадет. Это и называется «жизнь как перекасти-поле». Люди, конечно, живут теперь в мудрую эпоху, но он обособился от всех и, наверное, от этого свихнулся.

У него появилось такое ощущение, что он заново родился и ничего еще не понимает в жизни. Акбота, наверное, родилась слишком поздно. Ей бы родиться в восемнадцатом веке. Она не смогла приспособиться к бурному течению времени, к веку научно-технического прогресса. И это сильно и болез-

ненно подействовало на ее чувствительную нежную душу, а современный город, загрязненный воздух, гул самолетов, шум машин доконали ее. Она — цветок, посаженный на бетон, рыба, которую бросили в нефтяное озеро...

Но одно ему ясно, что облик любимого человека не теряется никогда. Этот прекрасный облик создан только для тебя одного, его поймешь только ты один, и он явится в конце концов к тебе, сколько бы ты ни бродил по всем закоулкам земного шара. Ты найдешь его или он тебя найдет. Оказалось, что девушка из той лунной ночи его детства, когда он ради нее переплыл Бухтарму, превратилась в птицу любви и улетела на побережье древнего Атырау. О Акбота! Белая птица его юности! А ведь он счастливее других, потому что не убил своего ангела в образе Акботы, сохранил его в душе.

Да, этот уютный земной шар может сохранить только любовь. Исключительная, вечная любовь...

Под утро он все-таки уснул. За тонкой стеной храпел какой-то мужчина, и этот звук, как ни странно, наваял на него сон...

Он подошел к одинокому домику на берегу моря еще до захода солнца. На камне, у воды, стояла Акбота, одетая на казахский лад в платье с двойной оборкой, в камзол с тонкой талией, на голове шапочка с плюмажем из перьев филина, в ушах серьги, на руках серебряные браслеты, на шее красивое монисто, подвески для волос из серебряных монет.

Тасжан не поверил своим глазам, так преобразилась Акбота. А может, это призрак Акботы? Сам он был одет в тесасские джинсы, узкую импортную рубашку, обут в заграничные туфли на высоком каблуке.

— Не узнали меня, ага? — серебристо прозвучал голос Акботы. — Я надела платье матери, вот и красуюсь. Ну как, идет оно мне?

— Ты в нем как птичка... Слов нет.

— А в прошлые времена все мы были такими... Родителей что-то не видно; наверное, сегодня уже не придут. Завтра я сама пойду их искать. Пешком пойду по морю с моим верблюжонком.

«Разве она умеет ходить пешком по воде? — подумал Тасжан. — Призрак она, что ли? Или это я призрак?»

— А сегодняшнюю ночь посвящу вам, — продолжала Акбота. — Я не изменила своего обещания, ага. Идемте домой.

И она пошла впереди, звеня подвесками и колыхая плюмажем на шапочке, словно райская дева. За ней неуверенно шагала Тасжан.

Он ни разу не видел ее такой веселой и сияющей, поэтому с удивлением, по-детски, то и дело посматривал на нее. Он готов был в эти минуты исполнить все ее желания...

Девушка взяла со стола чашу и, вся просветлев лицом, сказала:

— Тасжан-ага, я сейчас собираюсь сделать вам одно предложение, которому никто не поверит. Но вы верьте, не удивляйтесь и не пугайтесь... Я выхожу за вас замуж. Вода брачных уз готова. Перед рассветом вы уйдете отсюда, а я останусь. Может быть, пойду на поиски бесследно исчезнувших родителей, а вы не вмешивайтесь в это. Я прошу вас и умоляю, верьте от чистого сердца в наш брак, так же как и я верю в него. Пусть наши помыслы будут чисты... А потом не думайте обо мне, забудьте обо всем этом, не хвастайтесь никому. Если в вашем сердце осталось хоть чуточку места, сохраните там мой облик, и этого будет достаточно.

«Наверное, я вижу сон, — подумал Тасжан. — Такое не может быть наяву. Однако надо соглашаться со всеми ее желаниями. Ведь я сам искал этот призрак».

— Придите в себя и подойдите ко мне, — сказала Акбота. — Выпьем брачную воду и станем супругами. — Она отпила из чаши и протянула ее Тасжану со словами: — И на этом, и на том свете я ваша верная супруга. Поцелуйте меня в оба глаза, затем в лоб.

Жигит выпил воду и беспрекословно исполнил желание девушки: он поцеловал лицо Акботы, которое было холодное словно камень.

После этого она сказала:

— Я счастлива, внутри у меня словно солнышко появилось и согрело. А теперь я сыграю вам кюй, который сочинила сама. Он называется «Осиротевший верблюжонок».

Акбота взяла домбру и начала кюй, которого Тасжан никогда не слышал. Печальный мотив, своеобразная игра произвела на Тасжана глубокое впечатление, все кости заныли, его охватила тоска. Кюй как будто рассказывал о путешествии, которое совершает человек, постоянно находясь между

жизнью и смертью. В нем слышался и плач осиротевшего верблюжонка, который бродит по берегу моря, не зная, куда податься; в нем было и горе девушки, которая с тоской ждет своих родителей; и зауспокойная одинокого человека, которая совершается им над самим собой, когда уже потеряны всякие надежды в этом обманчивом мире на рукопожатие теплой дружеской руки...

Струна домбры с громким звуком лопнула — ее нарочно оборвала Акбота.

— Вы стали моим первым и последним супругом, — сказала она. — Но я не могу пойти дальше духовной близости. Давайте ляжем рядом.

Тасжан плакал. Он продолжал стоять, не в силах двинуть ни рукой, ни ногой. Акбота со звоном снимала свои украшения, одежду... Опять прозвучал ее негромкий голос:

— Я остаюсь для вас духовной супругой. Я бы, конечно, отдала вам и свое тело. Но что поделаешь, судьба не хочет этого.

На деревянной кровати неподвижно лежали жигит и девушка. Их ничто не разделяло, но в то же время между ними как будто была воздвигнута невидимая стена, и ни она, ни он не могли преодолеть ее, не смели.

— Тасжан-ага, вы плачете?

— Что поделаешь...

Действительно, Тасжан плакал, как ребенок, уткнувшись лицом в плечо Акботы. Такое редко бывает с человеком, но бывает. Только дети, незаслуженно обиженные, так безутешно рыдают перед матерью, изливая в слезах свое горе...

— Заря уже занялась, — сказала Акбота. — Вам пора возвращаться. Это говорю я, Акбота, ваша супруга, богом данная вам. Знаю, что вы не забудете меня, но постарайтесь меньше обо мне думать. Но вспомните, когда начнете проектировать новый город. Идите вперед и не оглядывайтесь назад. А я буду молиться за вас в обоих мирах. Поцелуйте же меня в последний раз, попрощаемся...

Тасжан вернулся в гостиницу, оставив неказистый домик и его хозяйку с чувством непонятной вины и полного своего бессилия перед судьбой. Так до утра и не сомкнул глаз, дожидаясь восхода солнца.

Когда вышел на балкон и бросил взгляд в сторону моря, ему показалось, что по золотистой солнечной дорожке, протянувшейся по морю от взошедшего солнца, спокойно шагает

Акбота, ведя за собой верблюжонка, идет, звеня подвесками для волос, отправилась в свое вечное скитание.

Тасжан невольно вспомнил ее вчерашние слова: «Ага, город, построенный вами, гонится за мной по бескрайней степи Мангыстау. Но он испугался моря и окаменел. Домá окаменели на берегу, будто чудища, созданные из камня и кирпича».

Акбота спокойно удаляется по морю со своим верблюжонком, а оно приветливо плещется в берегах, словно радуется счастливому возвращению своей дочери...

А через три месяца он с товарищами сдавал проект нового города.

СОДЕРЖАНИЕ

ЭТО БЫЛО ЗИМОЙ. (Диптих)

КРИК. Перевод О. Мирошниченко	4
СНЕЖНАЯ ДЕВУШКА. Перевод А. Кима	93

ТРИ ПОВЕСТИ

ЧЕЛОВЕК-ОЛЕНЬ. Перевод А. Кима	188
ОЛИАРА. Перевод А. Кима	241
ОСИРОТЕВШИЙ ВЕРБЛЮЖОНОК. Перевод А. Кончица	274

Бокеев О.

Б 78 Крик: Повести. Пер. с казах.— М.: Советский писатель, 1984.—336 с.

Герои повестей Оралхана Бокеева — казахские юноши и девушки. Мы видим их в поисках жизненной гармонии, нерасторжимо связанной с добротой, искренностью, честностью. На пути этих поисков, как и бывает в жизни, их ожидает многое: трудности, разочарование, радость достигнутой цели.

4702230200—417

Б 083(02)—84 293—84

С(Каз)2

Оралхан Бокеев

КРИК

М., «Советский писатель», 1984, 336 стр.
План выпуска 1984 г. № 293

Редактор *Н. И. Голосовская*
Худож. редактор *А. С. Томили*
Техн. редактор *Е. П. Румянцева*
Корректор *С. В. Блауштейн*

ИБ № 4328

Сдано в набор 02.03.84. Подписано к печати 20.11.84. А 06941. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Обыкновенная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 17,64. Уч.-изд. л. 19,76. Тираж 30 000 экз. Заказ № 125. Цена 1 р. 30 к. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109

1 р. 30 к.



000333078

Китобхонаи миллии Тоҷикистон

